ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Journal of metadisciplinary research
The POLITICAL CONCEPTOLOGY

2023 г. № 2

# ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

Ростов-на-Дону

**ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ**

**Института философии и социально-политических наук**

# ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

## журнал метадисциплинарных исследований

**2023. № 2**

**(апрель-июнь)**

**Научный журнал**
**Издаётся с 2009 года**

# Политическая концептология:
## журнал метадисциплинарных исследований

**Научно-аналитическое издание**

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС77-82437 от 8 декабря 2021 г.

ISSN 2949-0707

Учредитель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

**Редакционная коллегия:**

**Главный редактор:** *В.П. Макаренко*, доктор политических и философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины

**Заместитель главного редактора:** *С.П. Поцелуев*, доктор политических наук, доцент

**Заместитель главного редактора:** *М.С. Константинов*, кандидат политических наук

**Ответственный секретарь:** *А.В. Тупаев*, кандидат политических наук

**Редакционный совет:**

Председатель – доктор философских наук, профессор *С.С. Неретина* (г. Москва)

Доктор политических наук, доцент *А.И. Бардаков* (г. Волгоград)

Доктор философских наук, профессор *М.Ф. Быкова* (г. Роли, Северная Каролина, США)

Доктор экономических наук, профессор *В.В. Вольчик* (г. Ростов-на-Дону)

Доктор юридических наук, профессор *А.В. Оболонский* (г. Москва)

Доктор экономических наук, профессор *А.Н. Олейник* (г. Москва, г. Ньюфаундленд, Канада)

Доктор философских наук, профессор *В.В. Савчук* (г. Санкт-Петербург)

Член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор *Ю.В. Синеокая* (г. Москва)

Доктор политических наук, профессор *А.Ю. Сунгуров* (г. Санкт-Петербург)

Доктор философских наук, профессор *С.Г. Чукин* (г. Санкт-Петербург)

Доктор исторических наук, профессор *В.А. Шнирельман* (г. Москва)

Электронная версия журнала: **https://politconcept.sfedu.ru/**

**Адрес учредителя:**
344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105
тел.: (863) 263 3158 263 8498
факс: (863) 264 5255
e-mail: rectorat@sfedu.ru

**Адрес редакции:**
344065, г. Ростов-на-Дону
ул. Днепровский, 116, к. 116
тел. (863) 290-10-93
факс: (863) 264-52-55
e-mail: konstantinov@sfedu.ru

# СОДЕРЖАНИЕ

**СЛОВО РЕДАКТОРА**

*Макаренко В.П.*
Государственный интерес и порочный круг полиции: модель Мишеля Фуко..... 6

**ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ**

*Лекторский В.А.*
Философия, наука, идеология, пропаганда..... 15

*Тульчинский Г.Л.*
Логическая культура и свобода: логика в советском и постсоветском обществе..... 18

*Никольский С.А.*
Советское. Проблема целостного рассмотрения..... 29

*Скиперских А.В.*
Иерархии власти: политический стиль в современной России..... 53

*Савенков Р.В., Стрединина В.В.*
Возможности сетевого подхода
в исследовании региональных отделений политических партий..... 61

**ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

*От редакции*..... 69

*Булдаков В.П.*
Государство и террор..... 69

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ**

*От редакции*..... 101

*Ванчугов В.В.*
Изобретая свободу..... 101

*Синеокая Ю.В.*
Философское поколение эпохи перемен..... 107

*Межуев Б.В.*
Новая Атлантида, Касталия, Телемское аббатство..... 118

*Михайлов И.А.*
Мифы наших поколений..... 131

**ОПЫТ КОМПАРАТИВНО-КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ПОЭТИКИ**

*От редакции*..... 171

*Порус В.Н.*
Времена жизни: русские хокку..... 171

**ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ**

*Андрески Ст.*
Главы 6–7 из книги «Войны, революции и диктатуры:
исследование исторических и современных проблем с компаративной точки зрения»... 196

**Наши авторы**..... 206

**Summaries and keywords**..... 208

**Contents**..... 213

**К сведению авторов**..... 215

***Слово редактора***

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС И ПОРОЧНЫЙ КРУГ ПОЛИЦИИ: МОДЕЛЬ МИШЕЛЯ ФУКО

***В.П. Макаренко***
*Южный федеральный университет*

**Аннотация:** *М. Фуко разработал модель полиции как политической технологии, которая стремилась управлять в соответствии с государственным интересом (далее ГИ). Эта модель опирается на анализ множества феноменов бытия и мышления. К ним относятся: темпорально-пространственные различия в понимании термина полиция на протяжении XV–XVIII вв.; связи полиций Италии, Германии и Франции с общим балансом Европы; генезис полиции в указанных странах для установления национальной специфики науки о полиции; генезис концепта государственной пользы как бюрократической инновации и базис утопии полицейского государства*[1].

*Фуко установил, что на протяжении двухсот лет (XV–XVI вв.) термин полиция понимался трояко: как сообщества под управлением власти, конкретные акты управления, положительные общие итоги управления. Однако в следующие две сотни лет (XVII–XVIII вв.). полицией стали называть совокупность средств, позволяющих контролировать отношение между социальным порядком и ростом сил государства ради обеспечения связи между величием государства и счастьем всех граждан. При таком подходе полиция квалифицировалась как пространственно-временной синтез красоты, порядка и силы, который гарантируется полицией как совокупностью «законов и правил, касающихся внутренней жизни государства и стремящихся укрепить и увеличить могущество этого государства, стремящихся достичь правильного использования его сил».*

*Цель статьи состоит в реферате материала двух лекций Фуко для систематизации реального многообразия аспектов главной проблемы, указанной в заглавии. На этой основе реконструируется проблемно-эвристический потенциал данного фрагмента политической теории М. Фуко.*

**Ключевые слова:** *Мишель Фуко, государственный интерес, полицейское государство, население, экономика.*

[1] См.: Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году. Пер. с фр. В.Ю. Быстрова, Н.В. Суслова, А.В. Шестакова. – СПб.: Наука, 2011. – С. 405–474.

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.614*

## *Преамбула*

После описания основных типов связей (отношений) между определением полиции и балансом Европы[2] и сравнения положения полиции в трех странах[3] Фуко поставил вопрос: «чем действительно занимается полиция, если верно, что её общей целью является рост сил государства при таких условиях, чтобы сам строй этого государства не только не подвергался бы опасности, но и усиливался?» [Там же: 414]. Для ответа он анализирует утопию полицейского государства, впервые изложенную в книге Тюрке де Майерна «Аристодемократическая монархия» 1611 г.[4]

На основе анализа этого труда Фуко выдвигает своё оригинальное определение: полиция – это бюрократическая (административная) инновация, которая возникла после традиционных институтов правосудия, армии, финансов; полиция потребовала от граждан лояльности, скром-

[2] Морфологическая связь обеспечивала контакт между военно-дипломатическим балансом Европы и главной проблемой полиции: как при сохранении порядка в государстве обеспечить максимальный рост его сил? Связь обусловленности означала, что сохранить баланс Европы можно лишь тогда, когда каждое государство обеспечит рост своих сил в такой пропорции, чтобы его никогда не превосходили остальные. Если европейский баланс нарушается при недостатках полиции в одной стране, то каждая страна должна заботиться о полиции других стран. Инструментальная связь способствовала появлению статистики как общей потребности в расшифровке сил каждого государства (в состав которых входит население, армия, природные ресурсы, производство, торговля, денежное обращение). Статистика – это знание государства о самом себе и других государствах, которое возможно и необходимо благодаря полиции. В этом смысле статистика есть общий инструмент достижения европейского равновесия.

[3] В Италии гражданская война была формой существования государства. Полиции как института и формы рефлексии не было по причинам территориальной раздроблённости, экономической стагнации с XVII века, политико-экономического господства иностранцев, наличия Ватикана как универсалистского и в то же время локализованного учреждения, доминирующее на полуострове. Поэтому Италия была государством дипломатии, а не полиции. Требовалось установить равновесие между множеством сил. В Германии государства возникли в середине XVII века и стали микрогосударственными лабораториями. Из-за отсутствия административного аппарата его начали искать в университетах. На протяжении XVII–XVIII вв. была развита наука о полиции, которая распространилась по всей Европе. Во Франции раннее развитие территориального единства, монархической централизации и администрации стали причинами того, что проблематика полиции возникла внутри административной практики. Здесь её развивали персонажи, «которые слонялись возле администрации» – были изгнаны или стремились снова попасть в бюрократию. Полиция возникала без теории, системы, концепций, практиковалась и институционализировалась через мероприятия, распоряжения, сборники указов, критику и проекты, исходящие от действующих, отставных и потенциальных бюрократов.

[4] Майерн определял полицию как «все то, что должно придавать украшение, форму и величие городу», «порядок во всём, что можно увидеть» в городе. На этом уровне полиция есть искусство управления в целом. Так произошло отождествление искусства управления с деятельностью полиции. Для деятельности полиции требовались правительственные службы правосудия, армии, финансов и «хранитель и главный реформатор полиции». Его роль состоит в поддержке среди народа «особой практики скромности, милосердия, лояльности, мастерства и рачительности». В результате хранитель полиции оказался на уровне канцлера, отдающего приказы для всех регионов и провинций. В каждом из них создавались бюро полиции, милосердия, торговли и недвижимости. Первое бюро отвечало за воспитание и образование детей и юношей, учило выполнению обязанностей перед королевством, благочестию, владению оружием и профессией. Когда юноша достигал возраста 25 лет, он должен был явиться в бюро полиции и сообщить, какой вид он предпочитает, будет ли богатым или нет, пожелает ли приобрести богатства или наслаждаться праздностью. Его заносили в регистр вместе с выбором профессии и образа жизни. Кто не желал записаться ни в одну рубрику, тот рассматривался «как людской сброд, как бродяги и бесчестные». Бюро милосердия занималось бедными, больными и инвалидами, здравоохранением, несчастными случаями, пожарами, наводнениями и всем, что может стать причиной обнищания, давало деньги взаймы мелким ремесленникам и труженикам для продолжения ремесла, чтобы они смогли укрыться от грабежей ростовщиков. Бюро торговли регулировало проблемы рынка, производства и способа производства. Бюро недвижимости следило, чтобы вельможи не слишком угнетали народ, заботилось о способе и цене закупки и продажи основных благ, регистре наследств, королевских владениях, дорогах, реках, публичных зданиях, лесах.

ности и трудолюбия ради достижения синтеза нравственности и труда при любом роде занятий; полиция занялась образованием и профессиональной подготовкой индивидов[5]. Любые занятия должны связывать совершенство индивида с совершенством государства! – таково полицейское кредо.

### *Предметы сомнения*

Фуко систематизировал множество сомнений в таком понимании полиции. Прежде всего он сравнил традиционную концепцию суверена с новой концепцией полиции. В традиционной концепции достоинство государства зависело от статуса, добродетелей и качеств людей. В новой концепции речь шла уже не о тяжбах (как при господстве юстиции) и не о деньгах (как при господстве налогов), а о полицейском контроле деятельности людей. Именно здесь, по его мнению, находится концептуальный и практический центр полицейского государства.

Полиция должна связать деятельность индивида с развитием сил государства. Поощрять, направлять и определять ее таким образом, который полезен государству. Суть современной полиции состоит в культивировании идеи государственной пользы на основе деятельности людей. Отсюда Фуко выводит и детально описывает объекты полицейского попечения (численность населения, потребности, здоровье, деятельность людей, обращение товаров)[6].

Промежуточный вывод Фуко однозначен: главным объектом полицейского управления являются все формы сосуществования и общения людей. Поэтому уже в XVII–XVIII вв. институт и наука о полиции стали всеохватывающими: «То, что … охватывает полиция, – пишет Фуко, – это огромная область, которая простирается от жизни до чего-то большего, чем жизнь. Иными словами, полиция должна удостоверяться, что люди живут, и живут во множестве, что у них есть на что жить и они не будут умирать в чрезмерном количестве. Но вместе с тем она должна удостовериться, что всё то, что может превысить порог простого выживания, что все это было произведено, распределено, размещено, запущено в обращение так, чтобы способствовать силе государства. Короче говоря, в этой новой экономической, социальной и антропологической системе, которая устанавливается в конце XVI – начале XVII века, которая руководствуется уже не простым императивом «жить, а не умереть», а другим: «жить и действовать немного лучше, чем просто жить», как раз и появляется полиция как совокупность техник обеспечения того, чтобы жизнь, деятельность, сосуществование, общение людей эффективно претворялись в силу государства» [Там же: 423].

---

[5] Для доказательства Фуко приводит цитату из книги де Майерна: «Я предложил руководящим работникам полиции в качестве их главного предмета человека, имеющего добродетели и пороки, чтобы они с детских лет вели его, как по лестнице, к совершенству, а затем, когда он достигнет определённого совершенства, удерживали его в границах истинной политической и общественной добродетели, чем бы он ни занимался».

[6] Средневековый тезис *Сила государства зависит от числа жителей* в XVII в. принимает форму постановки проблемы знания о том, сколько людей необходимо и какое соотношение должно быть между числом людей и протяжённостью территории, богатствами, чтобы сила государства могла расти наилучшим способом. Первый объект полиции – число и количественный рост населения по отношению к ресурсам и территории. Второй объект – жизненные потребности (продовольствие и прочие предметы первой необходимости. Отсюда вытекает необходимость контроля торговли и качества продуктов на момент продажи. Повседневное здоровье становилось объектом полиции в той мере, в какой оно было необходимым условием улучшения качества труда, но оно исключалось из предметов ведения полиции при эпидемии. Тем самым все городское пространство, включая воздух и кладбища, вошло в предмет полицейской заботы. Забота о деятельности людей состоит в предоставлении работы всем трудоспособным, помощи инвалидам, заботе о развитии ремесла, в которых нуждается государство, о создании продуктов по общему образцу. Наконец, вся сфера циркуляции и обращение товаров и продуктов, возникающих в деятельности людей, тоже стала объектом полиции.

Такова парадигма изучения полиции, которую Фуко завершает вопросом: не является ли вся деятельность полиции порочным кругом, который, «…начинаясь с государства как силы рационального и расчётливого вмешательства в дела индивидов, возвращается к государству как к совокупности возрастающих или призванных расти сил?» [Там же]. На этот вопрос мыслитель даёт два ответа.

Первый из них состоит в обосновании постулата *Порочный круг полиции возникает в результате её стремления связать силу государства с благополучием и счастьем индивидов* и указании на дисциплину как главное средство преобразования всей жизни индивидов в пользу государства[7]. Фуко подчёркивает, что термин «дисциплина» уже в начале XVII века переплёлся с определенным пониманием благоденствия людей[8]. Короче говоря, целью полиции является всё, что простирается от бытия до благоденствия индивидов, поскольку оно может способствовать силе государства.

Второй ответ Фуко связан с отрицанием универсальности ГИ и обобщением столетней критики полиции. Документальной основой его аргументов против квалификации полиции как средства воплощения ГИ служит трёхтомное собрание приказов о практике полиции в Германии и Франции, которое переиздавалось на протяжении XVIII в. В этом компендиуме описано множество сфер деятельности полиции: религия, нравственность, здоровье и питание, публичное спокойствие, забота о зданиях, площадях и дорогах, науки и свободные искусства, торговля, фабрики и ремесла, слуги и подённые рабочие, театр и игры, дисциплина для бедняков. Все эти сферы подвергались полицейской регламентации. Отсюда Фуко выводит определение полиции как института рынка.

Под таким углом зрения мыслитель сформировал оригинальный проблемно-эвристический потенциал анализа современной полиции и связанной с ней концепции ГИ. Систематизируем его основные аспекты.

### *Проблемно-эвристический потенциал*

Социально-историческими предпосылками полиции являются городские регламенты средних веков и маршальский суд[9], генезис которых вписан в социальную историю войн, городов, дорог и рынков. Власть стремилась превратить в город всю территорию страны и управлять ею по аналогии с управлением городом. Поэтому полиция в XVII–XVIII вв. осмысливалась в терминах урбанизации территории. Так произошло отождествление города с полицейским надзором.

---

[7] Порочный круг полиции проходит через жизнь индивидов, которая теперь образует ценность для государства. По сути, жизнь людей и раньше была присвоена. Суверен был тем более могущественным, чем больше у него было подданных. Но теперь круг проходит не только через жизнь индивидов, а ещё и через удобство, радость, благополучие. Этот круг есть причиной того, что полиция должна суметь сомкнуть друг с другом силу государства и благополучие индивидов. Жизнь и счастье индивидов должны быть у них изъяты у них и преобразованы в пользу и силу государства. Именно поэтому теоретики полиции утверждали: единственная цель полиции «состоит в том, чтобы привести человека к более совершенному блаженству, которым он мог бы наслаждаться в этой жизни». Укреплять и увеличивать могущество государства, находить верное применение силам государства, даровать счастье подданным— именно в этом сочетании заключается специфика полиции.

[8] Фуко цитирует Монкретьена: «В сущности, природа может нам дать лишь бытие, но благоденствие мы получаем из дисциплины и искусств». Стало быть, дисциплина должна быть одинаковой для всех. Ради блага государства все живут хорошо и счастливо, и искусства, которые после грехопадения были необходимы, чтобы дать нам «необходимое, полезное, благопристойное и радостное».

[9] Первая из них регулировала совместную жизнь людей, производство и продажу товаров. Вторая обеспечивала исполнение регламентов вооружённой силой. После окончания войн армии распускались, бывшие солдаты становились бродягами и носителями беспорядков. Стало быть, сферы социального беспорядка и беззакония есть следствие деятельности самой власти, а не стихийных социальных процессов.

Функционирование полиции переплелось также с теорией и практикой меркантилизма, который базируется на постулате: каждая страна должна стремиться увеличить население, которое будет полностью занято трудом при минимальной зарплате и себестоимости производимых товаров; это увеличит рост экспорта товаров и импорт золота, которое пополнит государственную казну; что позволит создать военную силу, необходимую для роста роли государства в европейском равновесии и стимулирования производства.

Указанная стратегия торговли объясняет причину переплетения полиции с торговой конкуренцией внутри Европы в тот момент, когда ГИ одновременно поставил две цели: достичь европейского равновесия при помощи военно-дипломатического устройства и обеспечить рост каждой державы путём торговли.

Фуко ссылается на классическое представление о том, что рост рыночной экономики с XVI века ввёл человеческое существование в мир абстрактных представлений товара и меновой стоимости. По его мнению, в XVII веке ещё больше проявилось введение принципа ГИ в политику конкуренции. Это подтолкнуло поиск технологии роста государственных сил за счёт полиции, которая стремилась организовать отношения между населением, производством товаров и появлением города-рынка. Совместное проживание породило два следствия ГИ:

Город-рынок стал моделью государственного вмешательства в жизнь людей, которое связано с рождением полиции. Возникла круговая связь между ГИ и городскими привилегиями, полицией и приоритетом товара. Именно эта связь впервые в истории западных обществ стала доступной государственному вмешательству. Материя человеческого существования и сосуществования, обмена и обращения была впервые принята в расчёт в процессе осмысления проблем города (здоровье, улицы, рынки, зерно, дороги). Торговля осмысливалась как главное средство роста сил государства и привилегированный объект полиции.

Однако методы вмешательства ГИ в новые области с помощью полиции остались традиционными. На основе множества исторических источников Фуко показывает, что все юристы и парламентарии высказывали недоверие к полиции. Она не была средством в руках суда, но оставалась абсолютной властью, прямо воздействующей на подданных. Поэтому Фуко определяет полицию как непрерывный и постоянный государственный переворот[10]. Он осуществляется с помощью регламентации, в рамках которой функционируют правила, распоряжения, запреты и приказ: «Мы находимся в мире бесконечной и постоянно возобновляемой регламентации, регламентации все более и более детальной, но все ещё остающейся регламентацией, мы находимся в рамках той разновидности регламентации, которая, несмотря ни на что, сохраняет юридическую форму, пусть и не судебную форму, но такую форму закона, по крайней мере закона в его мобильном функционировании, постоянном и детальном, которое и есть регламентация» [Там же: 440].

Поэтому Фуко предлагает рассматривать возникновение полиции как реализацию большой дисциплинарной мечты: превратить город в подобие монастыря, а монастырь – в подобие города. Иначе говоря, полиция воспроизводит архаику пастырской и поводырской власти, культивируемую христианством.

Фуко строит свой вариант критики полицейского государства на базе констатации исторических фактов: уже при первой попытке воплощения в жизнь концепта ГИ в начале

[10] В качестве показательного случая Фуко приводит ссылку на «Наказ» Екатерины II, которая под влиянием французских философов во второй половине XVIII века собиралась создать в России полицейский кодекс: «Уставы [полиции] суть совсем другого рода от прочих гражданских законов. […] Вещи, ко благочинию принадлежащие, суть такие, кои всякий час случится могут, и в коих дело обыкновенно идёт о малом чём: и так не надлежит тут быть пространным судебным обрядам. Полиция беспрестанно занята подробностями или мелочами», должна действовать быстро и незамедлительно.

XVII в. возник голод и вытекающая из него угроза распада полицейского государства. Но после 150-летнего укоренения полиции во все странах Европы (в первой половине XVIII века) опять возникла угроза голода. В обеих случаях речь шла о решении проблемы обращения зерна. Для иллюстрации он рассматривает и опровергает главные тезисы меркантилистской литературы и политики[11].

Философское опровержение суммирует аргументы, высказанные экономистами, пробившими первые бреши в теории и практике полицейского государства. Они поставили на первое место не город, обращение и продажу, а землю и производство как наиболее важные объекты управления. Полицейская регламентация базировалась на посылке: вещи бесконечно гибки; поэтому воля суверена (которую Фуко называет «внутренней рациональностью ГИ») может получить то, чего она желает. На деле вещи непокорны[12]. Поэтому регламентация вредна и бесполезна. Необходимо заменить полицейскую регламентацию регулированием на основе самого хода вещей. Население не является бесконечно изменяемой данностью[13]. Счастье всех и каждого индивида не зависит от властного вмешательства государства, регламентирующего пространство, территорию и население. Государство не является принципом блага каждого[14].

Фуко набрасывает эскиз новой формы правительности, противоположной ГИ полицейского государства. Прежде всего он устанавливает параллель между политиками и экономистами. В начале XVII века политики воспринимались как секта и ересь[15]. Столетие спустя

[11] Эта полицейская мудрость включает следующие положения: чтобы добиться избытка зерна, надо установить предельно низкую цену, что повлечёт за собой минимальную зарплату и себестоимость товаров, которые можно будет продавать за границей и импортировать как можно больше золота, что поможет добиться роста населения. Поэтому всеобщее счастье есть результат полицейской регламентации

[12] Существует не только определённый ход вещей, который нельзя изменить, но когда его пытаются изменить, все как раз и ухудшается. Если мы хотим помешать, чтобы зерно, которого не хватает, было дорогим, посредством регламентаций, которые фиксируют цену, то люди не захотят продавать своё зерно, и чем больше мы будем пытаться снизить курс, тем сильнее будет дефицит, тем больше курс будет стремиться к росту. Значит, вещи непокорны, они оборачиваются против тех, кто желает их изменить.

[13] В первую очередь потому, что само по себе количество для экономистов не является ценностью. Конечно, требуется достаточное количество населения, чтобы много производить, и главным образом сельского населения. Но его не требуется слишком много как раз потому, чтобы зарплата не была слишком низкой, то есть чтобы люди были заинтересованы трудиться и чтобы они могли посредством потребления поддерживать цены. Следовательно, население есть относительная, а не абсолютная ценность. Есть оптимальное количество людей, которое желательно на данной территории, и это желательное число меняется в зависимости от ресурсов, труда, потребления, необходимого и достаточного для того, чтобы поддерживать цены и экономику. Во-вторых, это количество нельзя установить властным повелением. Нельзя следовать за утопистами XVI века, которые говорили: чтобы создать счастливые города, требуется определённое количество людей. Фактически число людей регулируется само в зависимости от ресурсов, которые будут предоставлены в их распоряжение. Перемещение (регулирование) населения в любом случае определяется ситуацией в данном пункте. Оно ни в коем случае не должно быть следствием полицейского вмешательства.

[14] Речь не идёт о том, как это было в случае с полицией, чтобы сделать так, чтобы лучшая жизнь каждого использовалась государством и затем претворялась в счастье или благоденствие целого. Теперь речь о том, чтобы сделать так, чтобы государство вмешивалось лишь для того, чтобы позволять регулировать лучшую жизнь каждого, интерес каждого так, чтобы он действительно мог служить всем. Государство как регулятор интересов, а не как одновременно и трансцендентный, и синтетический принцип счастья каждого, преобразуемого в счастье всех: это, как я полагаю, главная перемена, которая ставит перед одной вещью, оказывающейся для истории XVIII–XX века, наиболее важным элементом: какими должны быть действия государства, какова должна быть роль государства, функция государства по отношению к динамике, которая сама по себе является фундаментальной и естественной, – к динамике частных интересов?

[15] Политики определяли новое искусство управления в терминах соответствия мировому порядку, мировой мудрости, той разновидности великой космической теологии, которая служила рамками искусству управления в Средние века, а также в XVI веке. Политики говорили: оставим в стороне проблемы мира и природы, постараемся найти, какой интерес внутренне присущ искусству управления, определим горизонт, который мог бы поз-

появилась секта экономистов – еретиков не по отношению к суверенитету, а по отношению к ГИ полицейского государства, которое экономисты первыми подвергли критике[16]. Они изобрели новое искусство управления в границах экономического интереса, который сообщает государству новое содержание и формы рациональности. Управленчество политиков дало полицию. Управленчество экономистов дало современный тип управленчества.

Новое понимание ГИ транслировало цель роста сил государства в пределах баланса Европы и внутреннего равновесия в форме строя. Однако произошёл ряд важных видоизменений, зафиксированных Фуко.

### *Модификации*

В Средние века и период Ренессанса управление государством составляло часть угодного Богу мироустройства. Правильное управление включалось в великие космо-теологические рамки. По отношению нему ГИ вводил разрыв в виде полицейского (неестественного искусственного) государства, с соответствующим ему ГИ. Мышление экономистов сообщило новую естественность механизмам ценообразования. Эта естественность не относится к естественности космоса, характерной для ГИ в Средние века. Указанная естественность была социальной, но противостояла искусственности политики, ГИ, полиции[17].

Фуко подчёркивает, что общество как естественность совместного существования людей было обнаружена экономистами как особая сфера объектов, анализа, знаний и вмешательства. Как специфическое поле естественности возникло понятие гражданского общества (далее ГО) в отличие от государства. ГО невозможно мыслить как простой продукт и результат государства, но и не аналогично естественному существованию людей. ГО связано с новыми формами управленчества. Государство должно заниматься, заботиться, знать и регулировать не первоначальные регуляции природы и не бесконечный ряд подданных, подчинённых правителю. Государство отвечает за ГИ, и должно обеспечить управление ГО. Так произошло первое фундаментальное изменение по отношению к ГИ и рациональности полиции, которая имела дело лишь с собранием подданных.

Фуко описал эвристические последствия идеи социальной естественности. Меркантилисты не выдвигали требование научной рациональности. Экономисты XVIII века считали, что естественные феномены могут быть познаны только методами научного познания. Они сформулировали правило очевидности в отношении экономических процессов и отвергли военно-дипломатические расчёты, характерные для ГИ XVII в. Экономическое знание яв-

---

волить точно установить, какими должны быть рациональные принципы и формы расчёта, специфичные для искусства управления. И выделив таким образом область государства в великом космологическом мире средневекового и ренессансного мышления, они и дали определение новой рациональности. Основополагающая ересь, ересь политиков.

[16] Конечно, и юристами владели озлобление, досада, хотя и меньше, чем в XVII веке, когда, оказавшись перед лицом полицейского государства и того, что оно предполагает относительно прямых условий действия королевской власти и её администрации, они вели себя до некоторой степени сдержанно, иногда критично по отношению к зарождению этого полицейского государства; но это всегда было связано с определённой традиционной концепцией права и привилегий, которые признавались этим правом за индивидами. Речь не шла для них о чём-то ином, кроме ограничения королевской власти, на их глазах становившейся всё более непомерной. У юристов, даже у тех, кто критиковал полицейское государство, никогда не было попытки или стремления дать определение новому искусству управления. Те же, кто вёл критику полицейского государства в зависимости от возможности, способности, и в связи с зарождением нового искусства управления, были экономистами.

[17] Это не процессы природы, понимаемой как мировая природа, это специфическая естественность в отношениях людей между собой, в том, что спонтанно происходит, когда они живут совместно, образуют единое целое, обмениваются, трудятся, производят. Эта естественность, которая ещё не имела существования до сих пор и которая начинает осмысливаться и анализироваться как естественность.

ляется научным и абсолютно необходимо для правильного управления. Если государственное управление не принимает в расчёт результаты научного анализа, оно обречено на неудачу. Особенно важно, что научное знание не присуще правительству и искусству управления. Это уже не расчёт типа ГИ, который возникает внутри управленческой практики. Это наука, которая возглавляет искусство управления, является для него внешней и которую можно обосновать, установить, развивать, доказывать от начала и до конца, даже если не заниматься и не практиковать искусство государственного управления. Возникает совершенно особое отношение знания и власти, управления и науки. Такое искусство управления является одновременно знанием, властью, наукой и решением. В обоих случаях возникают два полюса: научность, которая всё больше и больше заявляет о своей теоретической чистоте, которая воплощается в экономической теории; требование к правительству принимать решения на основе результатов научного анализа.

Фуко иллюстрирует это изменение на примере проблем населения. Раньше население рассматривалось через призму численности, труда, покорности. Теперь появляется население как специфический экономический феномен, связанный с зарплатой, трудом и ценообразованием[18]. Возникает закон механики интересов, характеризующий население. Население возникает как реальность иной плотности, густоты, естественности, чем ряд подданных, которые были подчинены правителю и вмешательству полиции. Но если население действительно наделено естественностью, плотностью и внутренними механизмами регулирования, то необходимо, чтобы государство заботилось не только об индивидах, подверженных регламентации, но и о новой реальности. Забота о населении в его естественности, и развитие определённого числа практик и типов вмешательства, развивается во второй половине XVIII века. Речь идёт социальной медицине, общественной гигиене, проблемах демографии. Все это вызывает появление новой функции государства – заботы о населении в его естественности. Население как собрание подданных сменяется населением как совокупностью естественных феноменов.

Наконец, Фуко констатирует: если поведение населения подчиняется естественным процессам, то не существует никакого основания навязывать им регламентирующие системы приказаний, требований, запретов. Роль государства должна базироваться на соблюдении, учёте и взаимодействии с естественными процессами. Вмешательство ГИ в экономику и социальную жизнь надо ограничить! – таков главный итог анализа Фуко. Но внутри этого ограниченного поля, по его мнению, возникает область возможных и необходимых вмешательств, которые не будут обязательными, повсеместными и регламентирующими. Управление государством не должно препятствовать естественному ходу вещей. Необходимо руководить естественными феноменами таким способом, чтобы произвольное и слепое вмешательство не заставило их отклониться. Необходимо внедрить такие механизмы безопасности, которые обеспечат безопасность экономических и демографических процессов – именно это становится основополагающей целью правительности.

[18] Теперь концепт населения включал два смысла: 1) Население имеет свои собственные законы преобразования, перемещения, подчинения естественным процессам, как и богатство. Богатство перемещается, изменяется, увеличивается, уменьшается. Благодаря естественным процессам, население меняется, растёт, уменьшается, перемещается. Следовательно, существует естественность, внутренне присущая населению. 2) Население порождает между каждым индивидом и всеми остальными ряд взаимодействий, замкнутых следствий, последствий распространения, которые служат причиной того, что между одним индивидом и всеми остальными имеется связь, которая не устанавливается по желанию государства, но является спонтанной.

### *Выводы*

Фуколдианский анализ полиции как разновидности ГИ сводятся к нескольким принципиальным положениям: формулировке предписания свободы как права индивидов законно противостоять власти, узурпации, злоупотреблениям правителя и правительства; в состав такой свободы входит также свобода как ГИ; управлять в соответствии с ГИ можно лишь при условии действительного соблюдения свободы; несоблюдение свободы означает осуществление злоупотреблений по отношению к закону и неспособность управлять. Интеграция свобод и границ, свойственных свободе внутри области ГИ – таков современный императив.

Реализацию этого императива Фуко видит в распаде этой «великой сверхрегламентирующей полиции». По его мнению, надо снова поставить под вопрос регламентацию территории и подданных. В XVII веке возникла двойственная система: ряд механизмов, которые зависят от экономики, управления населением и которые будут иметь функцию содействия росту сил государства; аппарат или количество инструментов, которые обеспечат, чтобы беспорядки, нарушения, беззакония, преступления встречали на своём пути препятствия или чтобы их устраняли. Цель полиции в классическом смысле термина XVII–XVIII вв. состояла в обеспечении роста могущества государства и соблюдении общего порядка. Но этот унитарный проект распадается или воплощается в настоящее время в различных институтах или механизмах. С одной стороны, возникли механизмы стимулирования и регулирования феноменов экономики и управления населением. С другой стороны, институт полиции в современном смысле термина есть средство препятствия и устранения беспорядков. Но внезапно понятие полиции приняло совершенно негативный смысл.

В XVII веке полагали, что новое управленчество сможет полностью воплотиться в полицейском государстве. В XVIII веке оказалось, что оно должно обращаться к экономике как области естественности, управлять населением, организовать юридическую систему соблюдения свобод, создать для себя инструмент прямого, но негативного вмешательства в виде полиции. В итоге прежний проект полиции, который возник в связи с ГИ, распался на четыре элемента: экономическую практику, управление населением, право и соблюдение свобод, полицию. Они добавились к военно-дипломатическому устройству, почти не изменившемуся в XVIII веке.

Таким образом, в настоящее время существуют экономика, управление населением, право вместе с судебным аппаратом, соблюдение свобод, полицейский аппарат, дипломатический аппарат, военный аппарат. На этой основе Фуко заключает: можно создать генеалогию современного государства и его аппаратов, не обращаясь к такой онтологии государства, которое утверждает самого себя и растёт подобно чудовищу или автоматической машине. Генеалогия современного государства и его различных аппаратов восходит к истории ГИ.

Применение всего круга перечисленных идей к истории и современному состоянию ГИ России требует особого исследования и обсуждения. Приглашаю читателей журнала высказаться на эту тему.

---

Фуко М. 2011. *Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году* / М. Фуко: Пер. с фр. В.Ю. Быстрова, Н.В. Суслова, А.В. Шестакова. – СПб.: Наука.

## ***Общие проблемы политической концептологии***

# ФИЛОСОФИЯ, НАУКА, ИДЕОЛОГИЯ, ПРОПАГАНДА

***В.А. Лекторский***
*Институт философии РАН*

**Аннотация:** *Автор обосновывает тезис о том, что идеология – это программа социально-политической деятельности, дающая возможность оценки имеющегося положения дел и ориентир для дальнейших действий. Она предполагает знание о социальной реальности, в том числе научное знание. Вместе с тем она исходит из той или иной концепции человека и его ценностей. Последнее предполагает её философское обоснование, что исторически всегда имело место. Серьёзная идеология допускает критическую рефлексию и ревизию тех или иных её основоположений в свете новой реальности. В этой связи не следует путать идеологию и политическую пропаганду или политтехнологию, которая является средством внушения идеологических установок.*

**Ключевые слова:** *философия, наука, идеология, пропаганда.*

Когда во второй половине XX века в нашей стране началось новое философское движение, инициированное двумя выдающимися людьми – Э.В. Ильенковым и А.А. Зиновьевым и подхваченное многими их сторонниками (я и сам участвовал в этом движении), то обычным для нас было противопоставление науки и идеологии. Мы исходили из того, что наука вырабатывает истинное знание, говорит о том, что есть на самом деле, а идеология предлагает превратную картину действительности. Философию мы понимали как теорию научного познания. И поэтому философия, как и наука, должна противостоять идеологии.

В советские годы занятия идеологией относилась к прерогативе специальных партийных инстанций. Соответствующий отдел имелся в аппарате ЦК КПСС. Время от времени сверху спускались те или иные идеологические установки. Учёные-обществоведы имели право лишь интерпретировать эти утверждения, разъяснять их и исходить из них. Идеология выступала, таким образом, как система верований, исключающих критическую рефлексию, как нечто принимаемое без рассуждений. В нашу философскую деятельность то и дело вмешивались официальные инстанции, которые иногда устраивали нам настоящую идеологическую травлю. Понятно, что для нас «идеолог» было бранным словом, а идеология трактовалась как «ложное сознание» – в духе Маркса. По одну сторону были философия и наука, по другую идеология.

В действительности идеология – это не «ложное сознание» и не система верований, оправдывающих власть, как считали Маркс и Энгельс. Это и не просто картина существую-

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.1517*

щего, а проект, программа социально-политической деятельности, дающая возможность оценки имеющегося положения дел и ориентир для дальнейших действий. Как любая программа, исходящая из системы определённых ценностей, она принимается на основании желательности и возможности её осуществления. Последнее предполагает знание о социальной реальности, в том числе научное знание. Идеология, опирающаяся на псевдо-знание (как, например, немецкая национал-социалистская идеология, использовавшая антинаучную расовую теорию), оказывается несостоятельной. Поэтому серьёзная идеология должна учитывать результаты социальных наук: политэкономии, социологии, политологии и др. Но, будучи не просто знанием о том, что ныне существует, а проектом будущего, серьёзная идеология вместе с тем должна исходить из той или иной концепции человека и его ценностей. А последнее значит, что идеология должны быть философски обоснована, ибо именно философия критически-рефлексивно исследует не только познание, в том числе научное, но также систему ценностей и природу человека.

Исторически так и было. Идеология либерализма, например, философски обосновывалась такими выдающимися мыслителями, как Д. Локк, Д.-С. Милль, Д. Дюьи, К. Поппер, И. Берлин, Дж. Роллз. Идеология социализма философски осмысливалась не только К. Марксом, Ф. Энгельсом и В.И. Лениным, но и такими выдающимися философами, как А.А. Богданов, Г. Лукач, представители Франкфуртской школы (Т. Адорно, К. Хоркхаймер, Э. Фромм и др.), Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, Л. Альтюссер, С. Жижек.

Маркс и Энгельс философски обосновывали идеологию социализма. Правда сами они считали, что идеология – это «ложное сознание», а философия входит в состав идеологии. Они претендовали на то, что социализм – это не философия и не идеология, а научная теория. В XX веке представители Франкфуртской школы высоко оценивали философию, но противопоставляли её идеологии. Последнюю они тоже считали «ложным сознанием», а философию трактовали как «критику идеологии». При этом социальную науку они понимали в единстве с философией и претендовали на разработку особого рода «критической социальной теории».

В этой связи об отношении идеологии и науки. Как я уже сказал, идеология должна опираться на результаты социальных наук. Но и сама наука не является такой, как её представляли в XIX веке и в первой половине XX века. В неё входит не просто набор истинных утверждений о законах и определённая совокупность теорий. Как сегодня ясно, большинство утверждений о законах природы и обществе получается не просто в результате наблюдения (в том числе такого, которое является результатом эксперимента) эмпирических корреляций, а предполагает построение теоретических конструкций. А последние возможны лишь в рамках некоторой программы научного исследования, в основе которой лежат представления об определённой картине мира, ряд философских допущений и утверждений о нормах описания и объяснения. Такая научно-исследовательская программа – не знание о мире, а проект, нацеленный на будущие исследования. Поэтому такой проект-программу нельзя считать истинным или ложным. Он может быть успешным или нет. История науки показывает, что ряд таких программ были успешны в течение длительного времени и позволяли учёным, работавших в их рамках, получать проверенное научное знание. Такова, например, была программа механицизма в классической физике, давшая множество научных результатов. Но в XX веке эта программа перестала быть успешной, пришлось заменить её другими. Таким образом, в некоторых отношениях имеется сходство между наукой и социальными идеологиями. Поэтому иногда исследователи науки говорят об «идеологии механицизма», «идеологии редукционизма» и т. д.

Не будучи идеологией и тем более не являясь её служанкой и имея в качестве предмета исследования не только социальную жизнь, но и познание, и проблемы предельных основа-

ний бытия и ценностей, философия тем не менее всегда играла и продолжает играть важнейшую роль в обосновании идеологии. Разработка последней – серьёзное дело, как я уже сказал, предполагающее опору на науку и философию. Идеология при таком её понимании – не способ «навешивания лапши на уши», а необходимый ориентир социально-политической жизни, при этом предполагающий критическую рефлексию и ревизию тех или иных её основоположений в свете новой реальности. В этой связи не следует путать идеологию и политическую пропаганду или политтехнологию.

Последняя – не что иное, как средство внушения неких идеологических установок. В этом случае речь идёт о том, чтобы принять эти установки на веру, не особенно размышляя над ними. Кажется, что это во всех случаях плохо, ибо пропаганда в самом деле даёт возможность оболванивания людей и нередко для такого оболванивания и используется. При этом имеются способы такого рода внушения, использующие особенности человеческой психики, и ряд учёных работают на пропаганду, разрабатывая такие её способы (некоторые называют такого рода исследования и основанные нам них социальные технологии «грязной наукой»). Но когда мы размышляем о пропаганде, нужно принять во внимание следующий факт. Дело в том, что в жизни общества существуют такие ситуации, когда необходимо создание мотивов для массового социального действия, но нет времени для спокойного критического обсуждения этих мотивов, для сопоставления в этой связи разных точек зрения. В этих случаях пропагандистское воздействие может быть важным. Но нужно иметь в виду, что такого рода общественные ситуации не столь часты и что в любом случае пропагандистское воздействие должно исходить из интересов общества в целом, а не тех или иных групп. Поэтому ответственность лиц, занимающихся пропагандой, чрезвычайно велика. Самое же главное состоит в необходимости создания такой обстановки, когда большинство важных социальных решений принимается не с помощью внушения и манипулирования сознанием, а на основе сознательного и критического участия членов общества.

# ЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СВОБОДА: ЛОГИКА В СОВЕТСКОМ И ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ[1]

***Г.Л. Тульчинский***
*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург)*

**Аннотация:** *Статья содержит попытку осмысления феномена советской логики. Этот феномен по-своему парадоксален. С одной стороны, логика и методология науки была в 1960-х – начале 1980-х многочисленным и очень активным движением в советской научной жизни: частые масштабные конференции, множество публикаций. Фактически это была своеобразная научная субкультура, объединявшая часть интеллектуальной элиты. С другой стороны, отсутствовали масштабные и существенные дисциплинарные результаты, даже так и не сформировалась дисциплинарная научная периодика. Главный тезис данной работы – «советская логика была больше чем логика». Идеологический прессинг на гуманитарные науки, прежде всего – философию, способствовал формированию привлекательности образа логики как рациональной интеллектуальной деятельности, приобретающей в атмосфере всеобщего полузнайства образ оазиса философского профессионализма. Более того, логика приобрела статус чуть ли не единственной в философии «экологической ниши», относительно независимой от идеологии сферы профессиональной мысли. Последние 15 лет XX столетия стали годами реформ и преобразований, которые сняли экстрадисциплинарные центростремительные факторы, Это породило мощный центробежный импульс. Логики разошлись в разные стороны, наконец-то занявшись тем, чем не могли заниматься раньше. С начала XXI века такая ситуация оборачивается деградацией научной логической культуры, негативными последствиями для развития российской логики как научной дисциплины, вытеснением логики на периферию исследований искусственного интеллекта.*

**Ключевые слова**: *культура, логика, методология науки, ответственность, свобода, СССР, философия.*

В статье рассматриваются парадоксальные место и роль логики, которые она занимала и выполняла в советском обществе. Причём, ситуация, во многом сохраняется и в постсоветский период. Представляется, что характеристика этой ситуации, её причин, факторов, обусловливаю-

[1] Основная часть данного текста была опубликована ранее [см.: Тульчинский 2009]. Переработки и дополнения выполнены при поддержке гранта РНФ № 22-18-00591 «Прагмасемантика как интерфейс и операциональная система смыслообразования» в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.1828*

щих ее динамику, тенденций и перспектив на будущее, важны для осмысления существенных характеристик российского духовного и интеллектуального опыта на изломе тысячелетий. Под логикой в работе понимается как логическая культура общества, так и собственно логика как научная дисциплина. И очевидно, что между ними имеются важные, показательные и поучительные прямые и обратные связи, определяющие развитие и осмысление предмета исследования.

### *1. Парадокс первый: И.С. Сталин как «друг» советских логиков*

Валентин Фердинандович Асмус – один из немногих, благодаря кому в 1930–1960-е годы был сохранен уровень философского профессионализма в советской России – рассказывал трагикомичную, но представляющуюся чрезвычайно показательной, историю. В конце сороковых, после выхода его учебника по логике (до сих пор, кстати, во многом непревзойдённого), за ним приехали. Ночью. Зная по тем временам, чем это может кончиться, взял он всегда стоявший наготове чемоданчик, распрощался с близкими и пошёл. Привезли его в Кремль, в кабинет к Сталину: «Вы профессор Асмус, автор учебника по логике?» – «Да, я» – «У меня к Вам просьба – научите членов Политбюро и Правительства логике.» – «Как это, Иосиф Виссарионович?» – «А так. Они говорят “значит”, а это ничего не значит. Они говорят “следовательно”, но у них ничего и ниоткуда не следует...».

И В.Ф. Асмус читал Правительству и Политбюро краткий курс по логике. Именно после этой истории логика была введена в школьные программы, но вновь была отменена вскоре после смерти «друга всех логиков». И, очевидно, неспроста. У его наследников сохранились явно специфические отношения с логикой.

История в высшей степени характерная и показательная. В ней, как в капле воды отразились основные особенности места и роли логики в советском обществе:

(1) вопиющее логическое бескультурье социального общения и практики – вплоть до политической в высших эшелонах власти;

(2) неукоренённость кабинетной науки логики в социальной жизни советского общества, практическая невостребованность им логики – сталинская попытка насаждения логической культуры сверху суть исключение, подтверждающее правило.

С достаточным на то основанием можно предположить, что за указанными обстоятельствами скрыты некие характерологические особенности советской, да и постсоветской России.

### *2. «Объективка» или CV советской логики*

Начнём с науки логики. Невозможно в рамках одной статьи дать полную картину состояния и динамики развития советской логики. Такую важную, интересную и благодарную задачу ещё предстоит решать. В данной же работе, в контексте её конкретных целей, можно только дать общую характеристику советской логики. В советских отделах кадров на работников составлялся документ, на канцелярском жаргоне называвшийся «объективка» – что-то вроде краткого curriculum vitae. Вот без такой «объективки», беглого очерка в нашем разговоре, очевидно, не обойтись.

В дореволюционной России логика входила в программы средней школы, обязательно преподавалась в гимназиях, университетах. Авторитетными являются и исследования российских логиков (М.И. Каринского, Н.А. Васильева и др.). Общепризнанно, что идеи Н.А. Васильева предвосхитили формулировку идей многозначной логики, семантики возможных миров. Первой в мире программой курса по математической логике, разработанной на основе “Principia mathematica” стала программа молодого П.А. Флоренского, который и содержательнейшие примечания к своей фундаментальной теодицее «Столп и утверждение

истины» (1913 г.) строил на аргументации, апеллирующей к аппарату математической логики “Principia”.

После революции некоторое время сохранялась инерция довольно развитой логической культуры. Орловым были сформулированы только теперь оценённые по достоинству принципы вероятностной индуктивной логики. Независимо от К. Шеннона и даже раньше его Шестаковым была предложена техническая интерпретация логико-математической структуры суждений, которая до сих пор лежит в основе электронно-вычислительной техники. Этой инерции, однако, хватило не надолго. Разгром, учинённый коммунистическим режимом в гуманитарных, социальных. а затем и в естественных науках, с неизбежностью сказался и на логике. Она была исключена из учебных программ средней и высшей школы, за исключением незначительных курсов на юридических и философских отделениях. Традиционная классическая формальная логика как наука о формах мышления, а также математическая логика были заклеймены. «Буржуазной» и «идеалистической» логике противопоставлялась «передовая» так называемая «диалектическая логика» с её акцентуированным интересом к противоречию. Стремление к рациональной конструктивности, строгости и непротиворечивости научной аргументации стали предметом высмеивания и поношения как проявления «буржуазного наукообразия».

Ситуация несколько изменилась после Второй мировой войны в связи с бурным развитием кибернетики, прежде всего – вычислительной техники. В этой связи нельзя не отметить личную роль академика А.И. Берга, специалиста по философии математики С.А. Яновской, инициировавшим интерес к современной математической логике. Из круга молодых продвинутых аспирантов, интересующихся аппаратом современного логического анализа и сложился, ставший в последствие знаменитым, «московский логический кружок», сложившийся на философском факультете в рамках студенческого научного общества вокруг окончившего в 1951 г. факультет и поступившего в аспирантуру А.А. Зиновьева. Кружок официально просуществовал шесть лет (1952–1958 гг.), очень быстро стал одним из центров интеллектуальной жизни Москвы, проделал бурную эволюцию. На разных её этапах идейными лидерами кружка были А.А. Зиновьев и Г.П. Щедровицкий.

«Московский логический кружок» сыграл исключительно важную и продуктивную роль катализатора, своего рода инкубатора в развитии логической и в целом интеллектуальной культуры послевоенной России. С ним связана начальная стадия деятельности М.К. Мамардашвили – пионера развития феноменолого-герменевтической традиции. Из кружка вышло целое движение методологов, связанное с кругом идей организационно-деятельностных игр Г.П. Щедровицкого, а также с идеями интеллектики и интеллектуальных систем (И.С. Ладенко). Участники «кружка» так или иначе участвовали в становления советской прикладной социологии (Б.А. Грушин), прикладной информатики (В.К. Финн, Д.Г. Лахути), активно сотрудничали с математиками, филологами и лингвистами, «тартусско-московской семиотической школой».

В собственно философской среде очень быстро сложилось мощное направление исследований по логике и методологии науки (П.В. Копнин, В.А. Лекторский, В.С. Швырев, В.Н. Садовский, В.С. Степин и многие другие), идеологическим прикрытием которого стала «критика» неопозитивизма (логического эмпиризма), зарубежной аналитической философии и философии науки.

В результате логическая проблематика выступила мощным катализатором самостоятельной, независимой мысли, интеллектуальной культуры в России второй половины XX-го столетия. В том числе – одним из источников советского и постсоветского инакомыслия (Есенин-Вольпин, А.А. Зиновьев) и либерализма.

Собственно же логика в советское время организационно сложилась в структуру, имевшую сравнительное небольшое, но сплочённое ядро, и разветвлённую периферию. Ядро составляли отделы и секторы логики и методологии науки в институтах философии Академии

наук (Москва, Киев, Новосибирск, Ереван), а также кафедры логики ведущих университетов (московского, ленинградского, уральского, ростовского, киевского и др.). «Периферию» же образовывали философы, получившие логическое образование и занимающиеся логической проблематикой, но работающие на кафедрах философских и других гуманитарных дисциплин, или в средней школе, или в каких-то научных учреждениях, или на производстве, в органах управления. В результате вокруг «ядра» сложилась довольно развитая, «глубоко эшелонированная» система обороны и поддержки, обеспечивающая относительно спокойное развитие логической субкультуры.

Репрезентативными для этого развития являются исследования В.А. Смирнова, Е.Д. Смирновой, Е.К. Войшвилло и сложившейся вокруг них школы московских логиков, И.Н. Бродского и О.Ф. Серебрянникова, инициировавших интенсивное развитие логики в Ленинграде, М.В. Поповича и его сотрудников в Киеве, И.С. Ладенко, В.В. Целищева в Новосибирске и др. Регулярно проводились всесоюзные конференции по логике и методологии науки. Также проводились тематические конференции и семинары: всесоюзные, региональные, межвузовские. Их материалы довольно систематически публиковались в сборниках тезисов, статей, в обзорах.

С конца 1970-х годов начались все более интенсивные контакты с зарубежными коллегами-логиками Польши, восточной Германии, Финляндии. И по мере развития контактов все более явным становилось удивительное, на первый взгляд, обстоятельство: в условиях относительно спокойной и оживлённой научной жизни серьёзных новых результатов в советской логике получено не было. Почему?

### *3. Парадокс второй: респектабельность с нулевым результатом*

В общем виде динамика развития логики, как и любой другой научной дисциплины определяется тремя группами факторов. Во-первых, это факторы эпистемогенные (проблемы, темы, концепции), т. е. внутренние, интерналистские факторы становления и развития научной дисциплины. Во-вторых, это организационные факторы: социально-организационные аспекты, формирование школ, направлений, выдвижение лидеров, вербовка учеников, организация формального и неформального общения, проведение конференций и семинаров, публикации, подготовка специалистов, public relations и другие факторы развития дисциплины. Наконец, в-третьих, это факторы культурогенные, связанные со «вписыванием» науки логики в совокупную культуру общества: социальное значение логики, престиж науки и профессии и т. п. Действие этих групп факторов образует сложную систему взаимостимулирующих и взаимпровоцирующих связей и отношений, обеспечивающих интеграцию логики в интеллектуальную культуру и общественную практику и жизнь общества в целом.

При рассмотрении эпистемогенных факторов развития советской логики в глаза бросается ориентация исследований преимущественно на логический синтаксис, слабое (по сравнению с зарубежными исследованиями) развитие логической семантики и особенно – логической прагматики. За редким исключением, общей чертой являлся уход от острых мировоззренческих вопросов. И это при условии, что, как показал мировой опыт, широкое мировоззренческое осмысление – необходимое условие развития собственно логической техники. Убедительным примером является семантическое обоснование систем модальной логики, развитие вероятностной, эпистемической и других неклассических логик, семантики возможных миров в различных её интерпретациях. Логическая рационализация и формализация вторичны по отношению к концептуализации, к осмыслению. Лишённая этой питательной среды, а возможно, и отказывающаяся от неё сознательно, советская логика оказалась обречённой на вторичность по отношению к зарубежному опыту и исследованиям, по отношению к математике, прикладным исследованиям. За исключением единичных личностных прорывов, серьёзных результатов советскими логиками получено не было. Сформировался даже

своеобразный комплекс неполноценности перед зарубежными коллегами, а также математиками и специалистами по искусственному интеллекту, программистами.

На первый взгляд, существенно негативную роль в этом сыграли оргагнизационные факторы, развитие которых до сих пор находится. фактически, в зачаточном состоянии. Сохраняется minimum minimorum организационных условий воспроизводства логики. Кафедры логики имеются не во всех университетских центрах, объем публикаций чрезвычайно ограничен. За все советское время в стране не было и до сих пор нет ни одного специального логического журнала (для сравнения: в одной только небольшой Польше таких изданий четыре). А два основные философские периодические издания «Вопросы философии» и «Философские науки», да ещё украинская «Философская и социологическая мысль» (двуязычная с начала 1980-х), логической тематике уделяли с неизбежностью весьма и весьма скромное место.

Все это, вроде бы, должно было сдерживать развитие логического профессионального научного сообщества. В реальности же, однако, имела место обратная ситуация. Логическая научная субкультура была одной из наиболее устойчивых и развитых в советской философской культуре. Имелись общепризнанные авторитетные лидеры. На логические циклы философских факультетов рекрутировались наиболее способные, активные и продвинутые студенты. Как уже отмечалось, сложилась чрезвычайно развитая «неявная» структура сообщества, сложился широкий круг «скрытых» логиков – специалистов, получивших логическую подготовку, но занятых в других философских дисциплинах, тяготеющих к логике не только в проблемном, но и в коммуникативно-личностном плане.

В этой связи и можно констатировать второй парадокс советской логики: довольно бурная и эффективная организационная активность, сложившееся развитое научное сообщество, наличие респектабельной науки и ... практическое отсутствие интеллектуальной продуктивности, серьёзных оригинальных научных результатов. Наиболее продвинутые работы (Н.И. Стяжкина по истории математической логики, А.А. Зиновьева по теории логического следования, А.А. Ивина по логике норм и оценок, И.Н. Бродского по отрицательным высказываниям, О.Ф. Серебрянникова по натуральным исчислениям, Я.А. Слинина по модальной логике, Э.Ф. Караваева по временной логике и т. д.) носили характер, по преимуществу, добротных систематизаций – не менее, но и не более.

Можно предположить, что в парадоксальности этой сложившейся ситуации решающую роль играют культурогенные факторы, компенсирующие слабость факторов эпистемогенных и организационных. Но здесь нас подстерегает следующий парадокс, как представляется – центральный и главный. Дело в том, что собственно наука логика развивалась в как бы культурном вакууме, в полном отрыве и даже в диссонансе с логической культурой советского общества. Ярким выражением этой парадоксальности и является история В.Ф. Асмуса.

Главным нервом бытия советской логики являются культурогенные факторы, определившие как особенности её социального бытия, так и дисциплинарное своеобразие. Поэтому, для дальнейшего серьёзного разговора, необходимо определиться в вопросах: каковы факторы, вызывающие к жизни логическую теорию и практику, при каких условиях логика востребуется обществом? Кому и зачем нужна логика? Наверное, только после ответа на них можно серьёзно и ответственно говорить об источниках парадоксального своеобразия советской логики.

### *4. Кому и зачем нужна логика. Роль логики в истории культуры и условия её востребованности*

Логика – одна из основных несущих конструкций современной цивилизации. Если нашу цивилизацию уподобить железобетонной конструкции, то логика будет одной из главных арматур, задающих конфигурацию и жёсткость всей конструкции. И эта метафора не так уж метафорична, как может показаться. Индустриальная-постиндустриальная-технотронная ци-

вилизация, построенная на научном познании, воплощении его результатов в технологии, коренится в мощном духовном импульсе двух великих идей: иудео-христианской идее монотеизма и древнегреческой идеи рациональности. Именно духовная встреча Иерусалима и Афин до сих пор определяет облик современной цивилизации.

Как говорил Н.А. Бердяев, если есть дух этой реки, дух этой горы и этого дерева, корабли не поплывут, а самолёты не полетят. Политеизм, анимизм не могли быть духовной и интеллектуальной основой развития науки и техники. Такой основой могло быть только сознание того, что мир един, создан единой волей по единому замыслу и нам дана способность попытаться уяснять детали этого замысла. Роль интеллектуальной техники и выполняла логика – одно из главных достижений древнегреческой философии. Сначала логическая практика анализа рационального содержания оттачивалась на интерпретации Священного Писания, а чем дальше, тем больше – применительно к самой реальности. Возникновение Science хронологически совпадает с охотой на ведьм. “Novum Organum” Ф. Бэкона современник «Молота ведьм» Шпенглера и Инсисториса. За ними стоит один и тот же духовный импульс – человек может познать происходящее не только интерпретируя тексты, но и задавая вопросы, буквально «пытая» саму действительность. Кстати, тот же «Молот ведьм» и написан фактически как экспериментальная методика. От «о-пытного» экспериментального знания оставался один шаг до деизма с его представлением о мире как машине, созданной и запущенной творцом. И этот шаг был сделан весьма быстро, так же как и следующий, отбрасывающий «гипотезу Бога» и придающий человеку героико-прометеевский образ Инженера, преобразующего мир в соответствии с познанными законами этого мира.

Великая идея рациональности во всем многообразии её содержания (конструктивность, эффективность, непротиворечивость, общезначимость etc.) так или иначе, но восходит к логическим принципам и технике доказательства. Логическую сердцевину имеет математика, являющаяся языком научного анализа – это убедительно продемонстрировала проблема оснований математики, породившая современную математическую (символическую) логику. Более того, сама эта математическая логика оказалась основой создания и развития электронно-вычислительных машин. Речь идёт не только о программах, но и о «железе»: именно электротехническая интерпретация логических функций лежит в основе ламповых, полупроводниковых и чиповых технологий создания компьютеров. Логика – арматура современной цивилизации в самом буквальном смысле слова.

Что же обусловило само возникновение логики и почему она наиболее полно оформилась именно в исторически краткий период существования афинской демократии? При всей своей абстрактности логика – самая что ни на есть эмпирическая наука. Это хорошо понимает любой, державший в руках аристотелевские «Аналитики», «О категориях» и «Об истолковании». Логика – не плод воображения Аристотеля, не нечто придуманное для внедрения в практику.

***Логика суть обобщение опыта эффективной аргументации.*** И тогда ответ на вопрос «зачем и почему возникает логика?» зависит от ответа на вопрос «когда и зачем людям нужна эффективная (рациональная) аргументация?». И ответ этот достаточно очевиден: если у людей есть интересы, которые они могут публично отстаивать и продвигать, обсуждая с другими. При каких условиях это может быть реализовано?

Во-первых, при наличии у людей какой-то собственности, с которой и могут быть связаны какие-то интересы. Как говорил Ортега-и-Гассет, человек – это человек и его обстоятельства. Именно обстоятельства – то, что находится в зоне свободы и ответственности человека и определяет его интересы, мотивы, намерения и возможности.

Во-вторых, это существование «Рынка», буквально – базара, торжища, на котором люди могут своей собственностью и прочими «обстоятельствами» обмениваться, торгуясь относительно их ценности.

В-третьих, это «Форум», т. е. возможность публичной правовой процедуры разрешения возможных столкновений интересов и споров, т. е. сложившаяся политическая и правовая культуры.

В-четвёртых, это «открытость общества», т. е. реальные контакты с людьми иных культур, когда людям, говорящим на разных языках, придерживающимся разных верований, носителям разной нравственности и т. п., надо стремиться понять друг друга, чтобы о чем-то договариваться.

Именно эти условия сошлись в VI в. до н. э. в античной Греции – торговой, живущей на перекрёстке цивилизаций и именно в демократических Афинах.

И именно эти необходимые и достаточные условия востребованности рациональной аргументации практически отсутствовали в советской России. С её изоляционизмом, закрытостью для внешних контактов, обездоленностью населения, внерыночной распределительной экономикой, отсутствием начал демократической и правовой культуры, когда «закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло». Отсюда и соответствующий уровень логической культуры, точнее, её фактическое отсутствие.

### *5. Социальная алогичность и «логика больше чем логика»*

Сформулированная Сталиным в его ночной беседе с профессором логики проблема «значит» и «следует» сохраняется до сих пор. Трагикомична неспособность немалого множества публичных политиков к связности речи и мысли. Вязкость – да, связность – нет.

Российские споры до сих пор – монологи глухих. Полемика до сих пор доминирует над дискуссией. В отличие от дискуссии, целью которой является прояснение позиций и поиск оптимального рационального решения, целью полемики является победа в споре. Российские полемисты не стремятся к истине, главное – уязвить, унасекомить другого, навесить на него ярлык и – явно или не явно – доложить властям о его прегрешениях. Логикой тут и не пахнет. Стремления быть понятым и убедить – нет и в помине. Более того, попытки внятной аргументации или даже просто культурная речь (например, юристы. преподаватели, священнослужители вынужденно имеют навык связной речи – таков их «профессиональный кретинизм») вызывают органическое неприятие и агрессию. Агрессивная реакция следует не на мысль и доводы, а просто на отдельные слова, понятые, точнее – не понятые, вне общего смысла. Сохраняется только способность к «ага-узнаванию» хорошо известного, реакция на ключевые слова, на то, кто их произносит и с какой интонацией.

Можно говорить о вопиюще торжествующем логическом бескультурье – в быту, в деловой активности, в политической жизни. Многословье при отсутствии аргументации по существу дела, неумение мыслить конкретно, безответственные решения, неспособность привести законы в соответствие друг с другом, неспособность определить предмет договора или спора, свою собственную позицию – являются излюбленной темой юмористов, поражают иноземцев, ставят под вопрос успех любого дела. И логика, призванная давать гарантии понимания, разумного мышления, общения и действия – в упор не воспринимается и даже отторгается. И никто не вызывает по ночам профессора логики.

Недавняя попытка ввести логику в учебный стандарт высшей школы закончилась ничем. Зато правительственный чиновник, отвечающий за государственные стандарты гуманитарного образования вызвал бурное оживление зала на совещании в Санкт-Петербурге своим обращением к залу: «Ну, должна же быть какая-то наука, изучение которой научит наших выпускников правильно формулировать и излагать свои мысли».

Почему же при отсутствии естественных необходимых и достаточных условий формирования и развития логической культуры в советской России в ней довольно активно развивалась логика, решающая сугубо эзотеричные проблемы логико-математического синтаксиса?

Идеологический нажим на интеллектуальную и духовную культуру, на философию прежде всего неизбежно способствует росту привлекательности логики как рациональной интеллектуальной деятельности, приобретающей в атмосфере всеобщего полузнайства образ оазиса философского профессионализма. Более того, логика приобретает статус чуть ли не единственной в философии экологической ниши, относительно независимой от идеологии сферы профессиональной мысли. Иначе говоря, часть здоровой интеллектуальной элиты под воздействием специфических культурогенных факторов, прежде всего – мощного внешнего идеологического прессинга, и образовала весьма своеобразное научное сообщество, каковым была советская логика 1950–1980-х, и для которого логика была «больше чем логика».

### *6. Насилие: механический аргумент argumentum ad morti*

Разумеется, многое в этом печальном опыте предопределило многолетнее засилье коммунистической идеократии, когда работа ума ограничивалась простыми инвентаризациями от знаменитой ленинской «Жучка-собака» до «буржуй – не буржуй», «наш – не наш». Умозаключения при этом практически отсутствуют или заменяются конструкциями лозунгов типа: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи» и «Народ и партия едины», следовательно, «Партия – наш рулевой». На этом фоне объяснима и тяга к извращённому пониманию диалектики, культовое отношение марксистко-ленинской философии к противоречию. В расхожей практике оно оборачивалось интеллектуальной вседозволенностью и безответственностью. Согласно одному из логических постулатов, из А и не-А следует все что угодно. Противоречие всегда ложно. Поэтому разум, не способный понять нечто определённо, найти ему объяснение, апеллирует к противоречивости действительности: диалектика, мол, такова.

Можно, конечно, свести дело к трагикомическому стёбу. Единственная, мол, четвёрка в аттестате у младшего Ульянова была, как известно, по логике. Вот нелады вождя с логикой и сказываются. Дело, однако, как представляется, серьёзней. Перед глазами современных очевидцев своеобразная последовательность сторонников фашиствовавшей «Памяти», нынешних националистов, один из принципов которой, провозглашаемых при открытии митингов этого общества: «Не спорить! Только лозунг и прямое действие – его выполнение!».

В своё время выдающийся российский популяризатор логики С.И. Поварнин, обобщая уловки и нечестные приёмы спора, отмечал уловки «механического» характера. Когда незадачливому спорщику приходится туго и он начинает чувствовать, что полемика ему не по силам (то ли позиции слабые, то ли соперник сильнее или просто прав), тогда и прибегают к «механическим» аргументам. Выход из спора, срыв полемики, не стесняясь в средствах – это и есть «механическая» аргументация. К ней Поварнин относил и донос – апелляцию к городовому, и прямое насилие – «палочные доводы». Добавим, что разновидностью «механической» аргументации является argumentum ad morti: апелляция к смерти, угроза смертью, а то и прямое убийство. Классиком теории и практики argumentum ad morti был все тот же Сталин: «Есть человек – есть проблемы, нет человека – нет проблем», «Смерть решает все проблемы».

Подобная «аргументация» – проявление не только полемической несостоятельности. Она свойственна людям, чьи мысли и сознание не адекватны реальности. Поэтому насилие над реальностью, над другими людьми – единственный их довод. Абсурдное сознание порождает абсурдные аргументы, которые приводят к абсурдным действиям. Полная невменяемость событий и поступков. Российская история даёт великое множество тому примеров.

### *7. Логика, свобода и ответственность*

Невменяемость ещё и потому, что «механический» аргумент – любимый довод самозванцев всех мастей, делающих других счастливыми помимо, а то и вопреки их воле, но от

их имени. Российская история потому и невменяема, что её некому вменить конкретно. Логическая культура самозванцев: недоучившихся семинаристов, экстернов, совдеповских полузнаек, «народных академиков», «экономистов». Логика – ядро не только интеллектуальной культуры. Логично, значит, – рационально, конструктивно, значит, – общезначимо, апеллирует к взаимопониманию и общепринятым правилам рассуждения. Логично – убедительно, потому что доказательно, реализуемо, потому что истинно. И потому логично, значит, – вменяемо и ответственно, т. е. проверяемо и конкретно. Не случайно стоики так сближали логику и этику. Логическая и нравственная культуры – две стороны единства человеческой свободы и ответственности.

Российско-советский же духовный опыт фактически не знает идеи свободы. Его содержание, специфика которого определяется особенностями хозяйствования, экономической и политической истории, спецификой восточного христианства и славянской мифологии, и выражается в дискурсе обыденного опыта, фольклоре, искусстве, философии, всегда отличалось нравственным максимализмом в сочетании с правовым нигилизмом, эскапизмом доходящим до эсхатологизма и смертобожия, пренебрежением человеческой жизнью в этом мире во имя мира иного (потустороннего или в светлом будущем). Как следствие этого – пренебрежением систематическим трудом по сравнению с богоподобным творчеством, личностью – по сравнению с коллективной общностью. Это духовный опыт не свободы, а воли. Отсюда особая озабоченность вопросом власти, с которой связываются любые, даже частные проблемы.

Свободный человек относится к другому как такому же свободному, учитывая его интересы, вступает в диалог и ответственные отношения. И ему нужна логика. Самозванцу она не нужна. Его воля не ограничена (не определена) свободой. Поэтому он невменяем. Ему нужны только идея, лозунг и действия. Свобода воли как воля к неволе. А кто не с нами, тот против нас. Другие для него – такие же невменяемые самозванцы: слушать их, говорить с ними незачем. Кого в этой ситуации может интересовать рациональная аргументация? Как в известной русской пословице: «Ты начальник – я дурак. Я начальник – ты дурак». И всё. Какая ещё нужна аргументация. Самый эффективный довод – «механический»: жезл Ивана IV, дубинка Петра I, пистолеты и бомбы народовольцев, «диктатура пролетариата», танки, заказные убийства, пытки...

Логика может быть востребована только свободными людьми и обществом, гарантирующим с помощью права их свободу и взаимоответственность. Логика и право идут рука об руку. Следствие, если оно цивилизовано, а не построено на «механике» выколачивания и выдавливания признаний и показаний, суд, если только он не фарс, гражданское общество и правовое государство – живая среда живой логики.

Логика основана на определениях, буквально – ограничениях, мысли, оперирует определёнными терминами. Термином в античном Риме назывался межевой камень, указывающий границы надела. Логика, как и право, ставит границы, пределы произволу мысли и действия, ограничивает волю, превращая её в свободу. И наоборот, – ответственность перед законом предполагает свободу воли. Если нет свободы выбора, то и отвечать не за что. Именно поэтому право полагает людей свободными, вменяемыми, предполагает возможность убеждения и согласия, договора, а следовательно – логически упорядоченные мысль, речь и письмо.

### *8. Argumentum ad absurdum или исход советской логики*

Справедливость приведённых рассуждений своеобразным методом от противного (ad absurdum) доказывает сама эволюция советской логики в «перестроечное» и «пост-перестроечное» время.

В ситуации обновления общества, демократизации и раскрепощения сознания неестественный, «перегретый» интерес к логике падает, и она переходит в естественный режим

своего бытия. При этом на передний план должны выйти организационные факторы, становящиеся решающими: уровень компетентности лидеров, возможность полноценной подготовки специалистов, нормальный режим публикаций, их международная экспертиза – все то, чего как раз была лишена советская логика.

Что и сказалось. Снятие внешнего пресса, обеспечивавшего центростремительное воздействие на логическую научную субкультуру, породило мощный импульс центробежных сил. Логики прыснули в разные стороны, наконец-то занявшись тем, чем не могли заниматься раньше. А.А. Зиновьев полностью переключился на публицистические сатиры, М.В. Попович – на творчество Гоголя и текущую политическую жизнь Украины, А.Л. Субботин переводит Мандевиля, В.В. Целищев уходит в английский нонсенс, Ю.Н. Солонин – в культурологию и историю философии, В.А. Карпунин – в креационизм и богословие, социологию и политологию. Это лидеры. А что же тогда говорить о молодежи. Существование логических циклов на философских факультетах под большим вопросом. Студенты предпочитают шизоанализ, деконструктивизм. Логический анализ объявляется устаревшим бинарным дискурсом. Ж. Деррида во время одного из посещений России заметил, что в России постструктурализм, похоже значит нечто большее, чем постструктурализм. История повторяется.

Для тех же, кто продолжает заниматься логикой, демонстративный отказ от философской (мировоззренческой, метафизической) проблематики оборачивается против них самих, точнее – против российской логики. В кругу эпистемогенных факторов эта проблематика играет решающую роль, поэтому дальнейший отказ от неё, как и от семантико-прагматической тематики в логическом научном поиске чреват деградацией научной логической культуры, в лучшем случае – вытеснением ее на периферию исследований искусственного интеллекта.

### *9. Последний парадокс, надежды и главная проблема*

Вместе с тем, назревает ещё одна очень неприятная для логиков парадоксальность. По мере трудного, тягучего, но всё-таки становления нового российского общества, появления пусть болезненных, хилых, но всё-таки ростков рыночной экономики, политической демократии, правовой культуры, – в российском обществе зреет интерес к логической культуре, востребованность логики. На различных курсах подготовки и переподготовки менеджеров различного профиля, по запросам самих слушателей вводятся теоретические курсы и практикумы по логике, раскупаются переиздания старых учебников.

Парадоксальность ситуации заключена в том, что профессиональное сообщество, логики-профессионалы оказались неготовыми к такому повороту. Дело в том, что все более востребованной является логика отнюдь не математическая, которой они с гордостью посвящённых все это время занимались, а традиционная «человеческая» логика – теория и практика эффективной аргументации. И многие специалисты, поджав губы, считают ниже своего достоинства вести подобные курсы. В результате, логику зачастую читают энтузиасты-дилетанты или просто случайные люди. Наверное, это неизбежная болезнь роста. Главное, что «процесс пошёл», постепенно в российском обществе отрастают реальные ткани естественной, а не парниковой логической культуры.

Феномен советской логики исчерпал себя. А собственно логика как естественное порождение логической культуры общества ещё должна созреть и зерна её прорастают. Но… Российский человек до сих пор не является хозяином своей жизни. Границы его свободы, а значит и ответственность иногда совпадают с границами кожно-волосяного покрова, он существенно лишён самоопределения. Он неопределённен, а значит – невменяем. Потому что обездолен. Буквально. Лишён доли. А значит – он не хозяин своей судьбы. В этом плане показательны результаты большевистско-мафизно проведённой приватизации, в результате которой свыше 80 % населения оказались за чертой бедности, а экономический занавес оказался

крепче и жёстче «железного» и пролёг даже внутри страны, прервав экономические, научные и человеческие связи.

В античной Греции были непререкаемые богини судьбы – мойры. Даже Зевс их побаивался. Но по-гречески «мойра» – это все та же граница земельного надела. Только обладая долей человек обретает судьбу, мойру. Он становится способен к самоопределению, к сознанию собственных интересов, к осмыслению своих отношений с другими людьми, и, следовательно, – к ответственным решениям и логичному мышлению.

Логика – квинтэссенция единства живой экономики и права, итог, результат, продукт их как практики и гарантии свободы. Здоровая ткань подлинной, не эфемерной логической культуры, возникает и растёт только вместе с ростом вменяемости личности и общества. Вменяемость же – как разумность и ответственность – следствие свободы и определённости мойры. Только возможно ли в России обрести долю-мойру, не прибегая к «механической» аргументации?

---

Тульчинский Г.Л. Логическая культура и свобода. – *Философские науки*. – 2009. – № 4. – С. 46–61.

# СОВЕТСКОЕ. ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОГО РАССМОТРЕНИЯ

***С.А. Никольский***
*Институт философии РАН*

**Аннотация:** *Феномен «советское» – уникальный в истории многоаспектный, обладающий огромным содержанием, соотносимым с категориями «общество», «государство», «власть», «человек», «культура» – требует не только рассмотрения в его составных частях, но и в целостности. В этом отношении он рассматривается как понятие и явление, созданное на основе большевистской (ленинской), в отличие от меньшевистской (плехановской) интерпретации марксизма для условий России начала XX столетия. Его смысл заключался в попытке разработать для страны путь развития, исключающий её капиталистический этап, а представляющий попытку ускоренного транзита из феодализма и раннего капитализма в коммунизм. В революционной практике большевиков это выразилось в разработке и осуществлении политики «военного коммунизма». Однако феномен советского не был бы возможен без определённого, сформированного историей состояния и качества российского общества и человека, в том числе, без сформированной у них привычки покорности как естественной защитной реакции против господствующей в стране в течение пяти столетий самодержавной власти, выработавшей инструменты для своего господства.*

*Вместе с тем, советское несло в себе и позитивное содержание, берущее начало в раннем марксизме и нашедшее возможности своей реализации в «новом» человеке, сформированном большевиками на руинах уничтоженного старого общества, в той или иной мере причастного к частной собственности. Лишенный исторической памяти, обладающий сконструированным советским сознанием «новый» человек, был основной силой, получившей блага нового строя, одолевший фашизм и сохранявший веру в советский способ бытия до полного его краха, что для него самого было разочарованием в так и не сбывшихся надеждах.*

**Ключевые слова**: *советское, общество, государство, человек, культура, история, философия, политика, история, литература.*

## *Часть 1*

Намерение автора, исследующего сложное явление, – адекватно понять и корректно поделиться понятым тем более трудно осуществить, чем более объёмное явление анализирует-

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.2952*

ся. Дополнительная трудность – его, явления, понимание некоторыми читателями, бывшими его современниками: они, как им кажется, обладают ясными – воображаемыми, а иногда и имеющими реальную подоплёку, основанными на личном опыте, суждениями об исследуемом. И, наконец, высшая точка сложности определяется тем, насколько уверенные в истинности своего знания читатели сопрягают со своим знанием наблюдаемое негативное в настоящем и воображаемое желаемое в будущем.

Все ступени сложности делаются практически непреодолимыми, если учесть, что зрелые люди, за редким исключением, не склонны менять свои представления, не готовы вести диалог или пополнять свои знания, полагая, что тем самым принижают себя, открывая сознание чужому авторитету. Поэтому моё размышление для людей открытых, рефлектирующих и, скорее всего, к единомышленникам с надеждой, что мне удалось представить феномен в целостном, непротиворечивом виде, от его истоков до печального финала. Впрочем, если, паче чаяния, к ним присоединится кто-либо, прежде предложенные суждения не разделявший, но теперь с ними согласившийся, то посчитаю это нежданной удачей.

Все сказанное относится к феномену «советское».

* * *

Советское в истории *уникально*. Не в глобальном замысле «светлого будущего». Таковых было немало. Советское уникально как тщательно разрабатываемая, упорная, продолжавшаяся без малого семьдесят лет и все ещё живая идея и социальная практика, осуществляемая в соответствии с ленинско-сталинской теорией, подвергнувшаяся последующей коррекции. «Советское» – попытка коренного переустройства общества и сотворения нового человека, новых народных масс.

Применённая в огромной стране с добровольно-принудительным участием населения, которое на пике развития составляло порядка двухсот девяноста миллионов, советское не могло укорениться лишь посредством одной теории К. Маркса и Ф. Энгельса, адаптированной к российской реальности русскими марксистами. *В чем заключалась адаптация и к чему она привела* – первый важный вопрос. Для укоренения советскому – и это ещё одна исходная идея – *нужен был человек определённой социальной природы*, *подходящая историческая почва, глубинная традиция,* которая сделала его органичным для усвоения и воспроизводства советского. И, наконец, важнейшим условием врастания советского в бытие была *готовность части общества переформатировать своё сознание*, кровно (в переносном и в прямом смысле) связать с ним своё настоящее и будущее. *Фанатичная вера идее и вождям, дополненная буйной фантазией и помноженная на веками сформированную покорность, а если требуется, то и самоотверженность – такова природа идеального советского человека – эталона эпохи.*

Советскому были нужны вожди – талантливые теоретики и организационные гении. Таковыми стали В. Ленин и Л. Троцкий, а затем, во втором качестве, их сподвижник и последователь И. Сталин. После них номинальные «отцы» советского – фигуры довольно заурядные, бывшие посредственными организаторами и никудышними теоретиками, усердно себя вождями лишь изображавшие. В статусе вождей их номинировала армия государственных функционеров и политическая полиция. Состояла она из далеко не всегда идейных, но всегда проплаченных много выше «заработка квалифицированного рабочего», чего в замысле решительно не допускал Ленин, которая и была реальным проводником и охранителем коммунистической идеи на большевистский лад.

Российские исторические персоны и их многомиллионное служилое войско вели за собой народные массы, следовавшие добровольно-принудительно, в одно и то же время творя зло, выдаваемое за добро, умело перемешивая показную справедливость и несправедливость реальную, общие и личные блага и бедствия. Как был возможен и что собой представлял

этот причудливый симбиоз, живший в правителях и материализовавший себя в идеях и в действиях в массах? По каким правилам он существовал?

Споры о советском в его достижениях и провалах, в радостях и в ужасах, в благих делах и причудах все ещё не утихли и, по-видимому, не утихнут ещё продолжительное время. В том числе и прежде всего потому, что его возникновение, развитие и укоренение в обществе до сих пор не только не изжито, но и осмыслено лишь отчасти.

В недавно опубликованном труде Л.Д. Гудкова «Возвратный тоталитаризм», представляющем собой собрание статей, написанных с 2009 по 2019 годы на основе материала социологических исследований, которые ведёт Левада-Центр[1], постоянным рефреном звучит упрёк российским социологам, гуманитариям и обществу в том, что они слабо интересуются реальными процессами общественного развития. Автор констатирует: «Поскольку самостоятельно разобраться в том, что произошло за годы советской власти и кто должен нести ответственность за преступную политику государства …российское общественное мнение оказалось не в состоянии, страна предпочла эти вопросы не трогать» [Гудков 2022: 272]. Ответственность за происходившее – одна из типичных точек зрения – возлагается на государство. Не думаю, что «виновно» только оно одно. Советское также производил народ, а приспособившись, жило в нем все общество, не задумываясь именовавшее себя советским.

Отмеченное социологом пагубное нелюбопытство – для России не новость. Ещё столетие назад И.А. Бунин замечал: «…Тысячу раз прав был Герцен: «Мы глубоко распались с существующим… Мы блажим, не хотим знать действительности, мы постоянно раздражаем себя мечтами… Мы терпим наказание людей, выходящих из современности страны… Беда наша в расторжении жизни теоретической и практической» [Бунин 1991: 55]. И, как продолжение диагноза болезни и следующего из неё заблуждения коммунистической иллюзией, из ещё большей исторической глубины звучит голос Ф.М. Достоевского: «Русские более всего боятся истины, всегда стараясь заменить её фантазией и русские всегда стыдятся самих себя и потому стараются казаться другими. Не поэтому-то так легко принята фантазия про коммунизм и новый лик – граждан мира и людей будущего?» [Достоевский 1975: 105–106].

Сказать, что советское было и отчасти все ещё естественно для страны, значит сказать правду, хотя это вовсе «не легко и приятно», как говорит известный булгаковский персонаж. Сказать, что страна пыталась и все ещё пытается советское изжить, тоже правда, равно как и то, что, к сожалению, в основном эти попытки поверхностны и неудачны. И, как всегда, в истории: «Где чистая духовность нагорной проповеди, там и грязная суета рынка. Где Иисус, там Иуда; где Экхарт и Бах, там Гитлер и Гиммлер. Где Мышкин, там Смердяков» [Померанц 1984: 50]. Повторюсь: феномену советского присущи взаимоисключающие начала. И учитывая не только сложность, но и огромный, загоризонтный масштаб явления, подзаголовком исследования я выбрал *«пролегомены к будущему исследованию»* – всеобъемлющему, которое, надеюсь когда-то для нужды общества выполнит большой исследовательский коллектив Института изучения советского.

Тем не менее, сознавая ограниченность средств, все же попробую предварительную исследовательскую работу выполнить. И в первую очередь обозначу те средства, к помощи которых буду обращаться. Во-первых, для раскрытия истоков феномена будет обозначена необходимость анализа его теоретических марксистско-ленинско-сталинских предпосылок. По необходимости она будет ограниченной и только авторитет моего имени (для кого он значим) я могу предложить в обеспечение того, что она не противоречит реальному положению дел. Во-вторых, постараюсь представить намётки исторического философско-антропологического анализа общественной почвы вообще, и природы российского человека, в частности, в тех их составных частях, которые наиболее значимы для феномена советского.

[1] Внесён Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

* * *

Термин «советское», вынесенный в название, требует пояснения, поскольку употреблён в качестве прилагательного. Обычно оно присоединяется к понятиям «государство», «народ», «общество», «человек», «культура» и своим содержанием делает каждое из понятий особым, отличающимся от других, как, например, «капиталистическое общество» отличается от «общества феодального», а «общество традиционное» от «общества модерна». Но прилагательное «советское» – особое, обладающие собственным большим содержанием. Именно оно во всех случаях выступает инвариантным, но, одновременно, в силу своего богатого содержания, задающим специфику каждому из существительных.

Предмет предполагает методы его анализа. Таковыми будут главным образом философско-антропологический, философско-исторический (философия истории), исторический и философско-художественный [Никольский 2020]. Совокупность и взаимная дополнительность рациональных суждений и основанных на чувствах переживаний, продуцируемых литературой, которые обращены к прошлому, к реальному настоящему, а также к воображаемому будущему, в конечном счёте может помочь приблизиться к пониманию феномена советского, к обнаружению в его темпоральности теоретической и реальной целостности. Поэтому исследование должно содержать не только собственно философские размышления, но адресоваться к историософским концептам и историческим сведениям, а также к художественно-философским литературным произведениям, прямо посвящённых или имеющим отношение к феномену советского.

Всякий способ обращения реализуется с разной степенью погружения в проблематику. В силу огромного пространственного и глубинного масштаба явления моё обращение не может быть строго научным, хотя на научность ориентировано. Для пояснения этой мысли приведу пример, на мой взгляд, ненаучного и неверного, но в силу авторитета автора принимаемого за истину суждения А.А. Зиновьева. Выступая 27–29 мая 2003 года в Институте философии РАН с докладом «Сталин. Сталинская эпоха. Сталинизм», он высказал следующее: «Идея колхозов не есть идея марксистская. Она вообще не имеет ничего общего с классическим марксизмом. Она не была привнесена в жизнь из теории. Она родилась в самой практической жизни реального, а не воображаемого коммунизма. Идеологию лишь использовали как средство оправдания своего исторического творчества. Коллективизация была не злым умыслом, а трагической неизбежностью. Процесс бегства людей в города всё равно нельзя было остановить. Коллективизация ускорила его. Без неё этот процесс стал бы, может быть, ещё болезненнее, растянувшись на несколько поколений. Дело обстояло вовсе не так, будто высшее советское руководство имело возможность выбора пути. Для России в исторически сложившихся условиях был один выбор: выжить или погибнуть. А в отношении путей выживания выбора никакого не было. Сталин явился не изобретателем русской трагедии, а лишь её выразителем. Колхозы были злом, но далеко не абсолютным. Без них в тех реальных условиях была невозможна индустриализация, а без последней нашу страну разгромили бы уже в тридцатые годы, если не раньше. Но и сами по себе колхозы имели не только недостатки. Один из соблазнов и одно из достижений реального коммунизма состоит в том, что он освобождает людей от тревог и ответственности, связанных с собственностью. Хотя и в негативной форме колхозы сыграли эту роль для десятков миллионов людей. Молодые люди получили возможность становиться трактористами, механиками, учётчиками, бригадирами. Вне колхозов появились «интеллигентные» должности в клубах, медицинских пунктах, школах, машинно-тракторных станциях. Совместная работа многих людей становилась общественной жизнью, приносившей развлечение самим фактом совместности. Собрания, совещания, беседы, пропагандистские лекции и прочие явления новой жизни, связанные с колхозами и сопровождавшие их, делали жизнь людей интересней, чем раньше. На том уровне культуры, на каком находилась масса населения, всё это играло роль огромную, несмотря на убогость и формальность этих мероприятий» [Коллективизация в СССР… 2022].

Итак:

1. О том, что колхозы (коллективные хозяйства) не имели ничего общего с марксизмом. Это не верно. Маркс и Энгельс неоднократно говорили о характерных для будущего коммунистического сельского хозяйства крупных общественных коллективных производств. И именно колхозы, совхозы и коммуны уже в период «военного коммунизма» большевики пытались насаждать в бывших помещичьих имениях. Сталин эту практику лишь повторил.

2. Зиновьев утверждает, что большевики якобы лишь оправдывали идеологией практическое творчество, что практические действия упреждали идеологию или вовсе обходились без неё. На самом деле, все было наоборот: практические действия большевики совершали на основе и в соответствии с интерпретированной для России идеологией марксизма.

3. Коллективизация, подчёркивает Зиновьев, была единственным способом для страны выжить, иного пути не было, без неё страна бы погибла. Автор не даёт себе труда ознакомиться с альтернативным путём развития России, который обосновывали видные экономисты, разбиравшиеся в существе дела никак не менее Сталина или его чиновников, которых, к тому же поддерживала и известная часть политиков, Н. Бухарин, в том числе. Зиновьев не ставит вопроса хотя бы об экономической цене уничтожения семи миллионов – порядка 15–20 процентов занятых в аграрном производстве лучших работников, не знает или делает вид, что не знает о провале экономических заданий первой (1928–1932 гг.) пятилетки. Вопрос о духовных общественных последствиях гигантской общественной травмы от события «экономический рывок ценой миллионов жизней» им вовсе игнорируется.

4. Освобождение людей от собственности и связанной с ней ответственности Зиновьев называет одним из достижений реального коммунизма. Очевидно, марксисту Зиновьеву следовало бы перечитать хотя бы ту главу «Манифеста коммунистической партии», в которой его авторы называют трудовую собственность (в отличии от собственности как основы эксплуатации) фундаментом всякой самодеятельности, прав и личной свободы индивида. Очевидно, собственность для Зиновьева, как и для Сталина, – абсолютное зло.

5. Далее следует ещё один расхожий «оправдательный» тезис о том, что без коллективизации была бы невозможна индустриализация и нашу страну разгромили внешние враги уже в 30-е годы, если не раньше. Обратимся к фактам. Уже на исходе гражданской войны в 1920–1921 гг. торговые соглашения с Россией подписали Англия, Германия, Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Дания, Чехословакия, Австрия, Италия, Польша, Финляндия, Иран, Турция, Афганистан. В 1923–1924 гг. последовало и дипломатическое признание со стороны Англии, Германии, Франции, Италии, Финляндии, Польши, Австрии, Швеции, Норвегии, стран Востока. В 1925 году СССР признала Япония, а в 1933 году, с приходом к власти президента Ф.Д. Рузвельта, и США. К тому же, в конце 20-х – в начале 30-х годов США и ряд европейских стран поразил невиданный экономический кризис. Только в США промышленное производство к 1932 году сократилось на 40 процентов, в стране было 17 миллионов безработных. До 1933 года в глубокой экономической яме была экономика Германии. Что до армии в СССР, то в конце Гражданской войны она была одной из самых сильных в Европе. В этой ситуации утверждать, что СССР грозила серьёзная опасность новой международной военной интервенции можно лишь следуя пропагандистским мифам, что Зиновьев и делает. В то же время, за пределами его анализа остаются такие характерные для 30-х годов и связанные со Сталиным процессы как создание ГУЛАГа, уничтожение реальных и мифических оппозиций и, наконец, Большой террор, которые без коллективизации – «генеральной репетиции» диктатуры вряд ли были бы возможны.

6. В коллективизации, наконец, Зиновьев видит мощный лифт социальной мобильности, поскольку молодёжь получила возможность становиться трактористами, учётчиками, занимать «интеллигентные» должности в клубах, школах и иных социальных учреждениях. Сложно представить, что, например, при альтернативном «кооперативном» пути развития аграрного сектора, который предлагали А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев и др., такие должности

бы не возникли, что они были свойственны исключительно насильственной коллективизации и должны быть отнесены исключительно к её «положительному» потенциалу.

Анализ советского должен быть не только философским, историческим, экономическим, но и литературно-публицистическим. Не будем забывать, что писатели по крайней мере «первого ряда», но не те, которые выстраивались в очередь с целью получить блага и похвалу от властей, были не только талантливыми, а иногда и гениальными понимателями происходящего, современниками. Уже только в этом качестве их тексты-свидетельства стоят никак не меньше, чем любые другие исторические документы эпохи. В этой связи, подобно многим другим авторам, мне представляется необходимым использовать не только научные термины, но и художественные сюжеты, метафоры и образы. Отсюда – стилевое смешение, особый философско-научно-художественный жанр.

Стилевое смешение философского, научного и художественного анализа предопределено и тем, что ставится задача писать текст, предназначающийся не только и исключительно для профессионального гуманитарного сообщества. Среди читателей можно рассчитывать увидеть не только гуманитариев–профессионалов, но и интересующуюся непрофессиональную публику. Естественным ограничителем для последней группы может быть только одно – культурно-образовательный уровень подготовки. Текст не рассчитан на толкование азов.

* * *

Исследование советского в разных ипостасях и проявлениях уже давно нельзя полагать «начинающимся на пустом месте». В России и в мире много специалистов, плодотворно работающих с феноменом советского. Однако в такого рода исследованиях далеко не всегда удаётся вернуться к истории советской империи не как к имперскому нарративу, обслуживающему какие-то актуальные политические интересы, но как к истории оконченного прошлого [Миллер 2010: 24]. Впрочем, отчасти это происходит и потому, что советское прошлое никак не закончится.

Среди близких мне по духу работ я выделю наиболее значимые. Это работы социологов и экономистов Левада-Центра[2], начиная от его основателей Т.И. Заславской и Ю.А. Левады, и до продолжателей – Л.Д. Гудкова и Б.В. Дубина; монографии историков и культурологов А.С. Ахиезера, И.М. Клямкина, И.Г. Яковенко; историков Г.А. Бордюгова, В.П. Булдакова, Я.А. Гордина, В.П. Данилова, Н.А. Ивницкого, А.В. Исаева, В.В. Кабанова, Э. Карра, В.А. Козлова, И.Е. Козновой, М.А. Колерова, И. Курилы, Д. Ливена, В.Т. Логинова, Т. Мартина, А.И. Миллера, Б.Н. Мироненко, С.В. Мироненко, М.С. Солонина, А.А. Тесли, С. Хафнера, Дж. Хоскинга, О.В. Хлевнюка, Т. Шанина, Н.В. Эльбарт, Э. Эпплбаум, А. Эткинда, С.А. Эшкута; философов Н.И. Бухарина, А.А. Гусейнова, А.А. Зиновьева, Н.Н. Козловой, Е.Г. Плимака, Г.С. Померанца, Е.А. Преображенского, А.М. Пятигорского, Г.Л. Смирнова, В.И. Толстых, Г.Л. Тульчинского; культурологов и киноведов А.П. Давыдова, Н.А. Хренова, Т.А. Злотниковой, Е.Я. Марголита; литературоведов Н.В. Корниенко, Р. Ходела и других.

Большинство из этих работ написаны так, будто анализируемый в них предмет – российская власть, вовсе не заботит учёного своей возможной негативной реакцией, а нуждается в объяснении. Думаю, что во времена СССР их исследования с нынешней глубиной и в нынешней тональности вряд ли были бы возможны, а если бы и были выполнены, то автор был бы наказан, а работы помещены в отдел специального хранения библиотеки, да и то далеко не всякой. Сейчас этого нет и один из возможных ответов состоит в том, что власть, как и мы, осознала: в стране больше нет почвы и субъектов для осмысленного сопротивления её не всегда верным, но по-прежнему не обсуждаемым решениям. Все её «враги» в той или иной форме нейтрализованы и потому любое, даже истинное критическое исследование не будет востребовано, окажется в пустоте, как сказал бы Андрей Платонов, в некоем «ничто». Но

[2] Внесён Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

возможен и другой, более оптимистичный ответ: власть понимает, что сколько-нибудь долго только на фантомах реальная политика строиться не может и, значит, ориентированные на реальность исследования когда-нибудь понадобятся. И у этого предполагаемого оптимистичного ответа есть фундаментальное основание: *в противостоянии добра и зла, справедливости и несправедливости, правды и кривды всегда и везде именно второе – зло, несправедливость и кривда вынуждены мимикрировать, принять образы добра, справедливости и правды, а не наоборот. Слабое всегда прячется за сильное и, значит, первое в конце концов одолеет второе. В этом историческая неизбежность, «конец любой истории», сколь долго бы она не длилась*.

* * *

Глубокий и многоаспектный феномен советское должен исследоваться по крайней мере в трёх наиболее важных проявлениях. Во-первых, как *замысел и результат ленинско-сталинского понимания, переосмысления и практики применения марксизма в российской действительности от октябрьского начала до наших дней.* И речь следует вести не только о доктринах, но и о социальных практиках. Во-вторых, советское надлежит рассматривать как *литературно-философский анализ советской реальности (с поправкой на пропаганду)*[3]. Художественное высказывание, таким образом, будет в то же время историческим художественно-документальным свидетельством. При этом, сразу нужно пресечь досужую, но частую попытку представить такого рода критическое исследование как *нелюбовь к стране*. Россия – родина, которая давно и тяжело больна. Понять природу её болезни всегда старались с двух противоположных сторон западники и почвенники (славянофилы). О западниках, в том числе и об их ошибках, говорится многое. Что до почвенников, то сошлюсь на верное о них суждение: ошибка почвенников «не в том, что Россия не может рождать свет (может!), а в переоценке русской способности просветить среднего человека и создать светлый порядок. В самой России Мышкины и Безуховы слишком исключительны. Их реже можно встретить, чем Пиквиков в Англии; а Смердяковых – хоть пруд пруди» [Померанц 1984: 50].

И, наконец, советское следует помыслить как уже состоявшиеся *отдельные опыты специальных социально-философских, философско-аналитических, исторических, политологических и культурологических исследований,* которые хотя, как правило, далеки от целостного понимания феномена, но существенны и значимы своим изучением его отдельных аспектов. При этом, среди множества различных областей, в которых советское проявляет себя, в качестве приоритетной для исследования я избираю аграрную сферу жизнедеятельности человека в России и СССР – одну из наиболее трагичных и характерных для отечественной истории второй половины XIX–XX столетий.

* * *

Говоря о структуре анализа феномена советского, я в то же время предпринимаю попытку дать анализ его природы. В отличие от иных всеобъемлющих явлений такого рода (например, нацизма, в значительной степени берущего своё начало в Германии из распространённых в немецком обществе первой половины XX века расистских и шовинистических умонастроений и чувств, замешанных на общенациональной обиде итогами Первой мировой войны [см., например: Хафнер 2016]), феномен советского первоначально начал выкристаллизовываться в головах узкой группы интеллектуалов, исповедовавших марксизм. *Марксистские идеи и марксистское идеологическое – начала природы советского.* Не будь марксизма, «творчески» интерпретированного и высаженного в российскую почву, не было бы и феномена советского.

[3] История, как известно, то, что о ней думают.

Советское, далее, не могло бы возникнуть в нашем отечестве без *особого качества российской почвы*, формировавшейся в течение без малого пяти столетий. И хотя эта изначально идеалистическая по своему генезису конструкция в полной мере не объясняет природу феномена, значимость почвы также не следует преуменьшать.

Следующим слоем над идеологическим и «почвенным» в генезисе советского располагаются *политическая теория, организационная политическая конструкция и её результат – политические умонастроения и политическое действие.* Цель политического – изменение общественного сознания и на этой основе форматирование социально-политической и экономической реальности в интересах и в соответствии с системой воззрений теоретиков-марксистов. При этом, для результата не важно, что цель социальной мифологии и идеологии – тенденциозное сокрытие, переформатирование сознания в определённое содержательное целое, а не раскрытие и анализ действительности, на почве чего сознание получает возможность мыслить самостоятельно [Зинченко 2020: 17].

Сделанный русскими марксистами акцент на первичность идей и сознания требует пояснения. Так, вопреки исходной марксистской философской посылки о первичности материи и вторичности сознания, советское создавалось и существовало прямо противоположным способом: первичным было сознание. В результате, окружённый идейной и идеологической оболочкой и уже переформатированный процесс общественного развития стал вступать в противоречие не только с государством, но и с субъектами производственного процесса, тормозить развитие производительных сил. В дальнейшем процесс советизации общественного развития продолжался, неукоснительно реализовывался ради идеологически заданной цели построения советского общества и «формирования» советского человека. Экономика строилась по лекалам идеологии и политики, продуцировавших и искусственно нагнетавших массовый строительный энтузиазм[4]. Однако поскольку производители, обладая здравым смыслом и памятью, все же имели возможность сравнивать эффективность нынешних экономических действий и их результатов с теми, которые имели место до начала перемен, с результатами, получаемыми после и в результате перемен, то провал множества советских нововведений был им очевиден. Однако об этом производители должны были молчать, поскольку за любое критическое отношение к созидаемому они могли быть уничтожены и при обнаружении уничтожались.

Более того. Новое *идеологическое* начинало работать на то, чтобы создать *нового человека и новые народные массы с новым сознанием*, которые бы в принципе не только не знали о прошлом, но ясно видели только одно – объявленный, декларированный (не всегда реальный, нередко воображаемый и умозрительно проектируемый) успех нового советского. Новое советское диктовало идеалистическую схему: «идеология – политика – экономика – новая идеология – новая политика – новая экономика» и т. д.

* * *

Оценка механизма действия советского механизма как абсурдного справедлива в отношении только одной части феномена советское. Идеологическая, навязываемая действительности сторона его природы, в реальности ведущая к разрушению, была велика, но не единственна. В противном случае о советском можно было бы говорить только в негативном ключе и оно, конечно, не смогло бы продержаться несколько поколений и не вызывало бы у части общества ностальгические переживания. В его первооснове – в идеях марксизма было и противоположное разрушительному, подлинно гуманистическое начало, которое посредством идеологии и политики также проникло в феномен советское.

В раннем труде К. Маркса «Парижские рукописи» (в советском издании названные «Экономическо-философские рукописи 1844 года») содержатся представления о всесто-

[4] Массовый энтузиазм также имел и иную составляющую – проистекал из энергии новых, поднятых из низов социальных слоёв.

роннем развитии человека и о его цели – превращении «природных сущностных сил» (задатков способностей и потребностей) в «очеловеченные сущностные силы» (реальные способности и потребности). Именно свободное развитие каждого объявлялось условием свободного развития всех. Из этой, позитивной части феномена, проистекало то, что может быть названо подлинно гуманистическим и позитивным в составе советского. Но также следует понимать и то, что это «часть» советского реально существовала лишь в просветительской форме – знания-установки, бытовавшей почти целиком только на уровне школьного и вузовского образования, иногда создавая «идеалистов», которых реальная жизнь впоследствии быстро «ставила на место».

Особенность феномена «советское» заключается также в трактовке основных элементов человеческого сознания – памяти, вере, представлений о реальном и фантазий о будущем. Каждая из этих сущностей была содержательно препарирована идеологией, что в итоге привело к тому, что памятью становилось лишь то, что в память допускалось после прохождения через партийно-политический фильтр, вера существовала как практический партийно-политический императив, а реальностью и будущим именовалось то, что таковым провозглашалось или даже конкретно назначалось[5]. В литературе это теоретическое действие получило название метода «социалистического реализма», смысл которого состоял в необходимости изображения действительности не такой, какой она есть и, следовательно, в её критическом анализе (это было характерно и для буржуазного критического реализма), а в художественном осмыслении и созидании того, что должно было появиться, стать реальностью первоначально с точки зрения марксизма, а позднее – ленинизма-сталинизма. И фанатиков идеи не останавливало ничто, ведь «если можно калечить себя (власяницей и плетью), то почему нельзя теми же средствами вырывать душу грешника из-под власти дьявола? И наконец сжечь грешное тело, чтобы спасти бедную душу» [Померанц 2012: 329].

Исторические основания советского многообразны. Это и существование русского земледельца в малопригодной для нормальной жизнедеятельности природной среде с низкоплодородной почвой и суровым климатом. Это и бытие восточных славян при иноземном татаро-монгольском владычестве, когда жизнь смерда целиком зависела от случая – воли своего или иноземного господина. Это и последующее бытие дворянского сословия в пределах воли самодержца, а крестьян в крепостной зависимости у помещика. Это также и жизнь в общине – закабаление общим налоговым и рекрутским бременем, когда крестьянин был придавлен со всех сторон – государственным и частно-помещичьим интересом как податное лицо, как бесплатный работник и как солдат.

Также следует иметь ввиду и природу русского человека, давно отмеченную большими авторами. «Есть два типа в народе, – констатировал И.А. Бунин. – В одном преобладает Русь, в другом – Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, – и дубина, и икона», – в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев» [Бунин 1991: 30]. В этом природе народа споспешествовало и православие с его небрежением мирской жизнью и жизнью подлинной лишь на небесах, в котором на наибольшие блага от Господа мог рассчитывать наиболее беспощадный и злобный разбойник, в котором, опять же, исключительно по высшей воле, однажды «совесть Господь пробудил».

Тем не менее, говоря о наиболее распространённом российском поведенческом свойстве, характерной черте, нужно отметить, что наиболее массовой и целесообразной реакцией и условием выживания в социально-природных обстоятельствах была *покорность*. Однако советское – это не только исторически сформированное, трансформированное и идеологически усиленное в собственно советский период поведение покорности. В силу наличия в ком-

[5] Так, например, коммунизм в очередной партийной программе 1960 года был назначен к появлению в реальности СССР к 1980 году.

мунистической идеологии гуманистического начала и, в особенности, идей всестороннего развития человека и будущего коллективистского братства всех людей, в основе советского начала действительно имелась и отчасти была реализована *возможность нового «сотворения» масс и «формирования» свободного человека.* Так, например, широко распространённое в период Великой Отечественной войны героическое поведение не могло быть результатом покорности. В его основе лежали *свобода и достоинство человека, доминирующая любовь к Отечеству и готовность жертвования своим отдельным личным ради целого общего, в конечном счёте – свободное бытие каждого как условие свободного бытия всех*.

Конечно, в реальной свободе советского человека было много ограничений. Например, человек не должен был выходить за рамки придуманной советской идеологией истории СССР и мировой истории, не должен был задавать вопросы и, тем более, сомневаться в истинности коммунистических идеалов и средств их достижения. (Например, если утверждалось, что подавление чехов в 1968 году было правильно, а вторжение в Афганистан в 1979 году необходимо, то это нужно было принимать без возражений. Точно также в 1960 году только партийный еретик мог выразить сомнение о реальности наступления коммунизма через двадцать лет).

Но означало ли это, что действие советского имело ограничения во всех случаях и всегда? Вовсе нет. Если знания, интересы и цели личности не вступали в видимое противоречие с толкуемыми советской идеологией вопросами, то такая личность вполне могла себя чувствовать комфортно и поступать свободно. Даже академик А.Д. Сахаров, прозревший античеловечную сторону советского и нашедший в себе силы открыто выступить против замысла М.С. Горбачева пересоздать советское, подобно Мичурину, вывести особый «социализм с человеческим лицом», в своё время не мог по крайней мере сразу отделить свободу от покорности. В день смерти Сталина он писал: «Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю о его человечности». И продолжал: «За последнее слово не ручаюсь, но было что-то в этом роде. Очень скоро я стал вспоминать эти слова с краской на щеках. Как объяснить их появление? До конца я сейчас этого не понимаю. Ведь я уже много знал об ужасных преступлениях – арестах безвинных, пытках, голоде, насилии. Конечно, я знал далеко не все и не соединял в одну картину. Где-то в подсознании была также внушённая пропагандой мысль, что жестокости неизбежны при больших исторических событиях (“лес рубят – щепки летят”)» [Правила жизни Андрея Сахарова].

Говоря о советском, следует отметить, что с момента его зарождения имело место известное к нему стремление со стороны людей как к антитезе помещичье-царскому. И природа этого стремления была сродни стремлению к освобождению от религии. «Недостаточно, – верно замечал А.А. Зиновьев, – объяснять эту борьбу против религии и церкви тем, что последние оказались на стороне контрреволюции и что вожди революции организовали эту борьбу в угоду марксистской доктрине относительно религии.

…Дело тут главным образом в том, что массы населения, совершенно незнакомые с марксистской или иной доктриной, сами с ликованием ринулись в безбожие как в новую религию, сулившую им рай на земле и в ближайшем будущем. Более того, они ринулись в безбожие даже не ради этого рая, в который они в глубине души никогда не верили, а ради самого безбожия как такового. Это была трагедия для многих людей. Но для ещё большего числа людей это был беспрецедентный в истории человечества *праздник освобождения от пут* религии. (Курсив мой. – *С.Н*. Думаю, что в этом ощущалась иллюзия освобождения и от пут вековечной покорности). Какую бы великую историческую роль религия ни играла, она играла эту роль, накладывая на людей тяжёлые обязательства и ограничения на их поведение. …Освобождаясь, люди сбросили путы религиозного духовного гнёта, даже не подозревая о том, какого рода духовное закрепощение идёт ему на смену» [Зиновьев 2018: 149].

Идеологическая природа советского будет видна яснее, если в принципе анализ феномена на каждом этапе его эволюции и в каждом отношении будет начинаться с присущих

ему базовых, приспособленных к конкретному историческому моменту идей; далее следует обращать внимание на их реализацию через политику и, если возможно, то и через право; затем останавливаться на их материальном результате; и, наконец, завершать рассмотрение обращением к анализу новых идей, сформулированных внутри идеологии.

И, тем не менее, даже при многоступенчатом анализе явления говорить о его адекватном понимании самонадеянно. «Целое личности или культуры не складывается из фактов, и все модели культуры – догадки» [Зиновьев 2018: 319]. Эта мысль Г.С. Померанца – и как наблюдение, и как методологическая установка – верна. И потому представленное в настоящем исследовании видение советского – всего лишь одна из догадок.

* * *

Рассмотрение феномена советского показательно в его содержательных проявлениях на протяжении всего периода его зарождения-существования: в протосоветском – от середины XIX века и до октябрьского переворота; в проявлениях протосоветского в Октябре и в период «политики военного коммунизма»; в частичном отступлении в НЭП и в полном погружении в советское в коллективизацию; в советском в период довоенных репрессий, ГУЛАГа и «Большого террора»; в проявлениях советского во Вторую мировую и в Великую Отечественную войну; в период позднего сталинизма; в частичном отступлении от советского в «хрущевскую оттепель» и в «ренессансе» советского в период «развитого социализма»; в попытках «очеловечить» советское в горбачевскую «перестройку» и, наконец, в систематических, частичных, лишённых понимания советского как целого попытках реинкарнации его отдельных элементов в наши дни.

Реализацию установки на целостный охват феномена затрудняет его многообразие. «Советское» – это СССР, историческое продолжение российской империи, насилием, по доброй воле или хитростью присоединенные к РСФСР территории и страны, образовавшие «социалистический лагерь». «Советское» – это общественное устройство и образ жизни, способ правления и человек. «Советское» – это одоление нацизма в Великой Отечественной войне, жертвы и победы, героизм и страх. «Советское» – это целенаправленное и планомерное послеоктябрьское уничтожение социальных слоёв и общественных групп, голод 1921–1922, 1932–1933, 1946–1947 годов, насильственная коллективизация, выселения миллионов по мировоззренческому, имущественному и этническому признаку, ГУЛАГ как способ «перековки» человека и ресурс рабского труда. «Советское» – это ампутированная, выборочная или «новая», сконструированная по идеологическим лекалам память, заменившая память реальную и требующая под угрозой насилия и смерти её признания в качестве единственно верной.

Но советское это также вера и полет фантазии, воодушевление и энтузиазм «новых» людей, главным образом родившихся накануне или после Октября и поэтому мало что знавших о советском в его становлении в 20-е и в 30-е годы. «Советское» – это целина как избавление от перманентного голода, хотя и при подавлении политического сопротивления казахов, терявших пастбища и традиционный образ жизни кочевого народа; это полет Гагарина в космос; перманентное «догнать и перегнать»; «продовольственная программа» и обещание к восьмидесятому году построить в СССР коммунизм. «Советское» – это качественное бесплатное образование и довольно средняя, хотя тоже бесплатная (лично человеком не оплачиваемая) медицина, гарантированная трудовая занятость, но также видимость народоправства, властная геронтократия, притворная власть советов, явное правление партии и тайная власть политической полиции под партийным крылом. «Новое советское» – это современная «гибридная» феодально-капиталистическая власть со спектром уловок – от мягкого притеснения гражданского общества до жёстких акций против разного рода несогласных. Это Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт и одновременно послушный рупор принятия поправок в Конституцию с листа о возможном пожизненном правлении правящего Президента.

Это и слова о богохранимой России на музыку коммунистического гимна, имперский триколор, двуглавый орёл и заставка старой программы «Время» с такой же, как и в советское время, лукавой информацией.

«Советское» – это также то, чем жили и что по-разному сознавали две трети из нынешних ста сорока семи миллионов жителей современной России и о чем каждый имеет собственное представление. Но именно своё и только своё представление советский человек будет считать истинным, отказываясь слышать, понимать и даже гневно поносить других именно потому, что он советский и ощущает себя *единственным носителем истины*.

«Советское» – это, наконец, и то, что, в отличие от реального, чаще всего *воображают себе люди*, никогда в советском не жившие. Свои мечты о добром и справедливом они ассоциируют с теми позитивными чертами советского, которые в нем или в самом деле были, или которые они понаслышке ему приписывают, и которые поэтому им представляются лучше нынешних.

И, наконец, в связи с тенденцией, обнаружившейся в российском культурно-философском дискурсе в последние несколько лет, о котором более полувека назад предупреждал известный американский исследователь Джеймс Биллингтон, директор Библиотеки Конгресса США: «Самый многообещающий путь к установлению в России авторитарного национализма может дать обновленный вариант евразийского движения. Возникшее после Первой мировой войны в среде русской эмиграции как консервативная альтернатива большевизму, это движение толковало понятие русской национальной принадлежности расширительно, включив в нее как азиатские, так и европейские элементы и особо подчёркивая стародавнюю, замешанную на панславянском самомнении, идею о том, что Запад пребывает в состояний окончательного упадка, а Россия – на подъёме. Ожившее в сочинениях Льва Гумилева, единственного сына двух великих поэтов, Анны Ахматовой и Николая Гумилева, новое “евразийство” внушает мысль о том, что обладающий “пассионарностью” народ, каковым является и народ русский, всегда одолеет те народы, сила которых коренится лишь в вещах материальных» [Биллингтон 2001: 39].

Итак, что являет собой структурное содержание советского, о котором в силу ограниченного формата статьи, я скажу лишь тезисно.

## *Часть 2*

Советское как существенная, но все же часть отечественной тысячелетней истории, прежде всего должно рассматриваться в историософском плане. Таковым для меня является представление об истории России, начиная с Ивана Грозного, то есть за последние примерно пять веков. «Матрицей» России с середины XVI века я полагаю константы – неизменные в своих сущностных характеристиках структуры отечественного бытия и общественного сознания – повторяющиеся на протяжении длительного исторического периода, которые, с одной стороны, задают ограничения, а с другой – простраивают директории общественного (экономического, социально-политического и культурного) развития. Они также способствуют появлению соответствующих им социальных акторов (персон или групп) и институций. Соотнесение «матрицы» с другими явлениями и процессами, исследуемыми в общественных науках, показывает, что «матрица» первична и фундаментальна по отношению к другим общественным явлениям, например к таким, как демократия, свободы и права человека, разделение властей, верховенство права или гражданское общество. Добиваться их изменения, оставляя в стороне «матрицу», – напрасный труд.

Переход от родоплеменной организации к формированию государственной формы жизни народов, впоследствии получивших наименование русских, совпадает с периодом их освобождения от более чем двухсотлетней власти кочевников. Степная форма организации общественной жизни наших предков возникла из длительного, зримо наблюдаемого приме-

ра. У степняков ресурсная экономика, которая по мере исчерпания полезного в хозяйстве вещества природы требовала новых пространств, военная организация жизни, предполагающая централизацию и единоначальное управление, закабаление подвластного населения, посредством чего удовлетворялись потребности административной и военной верхушки, – все это составило условия для возникновения русской «матрицы».

В составе «матрицы» нужно отметить сложившуюся и укрепившуюся в противоборстве с Западом религиозную компоненту. Состоявшийся в 1054 году раскол Римско-католической и Православной церквей был усилен через четыре века падением Константинополя, концом Византийской империи. Воспринятая Василием III и Иваном Грозным идея «Москва – Третий Рим» укрепила православие в его антизападных устремлениях и притязании на византийское наследство. Модель Византийской империи с её самодержавной властью была приспособлена к изначальной «степной» предрасположенности Москвы. Однако из этой модели была выброшена идея права и идея защищённой законом частной (в том числе – трудовой) собственности. Это выражалось в отсутствии отношений договорных и доверительных и, напротив, в укоренении отношений начальственных и насильственных, что – в продолжение отношений иноземного владычества – культивировало во всем обществе *покорность* в качестве основного и фундаментального его свойства.

Окончательное формирование «матрицы» – идей империи, самодержавия и власти-собственности – происходит при Иване Грозном. Идея империи обозначала ориентацию страны на пространство как источник ресурсов. Самодержавие стало формой управления. Что же до механизма *слияния власти и собственности*, что грозный царь впервые начал культивировать в разделении подданных на земщину и опричнину, то он оказался идеальным инструментом развития империи и поддержания самодержавия. С его помощью власть обеспечивала добровольное расположение и подчинение одних и принудительное управление другими.

Надо отметить, что для раскрытия двойной направленности этого механизма наряду с термином «собственность» требуется и термин-антипод: «бессобственность». При этом прежде своего вещного, юридического значения, фиксируемого правом, «собственность» обозначает свободу или несвободу человека распоряжаться самим собой, быть собственником самого себя или не быть таковым, пребывать в зависимом состоянии. Заложенная в основу российского способа бытия «матрица» век от века воплощалась в конкретной истории, делалась все более мощной и изощрённой.

Первым термин «самодержец» («Господарь и самодержец всея Руси») употребил московский царь Иван III, хотя при нем это наименование использовалось для акцентирования международного суверенитета страны, а не для характеристики её внутреннего устройства. Качество страны как империи было сформировано при Иване IV Грозном, когда он, освободившись от власти Орды, не только осуществил большие приращения земель, но и существенным образом изменил управление и саму жизнь подданных. *«Жаловать своих холопей мы вольны и казнить их вольны же»* – так, по словам В.О. Ключевского, формулировал своё самодержавство Иван Грозный.

Начав своё правление с участия во власти «Избранной Рады», созыва Земских соборов, создания элементов самоуправления на местном уровне и даже составления Судебника, вскоре он изменил курс. От правления, основанного на согласовании интересов и решений, – подобии договорного права – он перешёл к «праву» единоличной власти. Сделано это было по всему спектру правоотношений, включая изменение базового основания собственной легитимности, вынужденно поддержанного Церковью. При нем была уничтожена независимость и императивная сила пастырского слова. И хотя документальное постулирование самодержавия произошло только при Петре I (в 1721 году в «Духовном регламенте» Феофана Прокоповича появилось положение: «Монархов власть есть власть самодержавная, которой повиноваться сам Бог за совесть повелевает»), похоже, в этом случае общественная практика опередила правовую норму.

Как отражение практического действия при Иване Грозном в российском бытии и формирующейся национальной идентичности произошло слияние власти и собственности, начало закрепляться состояние *собственности/бессобственности*. Производимые опричниками убийства и переселение бояр, отъем и перераспределение их имущества не только лишали отношения людей по поводу вещной собственности их легитимного содержания, но и вводили общее для всех подданных состояние «жизни по воле самодержца». В дальнейшем в истории были времена, когда дворянство как ближайший к монарху социальный слой получало права временной, на период службы, собственности на имения или, в другое время, права собственности постоянной, включая крепостных, с передачей таковой по наследству. Однако никогда у подданных не было уверенности в том, что их собственность не может быть в любой момент отнята.

Среди многих признаков Российской империи применительно к XVI веку прежде всего следует отметить её экспансионизм. В этом Россия не была уникальна, стадию активного экспансионизма прошли многие мировые державы, но их экспансионизм, во-первых, был ограничен во времени и, во-вторых, строился на принципиально иной основе: «метрополия – дом», «колонии – не-дом». В России такого разделения не было, хотя некое его подобие фиксировалось понятиями «центр» – «окраины, провинция», а теперь и термином «регионы». Экспансионизм определялся исходными устойчивыми факторами. Первый – экономическая отсталость, отчасти вызванная нашествием кочевников. Присущий им исторически тупиковый характер жизнедеятельности с постоянными переходами с одного места на другое исключал интенсивность развития и возможность для России в этих условиях активно прогрессировать, в том числе налаживать контакты с Европой и вырабатывать основанную на договорных отношениях форму развития. Все это обусловило стагнирующий характер отечественного социально-экономического и культурного бытия. Заложенный стереотип впоследствии в полной мере никогда не преодолевался: всегда имелось много новых ресурсов, использование которых справедливо избиралось властью как менее затратное; вся общественная организация, закреплённая в общественном сознании и психологии членов сообщества, создавала инерцию экспансии.

Периферийное географическое положение по отношению к очагам цивилизации, сочетавшееся с уязвимостью длинной границы, было вторым фактором, предопределявшим имперскую форму организации социума: врагов нужно было побеждать, отодвигая как можно дальше от Центра – разрастающейся Москвы. Территория, требовавшая государственного патронажа и обороны, постоянно росла. С другой стороны, участие России в многочисленных вооружённых столкновениях не могло не сказаться на состоянии её хозяйства. И наконец, третьим фактором, подтолкнувшим к созданию империи, была многонациональность и поликонфессиональность населения с разными уровнями хозяйственно-культурного и политического развития. При этом разные по качеству социумы должны были иметь общую для них государственную форму. И форма эта не могла быть сложной, заведомо не подходящей для социумов слабо развитых и менее сложно организованных. По этой причине выбор – договор и право (включая ограниченное правом государственное управление в сочетании с самоуправлением и развивающимся гражданским обществом) – или же приказ и насилие (самодержавное правление, воспроизводившее себя на всех уровнях) – был предрешён.

В этой связи понятна неизбежность и органичность для России самодержавной природы государства. *Империя* была одной из самых простых форм власти, которая поддерживала свою жизненность насилием, непрерывной произвольной экспансией или вынужденной защитой от врагов. Примитивные уровни развития народов, включаемых в империю, их разнообразие требовали простых форм ассимиляции. Что же до народов «развитых», то империя с разной успешностью также находила способы их покорения и удержания, хотя иногда в форме сосуществования, а не поглощения. Но это удавалось ей только до определённых

пределов, преодолев которые «продвинутые» народы либо вынуждали отпустить их добровольно (Финляндия), либо достигали этого насильственным путём (Польша).

Становление российской империи в форме захватов и защит в XVI–XIX веках не было исключительным мировым явлением и вполне вписывалось в международное право. Согласно ему, любое расширение территории должно было базироваться на одном из трёх оснований: завоевании, уступке (цессии) или занятии ничейной земли. В результате за период без малого трехсот лет Россия как централизованное унитарное государство, за исключением автономных Финляндии, Бухары, Хивы и Тувы, присоединила к себе множество территорий. Были завоёваны Финляндия, Прибалтика, Польша, Северный Кавказ, Средняя Азия; присоединены по договору Левобережная Украина, Бессарабия, Грузия, Армения, часть Азербайджана и Казахстана; инкорпорированы в ходе хозяйственной колонизации Север, часть Поволжья и Сибирь. Количественное выражение экспансии на этом временном горизонте видно вполне чётко. Так, если в последней трети XVI века соотношение между населением в границах собственно России и населением присоединяемых территорий составляло 86 % и 14 %, то к 1917 году эта пропорция была 40 % и 60 %, а если прибавить к этому завоевания и присоединения, сделанные СССР накануне и после Второй мировой войны, то количественный перевес присоединённых народов увеличивается ещё больше.

Наконец, не менее важным признаком Российской империи было наличие у императора и у некоторых подданных представления о его личной *особой миссии* самодержца и о такой же миссии страны. Начало этому явлению дала идея Третьего Рима, согласно которой русский царь – преемник римских и византийских императоров – был таковым в силу избрания самим Богом, а стране – самодержавно-царской, автокефально-православной Руси – надлежало хранить правую веру и бороться с её врагами.

Изначально присущий Российской империи экспансионизм проистекал не только из перечисленных факторов, но и из хозяйственно-экономических причин. В этом отношении в дополнение к вышеописанным элементам «матрицы» российской власти и общества – империи и самодержавию – следует обратить внимание на ещё один – собственность-власть (собственность/бессобственность). Отмеченное ещё древними, а затем и христианством родовое свойство человека – его свобода – в отечественной истории из природы человека было устранено.

Связанная с вопросом о качественном развитии человека и страны проблема была не только в том, что один человек мог отнять жизнь другого. Не менее существенно было и то, что при таких отношениях несвободный (бессобственный) человек был лишён оснований для свободной деятельности, предопределяющей его творческую активность. Не только природные условия или стереотипы властных отношений, но само общественное устройство толкало хозяйствующего субъекта не создавать новое, но лишь искать нужное в природе, в сырьевом ресурсе, требующем минимального творческого участия, но дающего быстрый и до поры приемлемый результат. В этой связи характеристика хозяйственно-экономической природы российского экспансионизма верно определяется как «внутренняя колонизация». Для непрерывной добычи ресурсов – будь то пушнина, рыба, пенька, «чёрное» или иное золото – обеспечиваемая имперской властью экономическая устойчивость была важнее, чем свобода или сама жизнь человека.

Ещё одна константа российской истории – православие с его исходной фундаментальной позицией, согласно которой оно лишь в малой степени концентрирует свою цель на мирских делах, (если делает это вообще), целиком сосредоточиваясь на внеземном – подготовке человека к будущему бытию его бессмертной души. Основанием для такого рода предуготовлений в нем выступает имеющее фундаментальное значение Апостольское предание (традиция) как норма веры. Жизнь человека, согласно православному канону, должна соответствовать образу жизни, представления о котором укоренены в Предании Церкви. И это должно быть не внешнее уподобление или культурно-историческое его приятие человеком и об-

ществом. Православная жизнь означает её наполнение соответствующим ценностным содержанием. И для этого нужно иметь не только знания, но и реальный опыт жизни в Церкви, сделаться сопричастником Её Таинства. «Для православного человека XXI века остаются насущными знание учения Церкви, личный опыт молитвы, способность различения Православия от иных конфессий, укоренённость в истории и духовной культуре своей страны и многое другое, что связано с его верой. Однако главным и первоочередным является усвоение религиозного образа жизни, то есть такого образа жизни, который предполагает опору на религиозную мотивацию» [Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 2000].

И, наконец, ещё одной константой российского бытия и общественного сознания выступает от XVI по XIX и вплоть до второй половины XX века подавляющая часть советского (а позднее – российского) народа, ныне именуемого с лёгкой руки В. Суркова, «народом глубинным». Однако уже с 20-х годов XX века народ начал претерпевать существенные изменения в связи с процессом «формирования нового советского человека», а со второй половины 50-х годов – изменения в связи с явлениями частичной десталинизации. Новые импульсы в изменении состава и качества разделяемых им ценностей были даны процессами «перестройки» и реформ 90-х годов, равно как и события новейшего времени – после 2000-го года.

* * *

В формировании ценностно-нормативных концептов советского культурного опыта значительна роль его исторической составляющей. Так, Г.Л. Тульчинский справедливо отмечает, что его неисчерпаемыми источниками и, одновременно, условиями постижения «являются славянская мифология с её особенностями, особенности русского православия, фольклор, художественная культура (особенно литература: поэзия, проза), особенности содержания и институционализации философской культуры, политическая и экономическая история, особенности русского языка и обыденного дискурса, а также впечатления отечественных и зарубежных путешественников, всегда обращающих особое внимание на специфику и отличия от привычного им опыта» [Тульчинский 2019: 316–352].

Совпадение с главным содержанием советского – нацеленностью на переустройство настоящего с пересозданием человека с повторяющимся опытом преобразования и также с повторяющимся негативным итогом – обнаруживает классическая литература России от конца XVIII до начала XX столетий, равно как и последующая советская. В подтверждение этой мысли предложу краткий экскурс.

В заданном контексте о Д.И. Фонвизине следует говорить на основе материала не только его классической комедии «Недоросль» (1871), но и публицистического текста «Рассуждение о непременных государственных законах» (1872). Он, как позднее и Гоголь, в проекте переустройства отстаивает идею доминирующей просвещённой власти самодержца. Доброе государство – чиновник с говорящей фамилией Правдин, который в имении крепостников Простаковых осчастливливает достойных и наказывает творящих зло. Декларации Правдина таковы: призвание государя – это защита прав подданных; каждый может рассчитывать на выгоды лишь в том, что законно.

Н.В. Гоголь также демонстрирует попытку художника-мыслителя вступить в контакт с властью. При этом, его философско-публицистическая «связка» – пьеса «Ревизор» (1835), поэма «Мёртвые души» (1842) и сборник «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) говорят о не меняющемся российском имперском укладе – основной части русской «матрицы». Обличительный пафос «Ревизора» и «Мёртвых душ» – «тьма и пугающее отсутствие света», хорошо известен. В исследованиях менее акцентируются образы спасающего Чичикова предпринимателя Муразова или успешного помещика Костанжогло, а также связь со сборником «Выбранные места…». Тем не менее, в «Выбранных местах…» наставительно декларируемого государственно и общественно «нужного» содержится неизмеримо более, чем в его художественных сочинениях. Гоголь-советчик обращает свою речь к помещику

и его пожелания покоятся на реальности, какой он её видит. Аргументы просты: мироустройство таково, что кто кем родился, тот тем и быть должен. «Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб… Скажи им всю правду: что с тебя взыщет Бог …что по этому самому ты ещё больше будешь смотреть за тем, чтобы они работали честно…» [Гоголь 1847]. Идеологические интенции Гоголя – сочетание самодержавия и православия. Но насколько они достигали ушей слушателей, не говоря о реальных переменах?

Косвенно, посредством критики, идеи переустройства присутствуют в пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1833) и в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836). В обоих произведениях идея представлена через главного героя и в пушкинском это, опять же, идея переустройства монаршей волей.

В развёрнутом варианте тема переустройства пронизывает романную прозу И.С. Тургенева. Но если в «Рудине» (1855) этот интерес только намечается, то в последующих текстах обретает конструктив: на идее национально-освободительного движения – в романе «Накануне» (1860); в «Отцах и детях» (1862) – через анализ проблемы нигилизма; в «Нови» (1877) – на материале хождения в народ членов «Земли и воли». Но теперь уже не просто декларация, но фиксируемый самим художником «нулевой» результат.

В романах А.Г. Гончарова «Обломов» (1859) и «Обыкновенная история» (1847) пассивно-негативистское отношение к реальности Ильи Ильича на фоне преобразователя действительности Андрея Ивановича, равно как и сперва романтизм, а затем утилитаризм Александра Адуева, вторым планом также имеют тему общественных преобразований. И снова – отмеченная автором неудача преобразовательского замысла.

Новый опыт рассмотрения темы переустройства – роман Н.Г. Чернышевского (1863), в котором впервые заявлена идея ленинизма – создания будущего советского «нового человека». Роман – предложенный художником головной эксперимент с идеей революционной трансформации действительности. Многих ли он, подобно Ленину, «перепахал»? При этом, примечательно, что на «коммунальный» вызов «Что делать?» последовал не частый в словесности отклик – критическая реакция – роман «Некуда» (1864) Н.С. Лескова и рассказ Ф.М. Достоевского «Крокодил» (1865). Суть обоих – насмешка над революционными мечтаниями.

Тема общественного переустройства у Ф.М. Достоевского – предмет непреходящего интереса, включая воспринятые большевизмом темпоральные экзистенциальные смыслы [Никольский 2021]. В публицистике и в романах каждый герой – носитель экзистенциальной идеи. Это, например: «рвущаяся к свету душа» (Алеша Карамазов) или разрешаемая «кровь по совести» (Родион Раскольников). Впоследствии смыслы эти, как и некоторые другие смыслы героев Достоевского, органично переместились в ленинско-сталинские идеи и практику. Специальная аналитическая работа нужна для изучения проблематики переустройства в творчестве Л.Н. Толстого. Однако нацеленность части его произведений на наставительную пропаганду в духе переустройства сомнений не вызывает. Но также хорошо известна царского правительства и Церкви на эти преобразовательские мотивы.

Тема общественного переустройства – «поиска честного человека» – одна из магистральных и в творчестве А.М. Горького. На вопрос «Как переустроить общество, чтобы оно было честное» один из героев романа «Трое» (1902) отвечает: «Коли из десяти один честен – это для меня ничего не значит… Тут особый счёт надобен… Если же один честен, а девять подлецы, никто не выигрывает…Но человек пропадает. А ежели семеро честных на трёх подлецов – твоя взяла… Понял? Которых больше, те и правы…» [Горький 1970: 23–317]. Однако, когда и каким образом наступит это благостное время, ответа нет.

Проблематика большевистского переустройства в гремучей смеси веры, фантазии и фанатизма рассмотрена Андреем Платоновым в романе «Чевенгур» (1929). Своё исследование автор итожит финалом путешествий его главного героя Саши Дванова: отчизна, в которой он

разыскивал «самосевный» коммунизм, такового на свет не произвела. А смешной и страшный уродец под именем Чевенгур уничтожен.

Каков же финал приключений идеи общественного переустройства и создания «нового человека» в художественной философии конца XVIII – начала XX столетий? Стародум уезжает, рекомендуя Митрофана-недоросля в службу (?!) (Фонвизин); Чацкий покидает Москву для новых скитаний (Грибоедов); Пугачева четвертуют (Пушкин); Чичиков теряется на российских просторах (Гоголь); Рудин гибнет на польских баррикадах, Инсаров убит турками, Базаров умирает от яда мужицкого трупа, Нежданов стреляется (Тургенев); Обломова настигает смерть от апоплексического удара (Гончаров); Лопухов инсценирует самоубийство и перерождается в иностранную личность (Чернышевский); Райнер погибает в бою (Лесков); Илья разбивает голову о стену (Горький); Саша Дванов кончает утоплением (Платонов). Впечатляющий гражданский мартиролог героев – знаков общественного переустройства и создания нового человека.

Конечно, приведённые примеры касаются лишь опытов в основном досоветского периода. Советский период явил другие – победительные, хотя и головные примеры и результаты такого рода «формирования» человека советского. При этом, из прошлого была взята сама интенция переустройства и преобразования и оставлен без внимания итоговый печальный результат. Игры теперь уже в советский конструктор были продолжены, для чего приспособлено мощное оружие – переработанная марксистская теория и революционная практика большевизма.

* * *

Советское в его главной интенции переустройства общества и созидания «нового» человека изначально было положено на «всесильное» (Ленин) учение Маркса. Однако оно было трансформировано под замысел большевиков.

В марксизме ведущей выступала *идея уничтожения частной собственности на средства производства* – первый исток будущего советского, адекватно воспринятая большевиками. Поскольку с ней связывалась эксплуатация человека человеком, то именно она была в полной мере востребована советской властью, поставившей цель создания «мира сначала» и созидания для этого мира «нового человека». В «Манифесте Коммунистической партии» – первом публичном фундаментальном теоретическом и идеологическом документе[6] Маркс и Энгельс формулировали: «Отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, а отмена буржуазной собственности. Но современная буржуазная частная собственность есть последнее и самое полное выражение такого производства и присвоения продуктов, которое держится на классовых антагонизмах, на эксплуатации одних другими. В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности.

Нас, коммунистов, упрекали в том, что мы хотим уничтожить собственность, лично приобретённую, добытую своим трудом, собственность, образующую основу всякой личной свободы, деятельности и самостоятельности. Заработанная, благоприобретенная, добытая своим трудом собственность! Говорите ли вы о мелкобуржуазной, мелкокрестьянской собственности, которая предшествовала собственности буржуазной? Нам нечего её уничтожать, развитие промышленности её уничтожило и уничтожает изо дня в день» [Маркс, Энгельс 1955: 438].

Три пункта в цитированном положении «Манифеста» составили содержание вытекающего из марксизма отношения советской власти к крестьянству и были избраны большевика-

[6] О «Манифесте» Ленин в статье «Карл Маркс» писал: «В этом произведении с гениальной яркостью и ясностью обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классовой борьбы и всемирно-исторической роли пролетариата, творца нового, коммунистического общества» [Ленин 1961: 48].

ми в качестве теоретической базы для материализации феномена «советского» в сельской России. Первый, очевидный, – частная собственность на орудия и средства производства как основа эксплуатации человека человеком должна была стать государственной, прикрытой фиговым листком привычного крестьянам общинного коллективизма. Вторым был пункт – в котором добытая трудом собственность названа основой личной свободы, деятельности и самостоятельности индивида. Подлежит уничтожению лишь та частная собственность, которая является «материальным, чувственным выражением отчуждённой человеческой жизни» [Маркс, Энгельс 1974: 117]. Но трудовой частной собственности таковое отчуждение, естественно, присуще не было.

Признать положение Маркса о трудовой частной собственности, а, тем более, допустить его в тело идеологии и в политику советского авторитарного, а впоследствии и диктаторского государства ни Ленин, ни Сталин, естественно, не могли. Интуитивно они, вероятно, сознавали, что Маркс прав в своём понимании философии как практическом осуществлении человеческого блага, о чем говорит его знаменитый одиннадцатый тезис о Фейербахе. Но в деятельности – массовой и революционной – отделить один вид собственности от другого было невозможно. Тем более, в контексте назначенного к досрочному уничтожению крестьянства – органического носителя частной трудовой собственности. По этой причине в их интерпретации марксизма оба вида частной собственности – и возникшая в результате эксплуатации и распространяющаяся на средства производства, и трудовая – результат деятельности индивида, были представлены врагом и назначены к уничтожению.

На основе положения о трудовой собственности и о её естественных основаниях в качестве самостоятельности, деятельности и свободы в дальнейшем основоположниками марксизма будет выведен их главный гуманистический тезис о всестороннем развитии человека как цели предполагаемых преобразований. Однако конкретизация этого положения была сделана Марксом ещё в молодости, когда человеческое собственное рассматривается в своём реальном практическом бытии через опредмечивание и распредмечивание: «Предположим, что мы производили бы как люди. В таком случае каждый из нас в процессе своего производства *двояким образом* утверждал бы и самого себя и другого: 1) Я в моем *производстве* опредмечивал бы мою *индивидуальность, её своеобразие,* и поэтому во время деятельности я наслаждался бы индивидуальным *проявлением жизни,* а в созерцании от произведённого предмета испытывал бы индивидуальную радость от сознания того, что моя личность выступает как *предметная, чувственно созерцаемая* и потому *находящаяся вне всяких сомнений* сила. 2) В твоём пользовании моим продуктом или твоём потреблении его я бы *непосредственно* испытывал сознание того, что моим трудом удовлетворена *человеческая* потребность, следовательно, опредмечена ***человеческая*** сущность, и что поэтому создан предмет, соответствующий потребности другого *человеческого* существа. 3) Я был бы для тебя *посредником* между тобою и родом и сознавался бы и воспринимался бы тобою как дополнение твоей собственной сущности, как неотъемлемая часть тебя самого, и тем самым я сознавал бы самого себя утверждаемым в твоём мышлении и в твоей любви. 4) В моем индивидуальном проявлении жизни я непосредственно создавал бы твоё жизненное проявление, и, следовательно, в моей индивидуальной деятельности я непосредственно *утверждал бы и осуществлял бы* мою истинную сущность, мою *человеческую, мою общественную сущность.*

Наше производство было бы в такой же мере и зеркалом, отражающим нашу сущность» [Цит. по: Лапин 1968: 391–392].

В основе описываемого Марксом процесса первичным является собственное, то есть собственность человека на самого себя как основание свободы, деятельности, самостоятельности. Пункт этот советской властью всегда скрывался, поскольку шел вразрез с духом и буквой реально-советского.

И, наконец, третий пункт рассуждений Маркса и Энгельса о трудовой собственности крестьянина также уводился большевиками в тень. В особенности это имело место в период

коллективизации, поскольку рассуждения основоположников марксизма о естественном, а не насильственном, самим ходом вещей изживании мелкобуржуазной крестьянской собственности на средства производства, противоречили проводимой властями политике.

Безусловным «подарком» для большевиков было временное заблуждение Маркса и Энгельса на счёт подобного «коммунистической коллективности» реального общинного коллективизма российских крестьян. Так, ещё в 1875 году в работе «Социальные отношения в России» Энгельс отмечал, что хотя реформа нанесла сильнейший удар по общинной собственности на землю и общинная собственность «по всей видимости идёт к своему разложению», окончательно хоронить её ещё рано. Конечно, общинная собственность в России давно уже пережила время своего расцвета. Тем не менее, «бесспорно *существует возможность перевести эту общественную форму в высшую, если только она сохранится до тех пор, пока созреют условия для этого, и если она окажется способной к развитию в том смысле, что крестьяне станут обрабатывать землю уже не раздельно, а совместно* (Здесь и далее выделено мной. – *С.Н.*), причём этот переход к высшей форме должен будет осуществиться без того, чтобы русские крестьяне прошли через промежуточную ступень буржуазной парцелльной собственности. Но это может произойти лишь в том случае (и тут Энгельс высказывается много конкретнее, чем спустя годы сам Маркс. – *С.Н.*), *если в Западной Европе, ещё до окончательного распада этой общинной собственности, совершится победоносная пролетарская революция, которая предоставит русскому крестьянину необходимые условия для такого перехода, – в частности материальные средства, которые потребуются ему, чтобы произвести необходимо связанный с этим переворот во всей его системе земледелия*» [Маркс, Энгельс 1961: 545–546].

И хотя уже после смерти Маркса Ф. Энгельс в период общения с русскими социал-демократами разобрался в «примитивном», «первобытном коммунизме» русской общины и утверждал, что России, как и Европе до социалистической стадии предстоит пройти стадию капиталистическую, то есть распад общины на парцелльные хозяйства, что понимал и принимал Г.В. Плеханов, Ленин, а вслед за ним и Сталин сознательно замолчали. Все их усилия – и в этом был фундамент советского – сосредоточились на том, чтобы ни под каким видом не допустить в России капитализм и, следовательно, трудовую частную собственность как основу деятельности, самостоятельности и свободы человека.

* * *

Хорошо известно, что В.И. Ленин был одним из наиболее способных и компетентных последователей Маркса и Энгельса, кто пошёл дальше всех в революционной практике по намеченному марксизмом пути. Однако если не принимать во внимание исключительно комплементарные по своему духу исследовательские работы о Ленине, относящиеся к советскому периоду, то с критических и, вместе с тем, научных позиций, его теоретическая и практическая деятельность рассмотрена крайне скудно, даже несмотря на то, что после распада СССР такая возможность появилась.

Конечно, исследователь-одиночка не может взять на себя смелость попытаться решить задачу сколько-нибудь объективного рассмотрения научных трудов и деятельности Ленина в полном объёме. Это требует усилий групп специалистов разного профиля и работ по многим направлениям. В том числе, исследовательской преемственности начинаемых научных исследований с исследованиями, выполненными ранее, корреляции с результатами, полученными в прошлом.

К сожалению, таковые результаты имеют не слишком глубокую историю. Как правило, они датируются концом 80-х – началом 90-х годов прошлого века, то есть начиная с периода «перестройки», когда были открыты многие архивы, а гласность позволила учёным вести корректные исследования и называть вещи своими именами. В этом отношении, одним из таких обоснованных и достаточно объективных научных результатов, следует признать работы

О.Р. Лациса, доктора экономических наук, в перестройку первого заместителя главного партийного теоретического журнала «Коммунист». В применении к теме ленинизма его позиция, характерная для большинства учёных, состояла в следующем: «Ленинские идеи, социализм – это одно, а сталинщина – это другое» [Лацис 1990: 5]. Насколько его идеи, как и идеи других достойных уважения компетентных исследователей объективно отражали ленинизм предлагается обсудить в дальнейшем.

Анализ ленинизма и сталинизма требуется и в связи с реальным фактом их приятия многими индивидами и социальными группами потому это явление требует отдельного рассмотрения. Оставляя за скобками тех, кто был вовлечён в орбиту функционирования ленинской и сталинской власти, а также тех, кто имел от неё прямые или косвенные дивиденды, в отношении прочих верным, на мой взгляд, будет объяснение следующее. С момента укоренения, власть должна была решать проблему создания поддерживающих её социальных слоёв. Естественно, это были слои в прошлом так называемых неимущих[7], которые не только не имели в добольшевистском проблем перспектив развития, но имели лишь тяготы и страдания. Это были прежде всего те, кого Андрей Платонов в «Чевенгуре» назвал «прочие». Чепурной, главный начальник Чевенгура ожидал увидеть «сплочённых героев будущего, а увидел людей, идущих не поступью, а своим шагом, увидел нигде не встречавшихся ему товарищей – людей без выдающейся классовой наружности и без революционного достоинства, – это были какие-то безымянные прочие, живущие без всякого значения, без гордости и отдельно от приближающегося всемирного торжества; даже возраст прочих был неуловим – одно было видно, что они – бедные, имеющие лишь непроизвольно выросшее тело и чужие всем; оттого прочие шли тесным отрядом и глядели больше друг на друга, чем на Чевенгур и на его партийный авангард» [Платонов 2011: 281–282].

Все перспективы «новых» людей – от надежд до реальных возможностей – были связаны с большевистской властью. Именно на них она возлагала свои главные надежды, для них создавала не только пропагандистски подаваемые, но и реальные возможности материального и духовного развития. В ответ, кроме естественной благодарности, она получала и многократно увеличенный накал энтузиазма. Для этих социальных слоёв первостепенно значимыми были отсутствие безработицы, возможность получения образования, определённого медицинского обслуживания, известной социальной мобильности, в том числе и продвижения по карьерной лестнице. Для этих социальных слоёв вошедшие в состав СССР республики были общим домом, население которого было лишено реальной памяти о не столь отдалённом прошлом. Появившаяся в 1938 году «История ВКПб. Краткий курс» была новой исторической памятью, поскольку любая другая память была невозможна, том числе и по причине физической ликвидации её носителей. Партийная пропаганда была дополнена пропагандой художественной – литературной и, в особенности, экранной. Наряду с «Как закалялась сталь» Н. Островского, кино наполняло сознание образами не только посредственных, но и талантливых кинолент А. Довженко и С. Эйзенштейна. Для нового социального слоя, по крайней мере в пространстве реальной гласности, не существовало ни гражданской войны, ни коллективизации с их ужасами. А к реальному историческому, передаваемому от поколения к поколению социальному чувству покорности была добавлена безграничная вера в идеи марксизма-ленинизма-сталинизма, сопровождавшаяся ни на секунду не прекращающейся партийной пропагандой под неусыпным контролем политической полиции. Эти социальные слои и были главной реальной опорой новой власти.

Что же до моей позиции в отношении ленинизма как практического реализатора большевистской интерпретации марксизма, то она такова. В период о середины 1917 года – времени написания работы «Государство и революция» и до марта 1921 года – принятия

[7] В «Чевенгуре» Андрей Платонов вводит в роман категорию так называемых «прочих» – людей изначально безродных, лишённых не только собственности и, значит, связанных с ней свободы и ответственности, но и самих понятий о таковых [подробнее см.: Неретина, Никольский, Порус 2019].

НЭПа Ленин был автором и главным организатором попытки утверждения в России социализма, минуя стадию капиталистического развития. Начиная от захвата власти в октябре и включая летнее поражение в результате польской компании 1920 года, которая была организована с целью продвинуть мировую революцию за пределы России в Европу, все свои силы он направлял на реализацию замысла быстрого учреждения коммунизма в нашей стране посредством создания «государства – коммуны». «Надо, – формулировал замысел Ленин, – чтобы все работали по одному общему плану на общей земле, на общих фабриках и заводах и по общему распорядку. Легко ли это сделать? Вы видите, что тут нельзя добиться решения так же легко, как прогнать царя, помещиков и капиталистов. Тут надо, чтобы пролетариат перевоспитал, переучил всех крестьян, перетянул тех, которые являются крестьянами трудящимися, чтобы уничтожить сопротивление тех крестьян, которые являются богачами и наживаются на счёт нужды остальных» [Ленин 1963: 310–311].

Политика «военного коммунизма», проводившаяся в 1918–1921 годах была многосоставной. Она включала в себя следующие составные элементы: монополизацию власти – устранение всех не согласных с большевиками партий и политических сил; уничтожение всех социальных слоёв и групп, разделяющих иное, некоммунистическое мировоззрение, включая религиозные верования, обладающих частной собственностью или «заражённых» контактами с собственниками; усилия по превращению буржуазной революции в социалистическую устранением созданных Октябрём Советов, их заменой Комитетами деревенской бедноты, а также посредством распространения революции из города в деревню, из крупных центров в малые городские поселения; попытку перенаправления активности крестьян и вернувшихся с фронта солдат с «чёрного передела» – захватов помещичьих земель на создание крупных коллективных агропредприятий на основе государственной собственности на землю; разрушение имевшейся в стране кооперации всех видов – главного самоуправляемого конкурента большевиков в деревне; ликвидацию рынка и денежного обращения и создания в городах и деревнях «государственных кооперативов» с целью планового производства и распределения всех товаров; сопротивление иностранной военной интервенции и разгром «белого» и «зелёного» движений; теоретическую и организационную закладку основ для воспитания коммунистической молодёжи и «нового человека»; создание организованных форм принудительного перевоспитания трудом – от заключения в лагеря для перевоспитания до участия в «трудовых армиях».

Убедившись, что политика «военного коммунизма» провалилась и ведёт к потере большевиками власти, Ленин решил «сделать верёвку посвободней», «отпустить подлиннее», «не разрывая совсем» – ввести на ограниченный период НЭП. С марта 1921 и до весны 1923 года, когда он потерял способность говорить, он делал попытки развить новый курс. Однако ни вековая традиция российского самодержавного типа власти, ни реальный состав партии в это время не позволил эту идею реализовать. Органичным был замысел «временного отступления» и новых усилий по коммунистическому преобразованию общества и созданию «нового» человека. Фигура Сталина – хитрого политика, умелого организатора и прирождённого диктатора была для этого идеальной фигурой. В СССР началась эпоха сталинизма.

* * *

В дальнейших исследованиях советского следует рассмотреть его реальные исторические проявления – «военный коммунизма», НЭП, коллективизацию, репрессии, ГУЛАГ и Большой террор, разгром высшего командного состава Красной армии накануне Второй мировой войны, Великую Отечественную войну, послевоенный сталинизм 1946–1953 годов, создание «социалистического лагеря» в Восточной Европе, хрущевскую власть и «оттепель», ресталинизацию и «развитой социализм», «перестройку» как попытку утверждения социализма «с человеческим лицом», попытку возврата номенклатурной власти и ГКЧП, ельцинское разрушение СССР, постсоветский период, начиная с 2000 года.

Отдельного внимания заслуживает феномен приятия советского значительной частью населения СССР (о чем, кстати, свидетельствовали результаты референдума о его сохранении, проведённого 17 марта 1991 года. В нем приняло участие 80 процентов населения страны, при этом 76,4 процента выступили за его сохранение). И если снизить цифру на несколько пунктов в связи с необдуманными, автоматическими ответами, то все равно она остаётся достаточно внушительной.

* * *

Изложенные в статье идеи будут обсуждаться в намеченной на 26 октября сего года XX ежегодной конференции Института философии РАН с регионами России «Проблемы российского самосознания: Ленинизм–сталинизм в преобразовании общества, государства и человека. К 100-летиям кончины Ленина и начала правления Сталина».

---

Биллингтон Дж. 2001. *Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры*. – М.: Издательство «Рудомино». – 879 с.

Бунин И.А. 1991. *Окаянные дни*. – М.: Молодая гвардия. – 333 с.

Гоголь Н.В. 1847. *Выбранные места из переписки с друзьями*. – «Public Domain». – Доступно: https://www.litres.ru/nikolay-gogol/vybrannye-mesta-iz-perepiski-s-druzyami/. – Проверено: 14.05.2023.

Горький А.М. 1970. *Полное собрание сочинений. Художественные произведения: в 25 т*. Т. 5. – М.: Наука. – 564 с.

Гудков Л.Д. 2022. *Возвратный тоталитаризм.* Т. 1. – М.: Новое литературное обозрение. – 816 с.

Достоевский Ф.М. 1975. *Полное собрание сочинений в 30-ти томах*. Т. 12. – Л.: Наука. – 373 с.

Зиновьев А.А. 2018. *На коне, танке и штурмовике. Записки воина-философа*. – М.: Родина. – 238 с.

Зинченко В.П. 2020. Духовное возрождение. – *Человек*. – Т. 31. – № 2. – С. 12–26.

Коллективизация в СССР… 2022. Коллективизация в СССР. – *Википедия*. – Доступно: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллективизация в СССР. – Проверено: 22.04.2023.

Лапин Н.И. 1968. *Молодой Маркс*. – М.: Политиздат. – 376 с.

Лацис О.Р. 1990. *Перелом: Опыт прочтения несекретных документов*. – М.: Политиздат. – 397 с.

Ленин В.И. 1961. *Полное собрание сочинений*. Т. 26. – М.: Издательство политической литературы. – 590 с.

Ленин В.И. 1963. *Полное собрание сочинений*. Т. 41. – М.: Издательство политической литературы. – 695 с.

Маркс К., Энгельс Ф. 1955. *Сочинения: в 30 т*. Т. 4. – М.: Издательство политической литературы. – 615 с.

Маркс К., Энгельс Ф. 1961. *Сочинения: в 30 т*. Т. 18. – М.: Издательство политической литературы. – 807 с.

Маркс К., Энгельс Ф. 1974. *Сочинения: в 30 т*. Т. 42. – М.: Издательство политической литературы. – 535 с.

Миллер А.И. 2010. *Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования*. – М.: Новое литературное обозрение. – 316 с.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. 2000. Норма веры как норма жизни. – *Независимая Газета*. – Доступно: https://www.ng.ru/ideas/2000-02-16/8_norma.html. – Проверено: 20.04.2023.

Неретина С.С., Никольский С.А., Порус В.Н. 2019. *Философская антропология Андрея Платонова*. – М.: Институт философии РАН. – 236 с.

Никольский С.А. 2020. Художественная философия. О методологии исследования. – *Философские науки*. – Т. 63.– № 3. – С. 24–55.

Никольский С.А. 2021. Темпоральные экзистенциальные смыслы героев Достоевского и их большевистская реинкарнация. – *Философия. Журнал Высшей школы экономики*. – Т. 5. – № 3. – С. 32–55.

Платонов А. 2011. *Чевенгур. Котлован*. Собр. соч. Т. 3. – М.: Время. – 604 с.

Померанц Г.С. 1984. Акафист пошлости. – *Синтаксис*. – № 12. – С. 4–54.

Померанц Г.С. 2012. *Записки гадкого утёнка.* – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. – 464 с.

Правила жизни Андрея Сахарова. – *Arzamas*. – Доступно: https://arzamas.academy/materials/2205. – Проверено: 14.05.2023.

Тульчинский Г.Л. 2017. Осмысление российских модернизационных инверсий: от А. Ахиезера к С. Хедлунду. – *Россия 1917–2017: Европейская модернизация или особый путь?* – СПб: Леонтьевский центр. – С. 69–90.

Тульчинский Г.Л. 2019. *Феноменология зла и метафизика свободы*. – СПб: Алетейя. – 484 с.

Хафнер С. 2016. *История одного немца. Частый человек против тысячелетнего рейха*. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха. – 448 с.

# ИЕРАРХИИ ВЛАСТИ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

***А.В. Скиперских***
*Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина*

**Аннотация:** *В настоящей статье автор показывает, как устроены иерархии власти в современной России, и какими мотивами связывается политическое соподчинение. С точки зрения автора, иерархии власти представляют собой не только иерархии конкретных должностей и позиций, представляющих власть, но и вожделенных благ и материальной культуры, доступ к которым открывается по мере продвижения вверх. Автор иллюстрирует эту взаимосвязь, обращаясь к опыту, накопленному русской и советской культурой, а также собственным наблюдениям за региональными и муниципальными политическими процессами.*

*По мнению автора, рост количества институтов в современной России, реагирующих на усложнение общественной жизни, приводит к увеличению количества бюрократии и иерархий власти.*

**Ключевые слова**: *власть, иерархии власти, политическое пространство, Россия, элиты.*

Мы не пашем, не сеем, не строим.
*Эльдар Рязанов*

### *1. Неравномерность политического пространства в России*

Политическое пространство не выглядит однородным. Власть, хотя и присутствует в пространстве политического, распределяет своё влияние в нём с разной степенью интенсивности. Есть большое количество, как прямых, так и косвенных свидетельств подобной неравномерности в актуализации власти.

Власть убедительно манифестирует себя в центре, постепенно снижая своё давление на периферии. Но и на периферии актуализация власти может быть достаточно броской. Равно, как и в центре, на периферии присутствуют свои центры политического средоточья – свои иерархии власти. Их численность и наполняемость могут быть разными в зависимости от того или иного пространства. В современной России бюрократический аппарат выглядит где-то довольно консолидированным, а где-то чересчур размазанным.

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.5360*

Для того, чтобы в этом убедиться, исследователю в социальных науках не нужна какая-то особенная оптика. Достаточно посмотреть на то, как в обычном российском регионе могут встречать федерального чиновника из Москвы. Влиятельный гость сразу же будет отличаться от местных чиновников наличием охраны, ведь у представителей власти гипертрофирована «боязнь непонятного прикосновения», о чём когда-то рассуждал австрийский политический философ Э. Канетти [Канетти 1990: 391]. Региональный политический класс не может себе позволить охрану. В тот самый момент редукцию власти ощутит на себе и значительная часть региональной общественности – от автолюбителей, вынужденных томиться в пробках из-за перекрытых дорог – до аудитории регионального телевидения, которой обязательно покажут приезд статусных гостей. Что-то подобное можно увидеть и в приездах губернатора в муниципальные районы. Политическое пространство само по себе как будто бы намекает на существование диспропорций, по-разному отмечаемых политической машиной.

Воображая себе политический центр России, возникает ощущение, что он буквально перегружен инстанциями власти – многочисленными министерствами и ведомствами, офисами крупных корпораций и банков, посольствами и представительствами субъектов РФ. Как в своё время справедливо отметил Ж. Бодрияйр, город представляет собой «пространство нарастающей сегрегации» [Бодрийяр 2009: 156]. Каждая институция охраняется, доступ в неё ограничен. Автомобильные парковки отсутствуют, многочисленные шлагбаумы и камеры наблюдения отсекают случайных прохожих. Энергия власти, излучаемая Кремлём, постепенно прогревает ближний радиус – Бульварное кольцо, Садовое кольцо, третье транспортное кольцо, МКАД и т. д. Есть определённый престиж во владении квартирой, офисом и другими локациями в зависимости от близости к центру – прямо и косвенно это подтверждается фактической стоимостью этих благ.

Москва вырывается за окраины, постепенно сращиваясь с Московской областью. Вместе с тем, статус инстанций власти всё равно, так или иначе, измеряется их фактической удалённостью от Кремля.

### *2. Власть иерархии и иерархии власти*

Власть представляет собой целое поле инстанций власти, внутри которых присутствуют многочисленные иерархии. Как отмечал Р. Будагов, *иерархия* по своей этимологии изначально присутствует в поле репрезентаций священного порядка, а со временем концепт «иерархия» вступил «в сферу земного осмысления», означая ситуацию неравенства [Будагов 2002: 129].

Иерархия чинов и званий конструируется в 1722 г. Петром I в «Табели о рангах», выступая одним из оснований регулярного государства. Как считает Ю. Лотман, идеалом Петра I как раз и выступало «регулярное – правильное – государство, где вся жизнь регламентирована, подчинена правилам, выстроена с соблюдением геометрических пропорций, сведена к точным, однолинейным отношениям» [Лотман 2017: 31]. Государственная служба – воинская, статская и придворная приобретали чёткую зависимость «общественного положения человека от его места в служебной иерархии» [Лотман 2017: 32]. Существующая асимметрия в общественных отношениях оказалась легитимирована новыми «правилами игры». В свою очередь, на нижних этажах власти происходит умножение должностей и функционала. Таким образом «формируется строго обособленная бюрократия со множеством инстанций» [Михельс 1990: 58–59].

Так перед нами открывается целое здание власти, её вертикально устремлённый замок. Сразу же добиться власти не представляется возможным. Таинство власти не может открыться сразу – «чем больше могущество должности, тем строже служба» [Гессе 1991: 317]. Лестницы власти состоят из множества ступенек, и поднимающиеся по ним, равно, как и спускающиеся чиновники могут тщательно исследовать её, ведь каждая ступенька означает

пространство власти, в котором есть свои «переходы, ступеньки, выбоины, перила, скрипы, опасные места» [Скиперских 2022: 121].

Отношения внутри рангов хорошо иллюстрируются отношениями в воинской иерархии званий. Именно в этот момент убедительно раскрывается всё таинство иерархической скрепы, фиксирующей диспозиции начальников и подчинённых.

Иерархический характер организации политической элиты подтверждается, в частности, некоторыми исследователями, свидетельствовавшими о неоднородности российского правящего класса. Так, О. Крыштановская выделяет внутри российской элиты особую когорту, в которую входят представителя Совета Безопасности РФ, Правительство РФ, члены Федерального собрания РФ, видные представители региональной и бизнес-элиты [Крыштановская 2005: 21].

Понимая собственную значимость, вышестоящее начальство всегда общается с нижестоящими достаточно грубо, подобострастно, а в какие-то моменты даже и снисходительно. Начальник всегда понимает, что за ним стоит несокрушимое здание власти, мощная политическая организация, предоставляющая ему право говорить от имени власти. Организации и ведомства – сплошные иерархии. Каждая позиция предполагает свои инструкции, ресурсы, «правила игры», содержа свой потенциал и располагая своего обладателя к воспроизводству определённых моделей политического поведения.

Причудливая анатомия властной вертикали буквально пронизывает произведения русской культуры. В чеховском рассказе «Толстый и тонкий» тональность разговора двух старых знакомых сразу же меняется после того, как выяснилось, что один из них имеет более высокий статус, нежели другой. Коммуникация в рамках политической вертикали базируется на страхе. Именно поэтому умирает Червяков в другом чеховском рассказе «Смерть чиновника», случайно чихнувший в театре на генерала.

Восходящая социальная мобильность может решить перманентные вопросы, связанные с расширением доступа к благам, но она не в силах вывести из человека психологию подчинённого. Прекрасный пример подобной скованности необходимостью подчинения мы увидим в перестроечном фильме В. Абдрашитова «Слуга» (1988). Бывший водитель, испытавший на себе всю прелесть социального лифта при покровительстве влиятельного начальника, так и не смог избавиться от страшной зависимости от своего господина.

В современной российской политической практике нередки примеры, когда вышестоящее начальство может упиваться собственной значимостью, понимая, какая невероятная дистанция разделяет её и обыкновенных людей. Опасность такой тенденции увидел и Кремль. Отставки нескольких глав регионов, которые позволяли себе публично демонстрировать свой высокий статус некорректными жестами (Маргелов – Марий Эл, Игнатьев – Чувашия), были связаны именно с этой причиной. «Торжественный характер власти и её харизматическое благоухание», свойственные власти, в данном случае были использованы совершенно не по делу [Блок 1998: 82].

В нынешней системе управления подчинённые должны быть похожи друг на друга. Вспомним портрет Чичикова из «Мёртвых душ» Н. Гоголя: «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод» [Гоголь 1975: 5]. Современному российскому чиновничеству присваивается такая же неуловимость черт. В складывающей ситуации, когда любое раздражение может «подпалить» взрывоопасную обстановку, выделение себя из массы чиновничьего класса, чрезмерный эпатаж и сомнительное творчество на местах выглядит как неуместное, и осуждается «сверху».

Власть – это совокупность иерархий. Иерархии сформированы по формальному принципу, равно, как и по неформальному. Сегодня – политическое пространство в России на всех уровнях власти является очень зависимым от многочисленных клиентел, семейственности, земляческих принципов. Наряду с этим «перчинки» в отношения внутри иерархий могут

придавать другие влиятельные акторы. Например, в СССР, таковым актором могла быть *номенклатура,* «осуществляющая власть во всех сферах общественной жизни», и «являющаяся господствующим классом советского общества» [Восленский 2005: 30–31]. Сегодня любое важное назначение потенциального претендента на ту или иную должность в бюджетной сфере обязательно предполагает проведение консультаций с региональной администрацией, и с правящей партией. Видимо, неслучайно, что 39% опрошенных россиян в ноябре 2011 г. согласились с тем, что «Единая Россия» – это КПСС сегодняшнего дня» [Коммерсант-Власть 2011: 10]. Можно только догадываться, какая динамика могла произойти в оценке текущей реальности к 2023 году.

В политическом пространстве власти существующие иерархии могут конфликтовать между собой, проникать друг в друга, равно, как и дистанцироваться друг от друга. Так, нуждавшийся в легитимации в начале 1990-х гг. Б. Ельцин создавал для себя эффектную картинку, когда посещал обычную поликлинику и ездил на метро, перед этом «презрительно проходя мимо шеренги чиновничьих чёрных «Волг» [Сегела 1999: 42].

### *3. Мода власти*

Сила давления иерархий власти оказывается настолько высокой, что оказывает огромное влияние на поведение тех, из кого иерархия состоит. Копирование привычек, фигур речи, гардеробных особенностей становится частью жизненного стиля российского чиновничества вне зависимости от той или иной позиции во властной вертикали. Подчинённые воспроизводят то, что делается их руководителями. Причём это распространяется на все иерархии власти, начиная от поликлиник – до университетов, от промышленных предприятий – до торговых сетей.

Как правило, мода спускается «сверху» – «вниз». Глядя на фотографии, где присутствуют руководители со своими подчинёнными, следует отметить частой сходство чиновников между собой. Совместные фотографии политиков и чиновников различных уровней могут стать единицей политического и социологического анализа, ведь, действительно, зачастую их головные уборы, костюмы и обувь покупаются в одних и тех же магазинах, их обслуживают одни и те же парикмахеры и т. д. Кремлёвские вожди и советская номенклатура носили меховые шапки и эта мода спускалась вниз – к секретарям обкомов, горкомов и райкомов КПСС и ВЛКСМ, не говоря уже о самых низах номенклатурной иерархии. Вожделения чиновничьих низов в русской культуре однажды были убедительно сконструированы Н. Гоголем в трагической фигуре Акакия Акакиевича Башмачкина. Мода присутствует и в современной культуре, которая, казалось бы, обладает гораздо большим разнообразием. Вспомним, как на пике популярности ЛДПР, с подачи В. Жириновского в моду вошли чёрные картузы, которые стали называть «жириновками». Здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая отмечает чиновничество как политический класс, в целом. Чиновникам не следует выделяться из массы себе подобных, потому как есть сильный риск попасть в немилость к начальству.

За редким исключением мода заимствуется «снизу». В таком случае, правила иерархии власти несколько смещаются. Вспомним, какое влияние в х/ф «Служебный роман» Э. Рязанова с точки зрения модных тенденций оказывала секретарша Верочка на Людмилу Прокофьевну.

Иерархии власти проникают и на другие социальные практики. В частности, теоретик советской номенклатуры М. Восленский приводил убедительные примеры проекции иерархий власти на статус номенклатурных столовых, отличавшихся ассортиментом блюд: от «кремлёвской» столовой – к столовых Высшей партийной школы и Института марксизма-ленинизма. М. Восленский отмечал одни и те же схемы в организации «питания номенклатуры и на периферии» [Восленский 2005: 30–31].

Сегодня можно увидеть, как власть легко создаёт моду на культуру, периодически посещая престижные фестивали (Платоновский фестиваль в Воронеже, Дягилевский фестиваль в Перми и т. д.). Для подчинённых это означает, что моде желательно следовать. То же самое касается и спорта. Нередко губернаторы и мэры могут ассоциироваться с тем или иным видом спорта, регулярно посещая домашние матчи футбольных, хоккейных и баскетбольных команд. Спортивная мода неизбежно поражает и нижестоящую бюрократию, стремящуюся броситься в глаза своему начальству прямо на стадионе или в спортивном зале. В последнее время становятся популярными велопробеги и марафоны, заплывы и триатлоны. Некоторые губернаторы принимают в них непосредственное участие. Нужно отметить, что, тем самым, реализуется одна из установок, диктующихся главам регионов «сверху», а именно, необходимостью роста количества жителей, охваченных физкультурным и спортивным движением. Периодически возникают и курьёзные ситуации, которые демонстрируют никуда не исчезающее стремление российского чиновничества упреждать волю своего начальства. Так, некоторые директора липецких школ изъявили желание развивать в своих учебных заведениях бадминтон, понимая, что именно этим редким видом спорта увлечён липецкий губернатор Игорь Артамонов. Вспомним, как в начале 1990-х толчок для развития большого тенниса в России был дан Б. Ельциным, а в начале 2000-х гг. В. Путиным.

Мода власти проникает и на досуговые практики: от пешего туризма и кулинарии – до охоты с рыбалкой. Тогда вслед за статусными политиками досуговые практики заимствуются многочисленной свитой. В современном российском политическом ландшафте это так же может подтверждаться большим количеством примеров.

Иерархии власти – особая расстановка политических фигур в политическом пространстве. Специфические политические шахматы можно увидеть на любых официальных мероприятиях. Близость к центру конкретной позиции означает близость к непосредственной власти, к её ядру.

### *4. Символы власти и их иерархичность*

Политическое пространство имеет свою структуру и особые регламентации. Как раз именно к таким обязательным правилам политического выражения относится и его особенный дизайн. В контексте нашего рассуждения, дизайн пространства должен быть обязательно иерархичным – среда обитания и интерьеры, в которых себя актуализируют представители политической вертикали, должны обязательно соответствовать их статусу.

Именно поэтому пространства власти в зависимости от иерархии политиков могут так сильно отличаться. Власть всегда притязает на роскошь, являющуюся отличительной чертой её повседневной жизни. Особый политический стиль, знакомый советской номенклатуре, сегодня наследуется и представителями современного политического класса.

В советской практике сложилась норма, что кабинет руководителя всегда отличается своими размерами и интерьерными деталями от других кабинетов организации. Власть имеет право на лишние метры в отличие от тех, кто подчиняется ей. Иерархичность кабинетному пространству конструируется с помощью длинного конференц-стола, во главе которого всегда находится руководитель. Когда-то статус позиции, занимаемой руководителем измерялся по количеству телефонных аппаратов на столе и наличием прямого аппарата, соединяющего его с вышестоящими инстанциями. С недавних пор появилась мода на особые комнаты отдыха, двери в которые располагаются в задней стене кабинетов. Автору приходилось бывать в таких комнатах, где обладатели статусных позиций в иерархии власти обычно отдыхают после рабочего дня или принимают гостей[1]. В советское время в таких комнатах имелся

[1] Номенклатурные практики переходят вслед за непосредственными фигурами начальников на новые места работы. Один из бывших крупных руководителей в Липецкой области создал себе подобную комнату даже в одном их общеобразовательных учреждений. Необходимость чем-либо выделяться от других надолго сохраняется в сознании представителей правящего класса, отражаясь на бытовой требовательности.

диван, холодильник, телевизор. Нередко при проектировке зданий в подобных комнатах предусматривался и туалет и душевой кабиной или ванной комнатой. Политики и управленцы на местах создавали себе полноценный дом. Пространство власти превращалось едва ли не в личное пространство, в котором разворачивается жизнь и происходят, как воображает французский эстетик Г. Башляр, «бесконечные игры диалектических взаимосвязей фактов и значений, реальности и мечтаний, воспоминаний и легенд, планов и химер» [Башляр 2009: 91].

Материальная культура иерархизируется в той же мере, в какой друг за другом следуют многочисленные должности и статусы. Советское общество притязало на одни и те же блага. С. Бойм отмечала, что «комоды, кровати, серванты и диваны становятся олицетворением всех желаний» [Бойм 2022: 178].

То же самое можно сказать и в отношении других товаров, характеризующих общественные потребности. М. Восленский пишет о продуктовых пайках, редких подписных книжных изданиях, санаторном лечении [Восленский 2005]. Доступ к таким благам в равной мере был невозможен. Представители высших этажей политической иерархии обладали куда большими возможностями по сравнению с обыкновенными советскими гражданами. Каждая новая взятая ступенька лестницы власти означала доступ к новым благам и умелое освоение «средств для личного обогащения» [Панищев 2007: 59].

Сложно себе представить, что престижными советскими автомобилями могли обладать обыкновенные граждане. Автомобиль символизирует социальный статус своего обладателя, равно, как и затаённое недовольство многочисленной обслуги.

Вспомним, как у А. Галича:

> – Я возил его, падлу, на «Чаечке».
>
> [*Александр Галич. «Больничная цыганочка» (1963)*]

В «Листопаде» О. Иоселиани (1966) директор винзавода – грузин ездит на «Волге». Другого варианта и сложно себе представить. В «Июльском дожде» М. Хуциева (1966) легковое движение в Москве так же в основном представлено «Волгами» – статусные начальники и руководители не пользуются метро. Неслучайно, что в советской культуре наличие подобного автомобиля определённо маркировало статус владельца. Допустимая сатира в кинематографии всё-таки вывела на экран образ Юрия Деточкина в х/ф «Берегись автомобиля» Э. Рязанова (1966), по-своему наказывавшего бюрократов и взяточников.

Символический капитал отдельно взятой позиции руководителя и начальника, начиная с советского времени, отмечается наличием в кабинете портретов советских вождей. Политическая идентичность конструируется при посредстве «захватывающих символов» [Андерсен 2016: 51].

С 1990-х гг. некоторые главы администраций считают нормой наличие у себя в кабинете портрета Б. Ельцина – и уже позже – В. Путина и Д. Медведева. В том момент времени было ещё далеко до демонстрации тотальной лояльности. Неслучайно, по результатам опроса Московской консультационной группы, проводившемся в Воронеже, Москве и Саратове в 2001 г., 38,8 % респондентов посчитали портрет Путина в кабинете чиновника «демонстрацией показной преданности». При этом только 22,5 % увидели в этом знак уважения к президенту. 19,4 % посчитали это пережитком советского прошлого, а 16,3 % посчитали это данью моде. Затруднилось ответом только 5 % респондентов [Камышев 2002: 16]. Развитие политического процесса в современной России демонстрирует, что колеблющихся чиновников практически не остаётся. Практически все губернаторы и мэры крупных российских городов сегодня поддерживаются «Единой Россией». Кандидатуры губернаторов рассматриваются администрацией Президента РФ, что не оставляет им выбора.

Некоторые бывшие «красные директора» и легитимировавшиеся в 1990-х гг. партийные секретари по-прежнему стремились подчеркнуть «советскую» идентичность, занимая место под портретом В. Ленина. Для подобных руководителей стало нормой вывешивать красные флаги в своих организациях в праздничные дни 7 ноября и 1 мая, в то время, как остальные руководители вешали российский триколор.

### *5. Заключение. Горизонтальные иллюзии: особые среди равных*

Внутри политической сферы некоторые иерархии могут выглядеть достаточно симметричными, но, на самом деле, в такой горизонтальной перспективе могут случаться свои перекосы и отклонения.

Горизонтальная перспектива (скажем, если принять во внимание формальное равенство субъектов РФ и глав субъектов РФ перед Кремлём), всё равно оказывается немного «волнистой». Среди формально равных находятся те, кто находится в доминирующей позиции по целому ряду показателей. В сообществе политических экспертов и консультантов, видимо по этой причине стали довольно популярны различные рейтинги влиятельности, периодически иерархизирующие политический класс современной России.

Но даже без подобной аналитики, располагающей губернаторов по группам влияния, вполне понятно, что не все главы субъектов РФ оказываются равными. Их аппаратный вес оказывается различным и зависит от их собственных достижений в российской политической реальности, равно, как и степенью близости к Кремлю. Отсюда, среди российских губернаторов могут сильно отличаться позиции Р. Кадырова, Р. Миниханова, С. Собянина и некоторых других региональных политиков, аппаратный вес которых превосходит региональный уровень. Указанным фигурам в российском политикуме многое позволяется, начиная от каких-либо неоднозначных инициатив и заявлений, и, заканчивая попытками создания альтернативной информационной реальности. Таким образом, в галерее российских губернаторов, де-юре равных между собой, тем не менее, присутствует некая асимметрия. Некоторые главы субъектов РФ, изначально оценивая свой особенный статус, периодически напоминают об этом обстоятельстве в информационном пространстве современной России.

На примере российских регионов и муниципалитетов мы увидим, как неравномерно выстроена иерархия заместителей губернаторов или глав муниципальных образований. Некоторые заместители определённо доминируют над другими. После смены губернаторов корпус заместителей также может быть значительно разнесён в праве доступа к центру принятия решений.

Причина такого доминирования, на наш взгляд, заключается в отличиях одной сферы от другой, которая курируется тем или иным чиновником. Причём, это происходит вне зависимости от региона и «самостоятельно установленной им системы своих органов власти [Столяров 2001: 271]. Вопрос престижа и системообразующего значения приобретает решающую роль, что определённо проецируется и на заместителей губернаторов и глав муниципальных образований. В современной России сфера экономики значит больше, чем сфера культуры, и в этой связи вице-губернатор, курирующий экономику, будет обладать бóльшими объёмами полномочий, нежели тот, в ведении которого находится культура. Зачастую, именно кураторы экономического блока замещают глав регионов и муниципалитетов в периоды отпусков. Сложности отношений между иерархиями власти в современной России добавляют структуры федеральных округов и институтов полномочных представителей, силовых ведомств, не подчиняющихся региональной и местной власти. Тем не менее, они находятся в постоянном контакте с действующей властью в субъектах РФ и муниципалитетах.

Как мы видим, иерархии власти сохраняют себя везде, где присутствует власть, где существуют политические отношения. По мере усложнения социальной структуры, по мере появления новых форм коммуникации иерархии могут несколько видоизменяться. Рост количества но-

вых институтов требует дополнительного бюрократического контроля. Это делает структуры власти более многочисленными и противопоставленными друг другу, а и их дизайн более усложнённым. В свою очередь, могут появляться новые иерархии власти, вызывающие «перезагрузку» уже существующих политических отношений.

---

Андерсон Б. 2016. *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*. – М.: Кучково поле. – 416 с.

Башляр Г. 2009. *Поэтика грёзы*. – М.: Росспэн. – 440 с.

Бодрийяр Ж. 2009. *Символический обмен и смерть*. – М.: Добросвет. – 387 с.

Бойм С. 2022. *Общие места: мифология повседневной жизни*. – М.: Новое литературное обозрение. – 320 с.

Блок М. 1998. *Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространённых преимущественно во Франции и в Англии*. – М.: Школа «Языки русской культуры». – 712 с.

Будагов Р.А. 2002. *Развитие французской политической терминологии в XVIII веке*. – М.: Добросвет-2000. – 176 с.

Восленский М. 2005. *Номенклатура*. – М.: Захаров. – 640 с.

Гессе Г. 1991. *Избранное*. – М.: Радуга. – 539 с.

Камышев Д. 2002. Двое в комнате – я и Путин. Крайние формы любви к президенту. – *Коммерсант-Власть*. – № 1 (454). – С. 14–20.

Канетти Э. 1990. *Человек нашего столетия*. – М.: Прогресс. – 474 с.

*Коммерсант-Власть*. – 2011. – № 49 (953). – 12 декабря.

Крыштановская О. 2005. *Анатомия российской элиты*. – М.: Захаров. – 384 с.

Лотман Ю. 2017. *Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII – начала XIX века)*. – СПб.: Азбука. – 608 с.

Михельс Р. 1990. Необходимость организации. – *Диалог*. – № 3. – С. 58–59.

Панищев А.Л. 2007. *Русский Ренессанс: человек между Богом и бесом*. – М.: Издательство Академии Естествознания. – 232 с.

Сегела Ж. 1999. *Национальные особенности охоты за голосами*. – М.: Вагриус. – 263 с.

Скиперских А.В. 2022. «*Замкнутые вселенные» сопротивления: разыскания в пространстве русской культуры*. – М.: ИНФРА-М. – 237 с.

Столяров М.В. 2001. *Федерализм и державность: российский вариант*. – М.: Славянский диалог. – 320 с.

# ВОЗМОЖНОСТИ СЕТЕВОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

***Р.В. Савенков,***
***В.В. Стрединина***
*Воронежский государственный университет*

**Аннотация:** *В статье предпринимается попытка проанализировать количество и содержание взаимодействий воронежских региональных отделений политических партий в 2022 г. с иными политическими и общественными акторами. Эмпирические данные собраны методом контент-анализ, концептуальной рамкой исследования выбран сетевой подход. Основным источником стали официальные сайты региональных отделений. По итогам исследования самым активным в 2022 г. стало региональное отделение партии «Единая Россия». Зафиксирована относительно высокая частота контактов ЛДПР с исполнительными органами государственной власти Воронежской области.*

**Ключевые слова**: *сетевой подход, политическая партия, Воронежская область.*

## *Введение*

Рост количества участников политического процесса, постепенно приводящий к функциональному усложнению политико-управленческой системы, показал, что существующие политические теории не всегда способны выступить адекватной концептуальной основой в исследованиях процессов принятия решений, взаимодействий различных политических акторов, политических процессах [Мирошниченко 2013: 69]. Среди субъектов, существенно влияющих на принимаемые решения, появились новые негосударственные акторы – бизнес и общественные структуры. Кроме того, возрастающая плюрализация общественных структур, трансформация отношений между различными слоями населения, высокий уровень социальных потребностей и ожиданий, а также большие масштабы неопределённости, рисков и усиление влияния международного фактора на внутреннюю политику государств – всё это уже не могло быть объяснено существующими концептуальными теориями [Сморгунов 2001: 104]. Важной предпосылкой потребности в новой концепции стало возрастание ценности информации, превращение её в стратегический ресурс влияния на политические и управленческие процессы. Ответом на указанные концептуальные вызовы стало использование сетевого подхода к анализу политических процессов.

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.6168*

Целью исследования является исследование взаимодействия Воронежских региональных отделений парламентских политических партий (далее – РО) в 2022 г. с другими политическими акторами с помощью сетевого подхода. По итогам выборов 2020 г. в Воронежской областной Думе сформированы фракции четырёх политических партий: «Единая Россия» (49 депутатов), КПРФ (4 депутата), ЛДПР (2 депутата), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (1 депутат). Эмпирическую базу включают новости на официальных сайтах РО[1] и в авторитетных региональных СМИ.

### *Методология*

Сетевой подход в политической науке опирается на теорию сетевого общества М. Кастельса, акторно-сетевую теорию Б. Латура, а также разработки Р. Родеса, Дж. Марча, Т. Берцель, С. Роккана и др. и рассматривается через призму понятия «политическая сеть». Сеть представляет собой неиерархизированную конфигурацию взаимосвязанных акторов, взаимодействие между которыми может происходить с различной степенью интенсивности, завися от ситуации, ресурсов и заинтересованности самих сетевых акторов. Принято различать понятия «сетевой подход» и «сетевой анализ». Если сетевой подход – это теория, концепция, то сетевой анализ выступает в качестве конкретного практического инструмента, применяемого в ходе исследования, опирающегося на сетевую теорию. Сетевой анализ представляет собой метод сбора и обработки данных, полученных от множества организаций, индивидов, групп, которые могут вступать во взаимодействие друг с другом в рамках единого сетевого пространства [Михайлова 2012].

Среди первых учёных, использовавших термин «сети» в контексте исследования политической системы, был норвежский политолог С. Роккан, который выступал с позиций неоинституционализма и считал сетевые структуры, объединяющие частных и государственных акторов, важными дополнительными или параллельными каналами, обеспечивающими учёт многочисленных интересов в процессе принятия политических решений [Косов, Потапов, Ширяев 2013: 64]. Немецкая исследовательница Т. Берцель определила политические сети как «набор относительно стабильных взаимоотношений, по природе неиерархических и взаимозависимых, связывающих многообразие акторов, которые разделяют общие интересы относительно политики и обмениваются ресурсами для того, чтобы продвинуть эти интересы, признавая, что кооперация является наилучшим способом достижения общих целей» [Сморгунов, Шерстобитов 2014: 26]. Российский политолог Л.В. Сморгунов определяет политические сети как «систему государственных и негосударственных образований в определённой сфере политики, которые взаимодействуют на основе ресурсной зависимости с целью достижения общего согласия по интересующему всех политическому вопросу, используя формальные и неформальные нормы» [Там же: 29].

Основной категорией, на которой фокусируются исследователи, изучая политические сети, являются отношения. Сетевой анализ, таким образом, заключается в измерении и изучении отношений между группами акторов. Взаимозависимость – это ключевой фактор в построении и поддержании политических сетей. И отношения, и акторы в таком случае именуются сетевыми. Сетевые отношения представляют собой устойчивые связи, которые возникают между двумя участниками сетевого взаимодействия и обладают определенным со-

[1] Официальный сайт Воронежского регионального отделения ВПП «Единая Россия». – Доступно: https://voronezh.er.ru/?ysclid=ldzhy1ftfn843894337. – Проверено: 01.02.2023; Официальный сайте Воронежского регионального отделения партии КПРФ. – Доступно: https://kprf.ru/regionalorgs/36. – Проверено: 01.02.2023; Официальный сайт Воронежского регионального отделения партии ЛДПР. – Доступно: https://voronezh.ldpr.ru/?ysclid=ldzi1f88bu222077116. – Проверено: 01.02.2023; Официальный сайт Воронежского регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия-Патриоты-ЗА ПРАВДУ». – Доступно: https://voronezh.spravedlivo.ru/?ysclid=ldzi32rro3157585684. – Проверено: 01.02.2023.

держанием, описывающим характер коммуникации и ресурсной зависимости между данными акторами. Исследователю доступны измерения частоты взаимодействий и степени взаимозависимых отношений между акторами. Зарубежные учёные в ходе анализа политических сетей чаще всего прибегают к математическим или статистическим методам. За рубежом для сетевого анализа уже разработан ряд специализированных компьютерных программ, например, Pajek, UCINet, STATISTICA Neural Networks – позволяющие визуализировать сети, выявлять отдельные параметры сетей (централизация, связанность), определять роль отдельных сетевых акторов.

Российские учёные активно исследуют феномен политических сетей, среди первопроходев: Л.В. Сморгунов, Г.В. Градосельская, О.В. Михайлова, А.С. Шерстобитов, А.И. Соловьёв, А.А. Дегтярёв, И.В. Мирошниченко. Путём сетевого анализа сегодня российскими учёными исследуются взаимодействия государств на международной арене, деятельность различных международных организаций, процессы принятия управленческих решений и другие сетевые конфигурации акторов, возникающие в поле политики. Кроме того, сетевой анализ реализуется как анализ социальных сетей, анализ интернет-пространства по разным направлениям, в том числе, как себя в нём ведут различные политические акторы.

Российские политологи используют практический инструментарий менее охотно, они больше акцентируют внимание на теоретико-методологических основаниях сетевого подхода, ссылаясь на зарубежных авторов или критически переосмысляя различные аспекты теории политических сетей. Одной из главных причин такого расхождения в эмпирическом применении сетевого подхода между отечественными и зарубежными учёными является специфика российского политического режима, где сетевые взаимодействия политических акторов чаще оказываются неинституционализированными и непубличными. Зафиксированы следующие закономерности: организации гражданского общества более открыты в плане опубличивания информации о своих взаимодействиях с иными политическими субъектами, представители бизнеса менее доступны для контактов и с меньшей открытостью о них говорят, чиновники и политики наиболее закрытые для анализа их сетевых взаимодействий [Шерстобитов, Осипов, Зарипов 2021: 65–66]. Для построения сетевой модели особенно важно подобрать подходящий метод сбора и достоверные источники данных. В сетевом политическом анализе наиболее распространены следующие методы сбора данных: контент-анализ средств массовой информации, анализ статистических данных и официальных документов, ивент-анализ общего участия в событии или институте публичного взаимодействия [Сморгунов, Шерстобитов 2014: 138]. Региональные отделения политических партий, их участие в избирательных кампаниях разного уровня, региональные партийные системы – достаточно глубоко исследуются российскими политологами Г. Голосовым, А. Кыневым, С. Шпагиным, Ю. Коргунюком[2]. Однако сетевой анализ практически не применялся к этим акторам электорального и политического процесса.

Для анализа взаимодействий Воронежских региональных отделений политических партий с политическими акторами были проведены следующие исследовательские процедуры. Проведён контент-анализ новостей официальных сайтов региональных отделений партий и ведущих политических СМИ, опубликованных в 2022 году, с целью поиска и расчёта количества и характера взаимодействий региональных отделений с другими политическими акторами. В тестовом режиме были проанализированы интернет-издания «Время Воронежа», «Абирег», входящие в единый информационный холдинг, но реализующие отличающиеся тактики подачи информации о политических процессах в регионе. «Время Воронежа» позиционирует себя как общественно-политическое интернет-издание, которое стремится максимально охватить и адекватно осветить многообразие событий регионального и местного масштабов. Издание делает особый акцент на происходящем в политической сфере региона,

[2] См.: Голосов 2016; Коргунюк 2015; Кынев 2014; Кынев 2019; Шпагин 2012; Шпагин 2022a; Шпагин 2022b.

на стыке социальной и политической сфер, а также экономической и политической, что делает его наиболее привлекательным для региональных экспертов, представителей научного сообщества, социологов и политологов и выделяет среди всего многообразия региональных СМИ. Интервью авторитетных воронежских экспертов-политологов, представителей региональной политической элиты неоднократно наблюдаются читателями издания «Время Воронежа». «Абирег» – информационно-аналитическое «Агентство Бизнес информации», охватывающее события экономики и политики Воронежской области и других регионов Черноземья. «Абирег» демонстрирует стремление к максимальной объективности и рационализму в освещении событий политической и экономической проблематик. «Время Воронежа» и «Абирег» – наиболее популярны, среди региональных СМИ, пишущих о политической жизни. На втором этапе были структурированы акторы региональной политической системы, с которыми потенциально взаимодействуют региональные отделения партий:

1. Федеральные органы государственной власти.
2. Губернатор Воронежской области;
3. Члены правительства Воронежской области, исполнительные органы государственной власти Воронежской области.
4. Депутаты Воронежской областной Думы.
5. Организации гражданского общества (НКО, СОНКО, АНО, правозащитные организации, профсоюзы, благотворительные фонды, ТОСы, творческие и научные сообщества, иные общественные объединения);
6. Бизнес-структуры (крупные бизнес-корпорации, представители среднего и малого бизнеса).
7. Лидеры мнений (региональные блогеры, эксперты).

Многообразные формы взаимодействия политических акторов объединены в три группы: мнение, заявление, мероприятие. В группу «мнение» вошла трансляций мнений иных субъектов власти, открыто поддерживаемых региональным отделением партии. Группа «заявление» объединяет артикуляцию совместных планов деятельности РО, которые вот-вот должны перейти в реальное действие. Группа «мероприятие» – фиксирует реализацию несколькими политическими акторами действия. Такой способ разграничения типов взаимодействия позволяет отдельно проанализировать заявления (дискурс) и действия. Кроме того, это позволяет оценить прочность связи с другим политическим актором: связь РО с политическим актором только на уровне идентичных мнений нельзя назвать полноценным взаимодействием, скорее речь идёт о стремлении к взаимодействию реальному.

### *Результаты исследования*

В течение 2022 года РО опубликовали 4 494 новости: «Единая Россия» – 3185, КПРФ – 500, ЛДПР – 727, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (далее – СРПЗП) – 82. Очевидно, что информационная активность партии «Единая России» в три раза превышает аналогичную деятельность трёх других партий вместе взятых. Содержательный анализ новостей, демонстрирует большую активность депутатов и актив партии парламентского большинства. Содержательному анализу подвергались новости о публичном взаимодействии РО с другими политическими акторами: «Единая Россия» – 247, КПРФ – 58, ЛДПР – 22, СРПЗП – 14 (см.: Таблица 1).

*Таблица 1.*

**Количество публичных взаимодействий Воронежских региональных отделений политических партий с некоторыми политическими акторами**

| | **Всего публичных взаимодействий** | С федеральными органами власти | С губернатором/правительством Воронежской области | Со структурами гражданского общества |
|---|---|---|---|---|
| «Единая Россия» | **247** | 17 | 7 | 213 |
| КПРФ | **58** | 5 | 1 | 50 |
| ЛДПР | **22** | 2 | 7 | 8 |
| СРЗП | **14** | 1 | - | 13 |

РО партии «Единая Россия» взаимодействовало почти со всеми политическими акторами, за исключением «лидеров мнений». Взаимодействий с федеральными органами власти было 17, их них 5 – на уровне поддержки мнений: региональное отделение сообщало о поддержке какого-либо решения федеральных органов власти. Такая солидарность с политикой федеральной власти должна усилить голос лояльной части интернет-аудитории, подчеркнуть высокий уровень связанности партии с федеральными исполнительными органами государственной власти. Оставшиеся 12 взаимодействий – это новости о встречах партийных депутатов и актива с представителями федеральных органов власти. Взаимодействие РО партии «Единая Россия» с губернатором и региональным правительством было минимальным – 2 и 5 мероприятий соответственно, что может говорить о преимущественно закрытом характере взаимодействий между ними. Взаимодействия РО «Единой России» с Воронежской областной Думой (упоминаний о них за весь период было только 4) – наиболее сложно идентифицируемый формат взаимодействий, поскольку депутаты являются членами партии. В данном случае региональным отделениям важно подчёркивать эту связь: взаимодействие фракций друг с другом, отдельных депутатов от одной партии с фракцией другой партии и т. п. Активность депутата внутри парламента в разных формах, характер и интенсивность его взаимодействий со всем составом парламента – прямо влияют на рейтинг регионального отделения, которое его выдвинуло.

Что касается публичных взаимодействий РО «Единой России» с бизнес-структурами, таковых насчиталось за весь период всего – 1. В таком случае отсутствие взаимодействий возможно по двум причинам – слабость связей (или полное их отсутствие) с упомянутыми политическими акторами или непубличный, закрытый характер связей.

Наиболее детального рассмотрения (по месяцам) требуют взаимодействия РО «Единой России» с организациями гражданского общества. Значительное число упомянутых общественных организаций возглавляются членами партии «Единая Россия». Количество взаимодействий в каждом месяце различно и колеблется от 4 до 31 проведённых совместно с различными организациями мероприятий в месяц. Содержательный анализ взаимодействий показал, что подавляющее большинство контактов с НКО связано с общими мероприятиями по поводу Специальной военной операции на Украине. С началом СВО 24 февраля 2022 г. многие общественные и общественно-политические организации были вовлечены в оказание помощи беженцам, семьям мобилизованных, сбор средств для фронта и т. п. Структуры гражданского общества стали непосредственными помощниками государства в реализации этих задач. В январе, феврале и марте 2022 г. мы наблюдаем 4, 10 и 8 соответственно совместных мероприятий РО «Единой России» с различными структурами гражданского общества.

В течение года количество такого взаимодействия растёт: апрель – 20, май – 15, июнь – 27, а вторую половину года количество совместных мероприятий с гражданским обществом не опускается меньше 16. Всего упоминаний (за весь год) о взаимодействиях регионального отделения партии «Единая Россия» с различными организациями гражданского общества – 213 (из них 208 – реально проведённые совместные мероприятия, 5 – совместные заявления о планировании дальнейших совместных действий). Типы организаций гражданского общества, с которыми РО «Единой России» на протяжении года взаимодействовало наиболее активно: ТОСы, благотворительные фонды, волонтёрские организации. Очевидно, что СВО создала новое пространство для активности как политических партий, так и общественных организаций.

Анализ контента, связанного с региональным отделением КПРФ, дал следующие результаты: за весь год РО не упомянуло ни об одном взаимодействии с бизнес-структурами и лидерами мнений, что может свидетельствовать о двух вещах: либо этих взаимодействий реально не происходило, либо они были непубличными. Иначе обстоят дела в области взаимодействия с федеральными органами власти: 1 совместное мероприятие; 4 взаимодействия на уровне – поддержка решений федеральных органов региональным отделением. В новостях РО КПРФ нет информации о взаимодействии с правительством Воронежской области (далее – облправительством), всего 1 раз была выражена поддержка мнения губернатора по актуальной проблеме. РО КПРФ упомянуло о двух совместных мероприятиях с Воронежской областной Думой и об одном взаимодействии в формате – поддержка мнения облДумы. Таким образом, можно предположить, что взаимодействия РО и облДумы не отсутствуют практически полностью (как это показывают полученные числовые значения), а скорее происходят непублично. Региональное отделение вполне может продвигать не только интересы общества, но и свои особые интересы через своих депутатов в региональном парламенте, которые неизбежно взаимодействуют с другими депутатами и фракциями в силу своего функционала.

Наиболее масштабные значения наблюдаются в области взаимодействия КПРФ с организациями гражданского общества – их за весь год насчитывается 50 (1 – выражение идентичного мнения с организацией гражданского общества, 49 – реально проведённые совместные мероприятия с разными типами НКО). У РО «Единой России» этот показатель выше почти в 4,3 раза (213 взаимодействий). Количество совместных мероприятий РО КПРФ со общественными структурами колеблется от 0 до 9 в зависимости от месяца. Совместные мероприятия упомянутых акторов приурочены либо к памятным датам советской истории (годовщина Октябрьской революции 1917 г. – 9), либо связаны с оказанием различных мер поддержки для СВО и беженцев. Наиболее часто региональное отделение упоминало о совместных мероприятиях с Воронежским отделением ЛКСМ РФ.

Региональное отделение ЛДПР за 2022 год провело всего 8 совместных мероприятий с гражданским обществом. С федеральными органами власти было отмечено 2 взаимодействия (1 – на уровне поддержки мнения, 1 – общее мероприятие с федеральном органе власти с участием депутата от соответствующего РО). Всего два раза РО ЛДПР выразило поддержку мнению губернатора Воронежской области и упомянуло всего о двух взаимодействиях с ним через депутатов регионального парламента от ЛДПР. Три раза депутаты облДумы от ЛДПР участвовали в совместных мероприятиях с облправительством. Относительно часто РО ЛДПР информирует о взаимодействии депутатов фракции ЛДПР с другими фракциями и депутатами регионального парламента (две новости). В отличие от других РО, ЛДПР информирует о своих контактах с представителями бизнес-структур (3 совместных мероприятия).

Региональное отделение партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» за весь год провело всего лишь 13 совместных мероприятий с организациями гражданского общества (в основном, это были благотворительные фонды и волонтёрские организации) и всего один раз

выразило личную поддержку решению федеральных органов власти. Информация о публичных взаимодействиях с губернатором, облДумой, облправительством, бизнес-структурами и лидерами мнений отсутствует.

### *Выводы*

Сетевой анализ позволил измерить и проанализировать взаимодействия политических акторов друг с другом. Сетевой подход и сетевые методики позволяют вычленять и систематизировать данные из официальных источников информации. Политические партии и их региональные отделения находятся между общественными запросами и государственными органами, выполняют функцию артикуляции и агрегирования интересов различных социальных групп. Взаимодействие с институтами гражданского общества позволяет партиям вовлекать НКО общественно важные проекты, осуществлять медиацию между гражданским сектором и властью. Ключевой целью взаимодействия партий с представителями бизнеса является демонстрация сотрудничества, образа социально ориентированных предпринимателей. Взаимодействие региональных отделений партий с иными властными структурами (другими ветвями власти, федеральными органами государственно власти) демонстрируется для подтверждения авторитета и влиятельности партии. Сотрудничество, совместные мероприятия с различными экспертами и лидерами общественного мнения – возможность обмена мнениями и генерации новых идей.

По итогам анализа официальных сайтов партий в 2022 г. самым активным парламентским воронежским региональным отделением была «Единая Россия». РО вовлекала воронежские НКО в проекты помощи беженцам из ЛНР и ДНР, проекты поддержки семей мобилизованных граждан. Большинство упомянутых НКО лояльно настроены к внутренней и внешней политике страны, имеют опыт взаимодействия с РО партии «Единая Россия» в период ковидных ограничений. Такая информационная стратегия формирует у партии образ агрегатора конструктивных общественных инициатив, демонстрирует её способность эффективно взаимодействовать с органами власти. Вторым по числу публичных взаимодействий в 2022 г. было региональное отделение КПРФ. Особенностью информационной стратегии КПРФ стало относительно высокий уровень публичной солидарности с федеральными органами власти и всего лишь один контакт с региональными исполнительными органами власти. Региональные отделения партий «ЛДПР» и «СРПЗП» не придавали большого значения информированию о своих взаимодействиях с политическими акторами посетителей своих официальных сайтов. КПРФ и ЛДПР позиционируют себя как оппозиционные партии, поддерживающие курс президента В. Путина. Однако контент-анализ их официальных сайтов демонстрирует расхождение: высокая частота контактов ЛДПР с региональной властью (как и у «Единой России»), при низкой частоте этих контактов у КПРФ. Напротив, КПРФ чаще чем ЛДПР солидаризируется с федеральными органами власти. В 2022 г. ни одно региональное отделение воронежских парламентских партий не объявило о своих контактах с лидерами общественного мнения, лидерами информационного пространства Воронежской области.

---

Голосов Г. 2016. *Сравнительная политология и российская политика, 2010–2015.* Сборник статей. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. – 668 с.

Коргунюк Ю.Г. 2015. Партийная реформа 2012–2014 гг. и структура электоральных размежеваний в регионах России. – *Полис. Политические исследования*. – № 4. – С. 97–113.

Косов Г.В., Потапов В.А., Ширяев В.А. 2013. Политические сети: специфика современной архитектоники. – *Власть*. – Т. 21. – № 10. – С. 64–69.

Кынев А.В. 2014. *Региональные и местные выборы 2014 года в России в условиях новых ограничений конкуренции*. – М.: Фонд «Либеральная миссия». – 372 с.

Кынев А.В. 2019. *Региональные и местные выборы в России осени 2018 года: электоральные перемены на фоне социальных реформ*. – М.: Фонд «Либеральная миссия». – 554 с.

Мирошниченко И.В. 2013. Сетевой подход в политических исследованиях: содержание и направления развития. – *Южно-российский журнал социальных наук*. – № 3. – С. 68–86.

Михайлова О.В. 2012. Проблемы идентификации и оценки политических сетевых альянсов. – *Государственное управление. Электронный вестник*. – Выпуск № 35. – Декабрь. – Доступно: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2012/vipusk__35._dekabr_2012_g./pravovie_i_polititcheskie_aspekti_upravlenija/mikhailova.pdf?ysclid=ldzulolpt5849029888. – Проверено: 01.02.2023.

Сморгунов Л.В. 2001. Сетевой подход к политике и управлению. – *Полис. Политические исследования*. – № 3. – С. 103–112.

Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С. 2014. *Политические сети: Теория и методы анализа:* Учебник для студентов вузов – М.: Издательство «АспектПресс». – 320 с.

Шпагин С.А. 2012. Региональные партийные системы в современной России: к методологии исследования. – *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. – № 3. – С. 134–142.

Шпагин С.А. 2022a. Партийные системы российских регионов на финише электорального цикла 2017–2021 гг. – *Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки»*. – Т. 9. – № 3. – С. 137–146.

Шпагин С.А. 2022b. Стабильность партийных систем в регионах России: опыт статистического анализа. – *Известия Иркутского государственного университета*. – Т. 40. – № 3. – С. 41–47.

## ***Фундаментальные исследования***

**От редакции**

В этой рубрике публикуются отрывки из капитальных монографий отечественных учёных. Речь идёт о тех книгах в потоке научной литературы, которые выдержали проверку временем, и сохраняют свою актуальность до сих пор. Информационный, методологический и эвристическая ценность таких изданий во много раз превышает потенциал большинства статей. Одним из ярких примеров является книга Владимира Прохоровича Булдакова, отрывок из второго издания которой здесь предлагается вниманию читателей. На первый взгляд, она посвящена исторической тематике, однако не сводится к ней. Задача публикации состоит в выявлении методологического смысла, обогащающего всю социально-политическую и общегуманитарную рефлексию. Приглашаем читателей высказаться по этому поводу.

*В.П. Макаренко*

# ГОСУДАРСТВО И ТЕРРОР[1]

***В.П. Булдаков***
*Институт российской истории РАН*

**Аннотация:** *Постреволюционный террор в России обычно связывается с личностью Сталина. На деле интенсивность террора диктовалась логикой выживания власти, скованной с одной стороны, марксистской доктриной, с другой – авторитарной традицией. Так в конце 1920-х годов возвращение к массовому террору способствовал переход от психологии мировой революции к психозу осаждённой крепости. Отсюда же ужасы коллективизации, обусловленные по преимуществу действиями местного начальства. Последним по-своему помогали городские обыватели, объяснявшие продовольственные неурядицы действиями сельской «буржуазии». Власть, стремящаяся в соответствии с «единственно верной» теорией стать абсолютной, нуждалась во врагах инфернального масштаба – особенно когда она сама оказывалась в экономическом тупике. В этом смысле террор 1937 года сделался неизбежным. Последующие волны террора также были связаны с политическим маневрированием власти.*

**Ключевые слова:** *Россия, революция, насилие, террор, чекисты, Сталин, нэп, коллективизация, массовые настроения, слухи.*

[1] Параграф 2 главы V из книги: Булдаков В.П. *Красная смута: Природа и последствия революционного насилия*. Изд. 2-е, доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. – С. 555–587.

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.69100*

О том, что империя помимо всего скрепляется и страхом перед внешними врагами, напоминать не приходится. Этот фактор вновь проявил себя в конце 1920-х гг.

Как ни странно, возможности репрессивного манёвра большевистской власти облегчил вынужденный общий переход от психологии мировой революции к психозу осаждённой крепости. Он начался уже в связи с революцией в Китае, когда победы коммунистов сменили гоминьдановские перевороты. Ухудшение отношений с Великобританией, которая считалась в те времена оплотом империализма, породило настоящую панику и в верхах, и среди простого народа. К этому добавилось и убийство в Польше юным белогвардейцем посла П.Л. Войкова. Разумеется, ни о какой реальной угрозе СССР в то время и речи быть не могло [Олейник 1992: 42–501]. Тем не менее в руководстве страны стала нарастать паника. Как результат в отместку без суда было расстреляно 20 видных «контрреволюционеров», в списке которых первым числился нелегально приехавший в Россию видный кадет 60-летний князь П.Д. Долгоруков. Эмигрантская печать расценила это как проявление слабости системы [Долгоруков 1964: 434]. В России массы, скорее всего, восприняли это как акт отмщения и готовность всеми способами противостоять любым «происка̀м» извне. В конечном счёте все это обернулось официальным признанием неизбежности войны капиталистического окружения с СССР в ближайшем будущем [КПСС в резолюциях… 1984: 175], распространением нелепейших слухов о войне с Китаем [Голос народа 1998: 285] и Великобританией, вплоть до домыслов о том, что в Одессе уже находятся английские войска [Письма во власть 1998: 581–583]. Последовала истерия шпиономании, которая со временем переросла в длительную кампанию «борьбы с вредителями». В целом общественность колебалась от признаний разумности действий Советского правительства, не объявившего войну «подлейшим народностям мира» [Там же: 577], до заявлений отдельных рабочих о том, что «жестокая война должна быть объявлена, чтоб поднять настроение масс, ибо оно очень упадочное» [Там же: 574]. Все это облегчило поворот к коллективизации, успехи которой оказались более чем сомнительными. Судьбы примитивных систем связаны с психикой подданных.

С лёгкой руки теоретиков, мыслящих поверхностными аналогиями, да к тому же в рамках марксистской парадигмы, сталинский переворот принято рассматривать в рамках Термидора. При том подразумевается, что будущий «вождь всех народов» упорно готовился к этому загодя, проявив редкостное «коварство». Если во времена Ленина большевистская партия управлялась ЦК, а затем Политбюро, то Сталин сделал ставку на Оргбюро и Секретариат, с помощью которых долго воспитывал послушную себе номенклатуру. В любом случае Сталину, управляющему «новым классом» почти 4-миллионного (1926 г.) чиновничества [Статистическое обозрение 1928. № 5: 91][2], приписывается немыслимое могущество, которое и было использовано в наиболее подходящий момент.

На деле в постреволюционные годы власть встала перед задачей самосохранения в качестве эффективной управляющей силы. Для этого требовался слой решительных и преданных управленцев, способных частично заменить «старую гвардию», привыкшую решать по преимуществу разрушительные задачи. Поэтому появление сталинского выражения «орден меченосцев» не случайно – это был синоним номенклатуры, сформированной в 1923–1925 гг. под руководством В.М. Молотова и Л.М. Кагановича[3]. С другой стороны, номенкла-

[2] Данная цифра включает в себя служащих всех рангов, основная масса которых была к тому времени беспартийной.

[3] Задача была довольно сложной: подготовленных кадров не было; герои Гражданской войны на роль умелых проводников «дела партии» не годились по причине заражённости «партизанщиной», малограмотности и, возможно, избыточной эмоциональности [Пашин 2007]. И хотя образ идеального большевистского руководителя теоретически был известен, в конечном счёте ставку пришлось сделать на людей ограниченных и безынициативных [Богословская 2008].

тура выполняла те же «служилые» функции, что в своё время последовательно выполняли бояре и дворяне.

Между тем советские управленцы представляли собой невероятно инертную массу: с одной стороны, она механически принималась выполнять любое задание, с другой – качество исполнения было совершенно негодным для полновесного «переворота» на пути к социализму. К тому же, как видно из исследования венгерского историка Т. Крауса, Сталин принял окончательное решение едва ли не стихийно, под влиянием обстоятельств – история «подталкивает» деспотов на решения достаточно неожиданно [Краус 1997: 179–203], причём навязывает эту роль отнюдь не отпетым властолюбцам и честолюбцам.

Тем не менее принято стало считать, что коллективизация – дело рук едва ли не одного лишь Сталина, причём проводилась она на редкость целенаправленно. На деле на решительные меры Сталина подталкивало смятение среди части партийных ригористов. Ещё в апреле 1927 г. некий коммунист с 1917 г. направил «срочно» и «секретно» «всем членам Политбюро» письмо, в котором доказывал, что целый ряд факторов (приток крестьян в города и рост безработицы, слабое развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, расслоение деревни и рост антисоветских настроений) требуют решительных мер в деревне. Он отнюдь не предлагал той модели коллективизации, которая позднее была осуществлена [Письма во власть: 574–575], но подобные письма смущали власть: ясно было, что оголтелостью вконец перепуганных активистов может воспользоваться оппозиция. Именно в ситуации навязанного выбора оказался и Сталин – человек невероятно опасливый. Поэтому неудивительно, что на низовом уровне коллективизация приобрела весьма хаотичный характер и встретила не менее беспорядочное сопротивление крестьянства [Viola 1987; Peasent rebels under Stalin… 1996; Hughes 1996; Голос народа: 300–306]. Разумеется, пропагандисты не забывали и об угрозах со стороны мирового империализма, и о внутренних врагах, и о прорыве в строительстве социализма – но эта риторика уже успела стать стандартной [Кедров 2008: 79–81]. Со стороны местных начальников наблюдались случаи разнузданного самоуправства. Один из них, к примеру, заявлял: «Если не идёте в колхоз, нам ничего не стоит расстрелять 10 человек из сотни или поджечь вас с четырёх сторон…». Находились у них и «помощники». Так, в Тюменском округе пьяные коммунары убили одного единоличника, грозились перерезать остальных. Наблюдались даже стычки детей единоличников и колхозников [Голос народа: 288, 290, 291]. Коллективизация может рассматриваться как пародия на «красную смуту» 1917 г., сочинённую крайне неумело, но повлёкшую за собой разрушительнейшие последствия.

Деревня оказалась расколотой: одни заявляли, что колхозы – это «вздор и чепуха», другие готовы были обобществить и личные вещи [Кедров: 94, 91]. Все это напоминало гротескные сюжеты из «Котлована» А. Платонова, язык которого удивительно напоминает о вербальных потугах масс..

Историки практически отказались от оценки того, как наиболее забитая часть деревни отнеслась к идее коллективизации. В одном недавнем исследовании приводятся интереснейшие высказывания крестьян Европейского Севера на этот счёт. Помимо выражения лояльности власти путём воспроизведения пропагандистских клише прозвучали и высказывания о том, что «хорошую вещь придумали большевики», «теперь чувствую себя спокойно… партия и правительство худого нам не пожелают». Некоторые старики заявляли: «Хотел помирать, но жизнь впереди предвидится хорошая, объявляю смерти борьбу» [Там же: 91]. Последнее заявление звучит нелепо только на первый взгляд: в действительности оно напоминает о последней надежде измученного человека, что хотя бы один из экспериментов власти окажется удачным.

Сталин, похоже, приглядывался к происходящему, при случае был готов даже трубить отбой. Но власть сумела не только инициировать в городах движение так называемых двадцатипятитысячников, но зарегистрировать около 700 тыс. рабочих, выразивших желание выехать на фронт «колхозного развёртывания» [Голос народа: 284]. Город «помог» сталинскому походу против крестьянства. Власть, манипулируя людской массой, смогла выиграть и на сей раз.

Существовала ли реальная альтернатива коллективизации? Имела ли она под собой логическое основание? Как ни странно, да. Но при этом оценивать спонтанно формируемую оппозиционерами альтернативу следует не по внешним лозунгам, риторике и аргументации, а в связи с возможностью перехода общества в качественно иное – в том числе и политическое – состояние. Необходимо учитывать, что альтернатива складывалась стихийно на фоне идейно и теоретически разнородных меньшевистских и сменовеховских прогнозов, что придавало ей дополнительную убедительность. Если ход мысли оппозиционеров отделить от доктринёрской фразеологии, то выходит, что возможность дружного принятия ими антисталинских и даже антимарксистских решений была блокирована только одним – боязнью возврата к отношениям частной собственности [Краус 1997]. Именно это и обусловило поведение диктатора, который решился на «свой» поворот едва ли не с испугу.

Учитывая, что Сталин в вопросах теории был полный невежда, достаточно было серьёзного натиска на него со стороны его же, куда более интеллектуально продвинутого окружения, как СССР двинулся бы по пути, сходному с денсяопиновским. В то время этот поворот был бы поддержан и рабочими, и крестьянами, не говоря уже о массе интеллигенции. Этот момент следует иметь в виду, учитывая, что только он мог противостоять лживому соитию утопии с традицией на долгие годы.

В связи с этим так называемый сталинский Термидор стоило бы рассмотреть в системе качественно иных координат, но не в рамках борьбы за власть[4], а в системе многомерного столкновения традиционализма и модернизаторства. Идеи и доктрины играют в реальной жизни не детально-указующий, а сакрализующий характер.

В истории их «чистота» более чем относительна. На протяжении всей своей истории коммунистический режим только и делал, что приспосабливал старые, неуклонно вульгаризуемые марксистские догмы к своим тактическим шагам. Массы взирали на это вполне равнодушно.

Насколько недеспотичный Термидор был в СССР реален? Из новейших исследований настроений рабочих и особенно крестьян того времени видно, что массы (тогда отнюдь не миролюбивые) охотнее приняли бы именно его. Другое дело, что нетеррористический вариант предполагал бы отказ от идеократии. А этому власть в России не научилась до сих пор.

Не следует забывать и о том, что в условиях, когда власть ощущает свою неудачливость в реализации стратегического курса, на целенаправленный произвол ей решиться сложно. Для этого требуется к тому же эффективный репрессивный аппарат.

А тем временем народные низы по-своему реагировали на большевистские действия. В июле 1930 г. на Украине муссировались слухи о том, что председателями колхозов станут бывшие помещики (Сталин, надо заметить, связывал решение аграрного вопроса с появлением деловых «красных помещиков»). Там же со ссылками на Библию ходили пророчества о том, что через 42 дня после перехода к коммуне грядёт полномасштабный конец света. Помимо слухов-ужасов о порядках в грядущих колхозах судачили о том, что «от каждой женщины будут брать по 5 пудов волоса» неизвестно на какие нужды, «четырёхпудовых девушек будут отправлять в Китай», «коней заберут для евреев обрабатывать их землю». Кое-кто

[4] В частности, тема непрерывной борьбы за власть в большевистском руководстве пронизывает весьма содержательную книгу С. Палюченкова [Павлюченков 2008].

уверял, что красивых мужчин и женщин начнут насильственно спаривать в видах выведения улучшенной породы людей, но больше всего было разговоров о ширине (до 100 м) одного единственного одеяла, которым предстоит накрываться всем участникам свально-колхозного греха. В одной из местностей Средней Волги был пущен слух, что рабочие-двадцатипятитысячники направляются в деревню в видах женитьбы на дочерях крестьян. Как результат в одном селе к прибытию секс-посланцев дружественного класса-гегемона было за один день спешно выдано замуж 13 девиц [Кабанов 1997: 367, 368, 370–371, 382]. Чем более «высокие» цели ставили большевистские доктринёры, тем шире разливались волны абсурдных слухов, предрассудков и иррационального озлобления в традиционалистской среде. Даже немногие бедняки, для которых единоличное хозяйствование было бесперспективным, впадали в «распри и междоусобицы» на артельных собраниях «из-за недовольства условиями труда и своими неавторитетными руководителями» [Письмо заключённому оппозиционеру… 2007][5]. Масса в очередной раз утрачивала привычные социально-нравственные ориентиры, это порождало новые коллективные психозы.

Новейшие исследования вместе с тем обнаруживают, что часть деревни была настроена резко антикулацки, рабочие также склонны были приветствовать репрессии, но не против кулачества в целом, а лишь против самых «дурных» его представителей. Более того, и те и другие стали откровенно жалеть членов семей раскулаченных, особенно детей [Плотников 1998: 76–80]. Психологически повторялись ситуация борьбы против помещиков 1917 г. и некоторые персональные левацкие выверты времён «военного коммунизма». Раскулачивание сопровождалось гонениями против сельских священников, хотя кое-где они спешили объявить себя сторонниками коллективизации. Подобным образом поступали даже муллы, порой заявлявшие, что «Магомет был первым коммунистом» [Голос народа: 292–298]. Разнузданность низовых властей порой принимала совершенно дикие формы. Так, в марте 1930 г. на Урале руководитель коммуны «III Интернационал» инициировал стрижку волос у женщин, было насильственно острижено 100 представительниц прекрасного пола. Но, с другой стороны, в ряде и 0/4 мест население весьма активно воспротивилось закрытию церквей [Плотников 1998: 79, 83].

Власть не могла не реагировать на все это. Но теперь, сделав шаг вперёд, она ориентировалась на тех, кто психологически упреждал её планы. А таких хватало, причём среди образованных представителей нового поколения. «В какое чудесное время мы живём! – искренне заявлял один молодой человек в октябре 1931 г., изливая свои восторги на фигуру Сталина. – И эта огромная личность, руководящая этим строительством! Такие родятся разве в тысячи лет раз. Что перед ним Ленин. Предтеча. И что сравнительно с нашей революцией (должно быть, коллективизацией – *В. Б.*) – Октябрьская? Преддверье…» [Цит. по: Розенталь 1998: 109]. Так в сознании целого поколения вырастала исполинская фигура непогрешимого вождя, всякое деяние которого было заранее оправдано. Но в том-то и дело, что этот вождь вынужден был оставаться «марксистом», пусть и весьма своеобразным – иначе он терял точку опоры внутри партии. Всякий вождь – одновременно и вершитель судеб людей, и заложник собственной исторической судьбы.

О коллективизации и ужасах раскулачивания в последнее время написано много. Остались незамеченными, однако, некоторые весьма существенные детали. Во-первых, большевики наносили удар не только по крестьянству, а по собственности как таковой. Во-вторых, видимым антиподом тому и другому выдвигались пролетариат и индустриализация. В-третьих, эти акции объективно были рассчитаны на активизацию деревенской молодёжи, частично уже одураченной коммунистической образованщиной. Наконец, коллективизация

[5] Интересно, что данное письмо принадлежит человеку, в целом, безусловно, разделяющему социалистические идеалы.

ударяла по церкви (символично, что высылаемые кулаки часто размещались в церковных зданиях), причём находились вконец одуревшие люди, симпатизирующие всему этому. Ещё более показательно, что высшая власть ухитрилась снять с себя ответственность за всевозможные «перегибы», вовремя открестившись от творимых насилий и безобразий с помощью известной сталинской статьи «Головокружение от успехов». Итак, сакральные основания власти не слабели, а получали новые подпорки – пусть в форме молодёжной истерии.

Хотя афишированной целью коллективизации было «наступление социализма по всему фронту», обнаружилось, что государство не только не нуждается ни в каких естественно возникших примерах для подражания, но и стремится само спускать бюрократические образцы. Поражает в связи с этим, как злобно в ходе коллективизации партфункционеры набросились на коммуны безобидных толстовцев [ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2176. Л. 13 об. – 14]. Тем не менее традиционализм не только уцелел, но и стал переливаться в новые формы. В сущности, для Сталина коллективизация была не более чем попыткой насадить несколько десятков тысяч «красных» помещичьих латифундий под вывеской обобществления и движения к социализму. Строго говоря, он всего-навсего возрождал крепостничество. Ему попросту нужны были «социалистические помещики», умеющие управляться с крестьянами лучше, чем праздные «баре». Вероятно, ему казалось, что формальное разрушение общины и церкви усилит сравнительно с эпохой «военного коммунизма» мобилизационный эффект и несколько приблизит сельскохозяйственное производство к фабричному, отнюдь не лишившись при этом преимуществ страдного характера крестьянской жизнедеятельности. На деле был включён ещё один механизм хозяйственного развращения деревни.

Нечто подобное коллективизации предлагалось в карательной сфере. 12 апреля 1930 г. Г.Г. Ягода подготовил внутриведомственную записку, в которой предлагал «в условиях заключения сделать труд более добровольным», «превратить лагеря в колонизационные посёлки (выделено в документе. – *В. Б.*)» и вообще стремиться к уничтожению тюрем, дабы «быстрейшим темпом колонизировать Север». Посёлки «колонистов» должны были управляться комендантами – вот, собственно, вся разница между «малой» и «большой» зонами. Ягода мечтал, что «пройдут годы», и из посёлков расконвоированных «вырастут пролетарские городки горняков». Следовательно, «надо найти людей, которые увлекутся этой идеей и поставят на голову всю тюремную систему, которая прогнила до корней» [Дугин 1999: 8–9]. Можно вообразить, что главный тогдашний каратель был своего рода «идеалистом от насилия», стремящимся искоренить «буржуазные» его пережитки. Но нельзя не заметить, что он в сущности предлагал то, что уже практиковалось империями прошлого.

Характерно, что скоро наметилась тенденция к «социалистическому пуританству». Нэповские вольности стали по-отечески, но планомерно пресекаться уже в начале 1930-х гг. С другой стороны, в лагерях последовало неожиданное уничтожение прежних начальников-садистов, временное смягчение режима, доходящее до заигрывания карателей с сидельцами [Шмыров 1998: 77, 79]. Но это была лишь одна сторона медали. В сфере общегражданской последовали введение «гражданской» цензуры, «чистка» библиотек и даже запреты на однополую любовь и аборты (нечто подобное развернулось в Германии после 1933 г.). Семья предстала «оплотом социализма» вопреки всем предыдущим либертерианским заскокам [Вольфсон 1937: 233–234][6]. В августе 1932 г. был принят закон об охране социалистической собственности, по которому за хищение и порчу госимущества можно было запросто схлопотать «вышку». В сентябре того же года появились трудовые книжки, в декабре – введён паспортный режим.

[6] Показательно, что в выпущенной восемь лет назад книге автор утверждал обратное [Вольфсон 1929: 375].

Поразительно, но в глазах многих людей настоящий и будущий террор получал фантастичное объяснение. В дневнике педагога (причём женщины) 1 января 1932 г., т. е. задолго до Большого террора, появилась следующая поразительная запись: «…Пачками в центре и на местах снимаются… и арестовываются те, кто раньше арестовывал и допрашивал других… Боюсь, что за всем этим скрывается организованная мировая контрреволюция в лице все более наглеющего фашизма» [Цит. по: Розенталь 1998: 109]. Люди, в чьём сознании произошла столь невероятная инверсия понимания истоков насилия, могли согласиться на любые эксперименты над собой во имя «светлого будущего». В массах стало формироваться квазимарксистское представление о том, что в СССР стандарты личной жизни задаются самой историей и чем больше они подчинены интересам общества, тем интереснее становится сама жизнь [Hellbeck 2006: 349]. В условиях, когда в сознании людей творилось подобное, у власти оказались развязаны руки. И в данном случае надо поражаться не количеству «ошибок», совершенных ею, а радоваться тому, что она не наделала ещё более трагичных глупостей.

В «антисталинской» литературе принято считать, что голод 1933 г. был организован едва ли не сознательно, как месть за сопротивление крестьян коллективизации. При этом цифры жертв голода многократно преувеличиваются – до 20 млн. Новейшие исследования показывают, что на деле все было куда более нелепо: коммунистическая статистика преувеличивала размеры «скрытых» хлебных запасов у крестьянства, с одной стороны, не имела реальных представлений о катастрофичности неурожая 1932 г. – с другой. Крестьянство в России, учитывая, что один урожайный год компенсирует потери нескольких неурожайных, в прошлом действительно предпочитало придерживать зерно у себя, не торопясь продавать его (в этом одна из скрытых причин его «антирыночной» ментальности). Патерналистская практика помещиков, а затем и государства, наконец, политика «военного коммунизма» отучили крестьян подстраховывать себя от неурожая собственными запасами. Государство коммунистических доктринёров, со своей стороны, этого не учитывало, ибо склонно было преувеличивать «хитрость» крестьян. Последние, в свою очередь, привыкли на все аграрные эксперименты и фискальные чрезмерности власти реагировать однозначно – резать скот и сокращать производство. В результате случилось так, что и государство, и сельские труженики «обманули» друг друга и самих себя: первое осталось без предназначавшегося на экспорт зерна, вторые – без средств к существованию вообще [Дискуссия по докладу… 1998: 94–132].

Налицо один из типичных для XX в. случаев нестыковки ментальностей, приводящих к катастрофическим последствиям. Что касается представлений о сознательной организации голода, то они порождены архаичными предрассудками о целенаправленности и изощрённости злого начала: до организации столь масштабной изуверской акции тогдашние правители попросту бы не додумались, этому препятствовала и российская патерналистская традиция. Можно, разумеется, предполагать, что кое-кто из большевистских лидеров воспринял случившееся как утверждение «правоты истории» и почувствовал подобие злорадного удовлетворение по поводу мести «классу мелкой буржуазии». Но рассуждать о «геноциде против собственного народа» может лишь больной человек или бессовестный политикан, ибо патерналистская власть ощущала себя более уверенно, опираясь на импульсы насилия, идущие снизу, нежели на собственный карательно-репрессивный аппарат.

Власть, выросшая из хаоса, теперь пробовала дозированно использовать его для достижения социального контроля. Возможно, это наиболее примечательная особенность сталинского «большевизма».

* * *

Для коммунистических правителей всякий раз важно было убедиться в правильности «генеральной линии», человеческие издержки отступлений от которой скорее радовали, нежели пугали. И вновь им помогли массы, хорошо понимающие мимику власти.

Современникам, особенно россиянам, запоздало вкусившим этатизированной идеологии Просвещения, довольно трудно поверить, что в родном Отечестве могут разыгрываться спектакли средневековых времён со своими инквизиторами и еретиками. При этом последние готовы каяться добровольно.

В 1933 г. страна торжественно отмечала 50-летие смерти К. Маркса. Это вовсе не было рядовой юбилейной датой – праздновали «марксизацию» российской науки. Дело в том, что в Российской академии наук никогда не было философов – последние считались «вольными мыслителями», не подлежащими ограничению административными рамками. Теперь положение изменилось. 17 марта на общем собрании Академии наук СССР новоиспечённый академик Н.И. Бухарин в трёхчасовом докладе «К. Маркс и его историческое значение» прославил «овладевшую массами» теорию «красного доктора», но при этом отверг попытки «приклеить марксизму ярлык нового вероучения, вроде христианства, магометанства и т. д.». Возможно, он, как всегда, поступил не очень осмотрительно. Другой новоиспечённый академик, А.М. Деборин, в докладе «К. Маркс и классовая идеология современности», обругав фашизм и социал-фашизм, заявил, что «наша эпоха есть эпоха реализации гениальных прогнозов Маркса, Ленина, Сталина о конечных судьбах капитализма». В общем, получалось, что, отсекая всякие аналогии, новые элиты возрождали религиозные тропосы для утверждения коммунистической идеократии.

На следующий день в Отделении общественных наук среди прочих прозвучал и доклад академика А.С. Орлова «Переписка Маркса и Энгельса по поводу “Слова о полку Игореве”». В Отделении математических и естественных наук наряду с докладом В.Л. Комарова «Биология и марксизм», где учёный уверял, сколь плодотворное воздействие на его изыскания оказало знакомство с «Капиталом», прозвучал и доклад академика А.А. Чернышева «Основоположники марксизма о значении электроэнергии для развития новых общественных отношений». Оказалось, что и по части электрификации Маркс и Энгельс «предвидели основные контуры нашего времени» [Вестник Академии наук 1933: 15–16, 22, 23].

Учёные уровня академиков не упустили возможности творческого самоутверждения – не без показного смирения – перед лицом идеократии. Академик А.Н. Бах, в прошлом народник, почему-то счёл необходимым выступить со статьёй «Как и когда я стал марксистом», из которой, впрочем, невозможно было понять, стал ли он таковым вообще [Фронт науки и техники 1933: 123–124]. Представители творческих профессий в связи со смертью мнимого «учителя» явно старались пропеть осанну новой власти. Истинная победа варваров над одряхлевшей старой культурой наступает тогда, когда их воинственные ритуальные танцы удостаиваются академического статуса. С другой стороны, люди старой культуры получают шанс преодоления творческой (и личной) смерти через включение в общее магическое движение – как казалось, вперёд.

Что касается «рядовых строителей социализма», то в их головах творилось нечто невообразимое. Партийные пропагандисты учёностью не блистали никогда, но теперь они, похоже, просто одурели. Одни из них заявляли, что «наша партия вывернула II Интернационал наизнанку, он получил удар от большевиков и потерпел крах», другие поясняли, что «при империализме высоко развит труд, а денежки получает один». Неудивительно, что слушатели, со своей стороны, на вопрос «Что такое империализм?» отвечали: «…Это есть царь-император. Царь – высший капиталист, т. е. высшая стадия капитализма». Деятельность Ленина характеризовалась ими так: «Ленин шел по верхам, которые наметили Маркс и Эн-

гельс» [Общество и власть. Российская провинция. Т. 1. 2008: 602–604]. Естественно, что подобные «помощники» не могли не бесить главных «теоретиков».

Террористичность режима между тем отнюдь не обрела характера механической эскалации. Правители дозировали собственный революционаризм, ибо ощутили себя властью. Коллективизация, раскулачивание, карточная система сменились «неонэпом» – своего рода передышкой или собиранием сил перед Большим террором. В 1934–1935 гг. началось постепенное восстановление в гражданских правах раскулаченных, их детей стали принимать в вузы. Знаменитая фраза Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее» вовсе не относится ни к числу издевательских, ни натужно-оптимистичных. Под ней таилось известное облегчение власти от ощущения того, что самое трудное позади – к конкретным жизненным реалиям она никакого отношения не имела. Более того, поскольку коммунистическим правителям и в дальнейшем суждено было жить в тяжёлой атмосфере постоянного ожидания худшего, они с некоторым облегчением отдали «долг народу». Поводов для этого оказывалось более чем достаточно. Соответственно ситуации и представлениям о собственной свободе манёвра власть применяла то кнут, то пряник.

Но существовала ещё одна проблема: надо было придать коллективизации вид классовой борьбы, в которую активно включилось юное поколение. Так родилась легенда о пионере Павлике Морозове, якобы из идейных соображений не пожалевшего родного отца. Всё было куда проще – сбивчивых показаний мальчика для следователя оказалось достаточно, чтобы осудить его отца, запутавшегося и в хозяйственных, и в личных делах. Убийство братьев Морозовых носило чисто уголовный характер, как и расправы на Урале с ещё несколькими пионерами, что и было признано местными прокурорами. Этому не приходится удивляться: таковы были жуткие нравы в тогдашней среде раскулаченных и ссыльнопоселенцев. Между тем рьяные уральские комсомольские руководители нуждались в образе «классового врага» – как результат, погибшие дети были объявлены жертвами «кулацкой мести» [Там же: 564–567]. Образ оказался настолько устойчивым, что во времена перестройки несчастный Павлик Морозов усилиями новых публицистов, столь же бесцеремонных, как комсомольцы прошлых лет, был превращён в сознательного стукача и коммунистического отцеубийцу. Власть, стремящаяся стать абсолютной, нуждается во врагах инфернального пошиба – особенно когда она сама постоянно совершает нелепые деяния.

Уже в 1936–1937 гг. сельское хозяйство вновь поразил недород, возникли перебои с продовольствием. В народе стали ходить легенды о бесхозном мешке с хлебом на дороге, который, однако, «никак нельзя взять», о луже крови и «женщине в белом», символизирующим войну и смерть. С конца осени 1936 г. и до уборки урожая 1937 г. отдельные районы страны посетил голод, отмечались факты поедания суррогатов, дохлятины, смертные случаи составили не один десяток. В перлюстрированных письмах встречались антисоветские и антисталинские высказывания, кое-кто считал, что «царь Николай был дурак, но зато хлеб был пятак», кто-то заявлял, что, «если руководил бы Троцкий, то он руководил бы лучше Сталина» [Осокина 1998: 92–93; Fitzpatrick 1994: 295]. К сожалению, Е.А. Осокина, приведя эти высказывания, даже не попыталась выяснить, как они соотносятся с господствующими в то время представлениями народа о власти. Ш. Фицпатрик, со своей стороны, склонна преувеличивать масштабы недовольства крестьян Сталиным [Fitzpatrick 1994: 308–312]. Очевидно, что люди на сей раз не бунтовали, а жаловались и просили о помощи. А поскольку в народе циркулировали слухи о том, что хлеб вывозят то в Испанию, то в Китай, власти надо было найти подходящих виновников. Исследователи, к сожалению, не обращают внимания на настоящую истерию поиска «вредителей», которая поразила в это время верхи. Власть боялась народа, а потому в очередной раз пыталась навязать ему «внутреннего врага».

В России всегда трудно установить формальную связь между инициативами низов и теми или иными шагами властителей. В любом случае система обратной связи действовала. Следует помнить, что предрепрессивный период был временем стахановского движения, «преобразования природы», женщин-общественниц, пуска лучшего в мире метро, челюскинской эпопеи, полётов в стратосферу и через Северный полюс в Америку, непременных «рекордов» и «соревнований» буквально во всех областях жизни под лозунгом «догнать и перегнать!». Некоторые исследователи резонно считают, что именно через стахановское движение шла незаметная сталинизация всего общества [Maier 1990]. Разумеется, стахановцев и ударников простые «работяги» невзлюбили, но это лишь подхлёстывало новых пассионариев, с помощью которых и стали меняться общесоциальные представления о времени, пространстве и совокупных человеческих возможностях.

Отголоском данной тенденции стало поветрие новых имён – не только Трактор, Индустрий или Пятвчет (Пятилетку в четыре года), но и Октябрина, Сталина или Лентрош (Ленин, Троцкий, Шаумян), а в порядке крайностей, игнорирующих элементарное благозвучие, даже Винун (Владимир Ильич не умрёт никогда), Дележ (Дело Ленина живёт), Лелюд (Ленин любит детей), Статор (Сталин торжествует) и Оюшминальд (Отто Юльевич Шмидт на льдине). Хватало, разумеется, и «иностранных» – «красивых» и «интернационалистских» имён. По некоторым данным, число революционно-обновленческих имён составляло около 5 % от новорожденных, что как будто не столь много. Но важно заметить, что подобные инициации, естественно продолжавшие большевизированные переименования городов, фабрик, заводов и т. п., захватывали преимущественно семьи интеллигентов первого поколения [Ирошников, Шелаев 1998: 7–8], т. е. можно говорить о достаточно устойчивой тенденции к ритуализации идейных импульсов Октября. Правда, в это же время пышным цветом расцвёл политический анекдот, но он, по-видимому, играл компенсаторную роль, являя собой часть известного рода «богохульства» истово верующих и неофитов. Широко практиковалось также идущее из 1917 г. награждение знамёнами целых производственных коллективов и присвоение им (коллективному человеку) революционных имён, среди которых были и те, что давались в честь групп расстрелянных и повешенных белогвардейцами коммунистов и простых рабочих и крестьян. Но наибольшее распространение получили митинги и массовые шествия (демонстрации), приуроченные к тем или иным революционным датам. Новейшие исследования подтверждают, что в ритуальной своей части они воспроизводили структуру крестных ходов [Глебкин 1998: 94–97]. В сущности, ценностная иерархия традиционной культуры не столько менялась, сколько наполнялась новой лексикой. Вместе с тем в ней оживали подвижнические компоненты.

Народу упорно навязывалась психология жертвы во имя будущего, и он это принимал. Более того, обнаружился и вовсе невиданный феномен: отдельные представители молодого поколения (в том числе и из семей репрессированных) ощутили свою своеобразную нравственную недостаточность сравнительно с тем «идеальным» новым человеком, которому суждено было строить будущее. Иные граждане активнейшим образом «работали над собой», дабы совершенствовать себя, а не власть, перед вратами коммунистического рая [Хельбек 1997]. Их личная жизнь непроизвольно стала подгоняться под тот ритм (от пятидневок до пятилеток), который небезуспешно навязывали им вожди.

Авторы, до сих пор мучащиеся изжогой материалистического метода и потому готовые виться ужом ради доказательства «вынужденного» характера российского насилия, явно или скрыто пытаются убедить, что сталинский «социализм» мог быть «лучше». Пожалуй, наиболее «хитрый» из используемых при этом приёмов связан с идеей «чрезвычайщины» – использование особой, патерналистской формы российской репрессивности редуцируется до вынужденного применения властью крайних – разумеется, временных – мер. Понятно, что

при этом изыскиваются самые неожиданные факторы, в силу обнаружения которых у власти якобы не оставалось ни выбора, ни времени на размышление. Так, в одной из работ известный популяризатор перестроечных времён утверждал, что в связи с приходом Гитлера к власти в Германии «и во внутренней (не говоря уже о внешней. – *В. Б.*) политике сталинского руководства намечаются попытки упрочения политического режима, как это ни парадоксально, путём освобождения его от тех крайностей, которые затрудняли обретение нового положения в Европе…» [Бордюгов 1999: 42]. Попросту говоря, усатый тиран, убоявшись «бесноватого ефрейтора», принялся кокетничать с западными демократами. Слов нет, сталинский режим был весьма заинтересован в благопристойности собственного имиджа. Но в связи с приходом Гитлера к власти ему беспокоиться на этот счёт не приходилось – в глазах западных политиков он автоматически становился «лучше». Отступление от крайностей коллективизации было генетически заложено в советской системе. Последняя оставалась патерналистской даже в крайностях своей репрессивности – «вынужденная» суровость тех или иных акций должна была постоянно подтверждаться умением миловать. К тому же государственные органы оказались к 1933 г. до такой степени завалены жалобами на крайности массовой коллективизации и голодные последствия введения карточной системы, что власть просто не могла не отреагировать на это так называемым неонэпом.

Революция обретает своё конечное лицо не в связи с политическими переворотами и идеологиями, а в ходе самоутверждения поколения, наиболее остро испытавшего её бытовое протекание на своей неокрепшей психике. Проще говоря, финальный акт революции наступает тогда, когда подросшие дети воспроизводят на ином социальном уровне те образцы поведения, которые они некогда подсмотрели у разъярённых предков в годы «красной смуты».

Парадоксально, что в обыденной жизни люди 1930-х гг. жили вовсе не террористическими реалиями. Люди образованные, полагая, что в мире существуют только две силы, которые противостоят друг другу, – фашизм и коммунизм, изыскивали в последнем положительные черты. Их вдохновлял не только проект новой Конституции, но и «перерождение преступников на работах Беломоро-Балтийского канала» или «замечательная» книга Макаренко «Педагогическая поэма». При широком обсуждении книги один рабочий даже высказался, что, читая поэму, завидуешь воспитанникам Макаренко и сожалеешь, что сам не беспризорник» [Разговор через решётку… 1992: 507–508, 511]. Люди ощущали себя не в «большой тюрьме», а в естественной социальной среде, где личность для её же блага растворяется в коллективе. В принципе эта психосоциальная ситуация обычна для доисторических обществ, где худшим из наказаний является изгнание из племени. Сегодня кажется невероятным, но в те времена само государство порой сдерживало столь архаичные формы социализации: в середине 1930-х гг. был утверждён план реконструкции Москвы, согласно которому на Юго-Западе столицы планировалось строительство жилого массива – прообраза коммунистического города будущего, где каждой семье полагалось по отдельной квартире, а её члену – по комнате. Удивительно, но сталинским крепостникам хотелось, чтобы их рабы походили на западных людей.

Но для витализации «мертвящей» командной системы этого было мало – она нуждалась в основательной доле животного оптимизма. Поэтому неудивителен и «культ тела», который в своё время столь впечатлял западных интеллектуалов, и всевозможные празднества и торжества – от мессиански-революционных до ситуационных, посвящённых то спасению челюскинцев, то чкаловскому перелёту в Америку [Булдаков 1993]. И «простому советскому человеку» никогда не приходило в голову, что участие в «праздничных» ритуалах – это всего лишь оборотная сторона все такого же искреннего «всенародного» осуждения «врагов народа», пугающий образ которых помогал власти оставаться Властью.

Совершенно не случайно то, что «всенародное» обсуждение сталинской Конституции 1936 г. выявило два основных компонента социальных ожиданий: всевозможные послабления людям лояльным, которых становилось все больше; значительное расширение круга гражданских обязанностей перед государством. Но требовалось и другое: зачистить социальное пространство от тех, кто не вписывался в него или «мешал».

* * *

В настоящее время литература, посвящённая Большому террору, насчитывает десятки названий. В общем, приходится поражаться, до какой степени плаксивость, недоумение, озлобленность определяют её облик. Среди них преобладает гулаговская статистика [См.: Яковлев 1955; Bunyan 1967; Гиляров, Михайличенко 1990; Земсков 1991; Он же. 1997; Он же 2009; Детков 1992; Jacobson 1993; Getty, Rittersporn, Zemskov 1993; Bacon 1994; Stettner 1996; Красильников 1997; Werth 1997], системного анализа явления не просматривается, региональные исследования появляются только в последнее время [См.: ГУЛАГ в Карелии, 1930–1941, 1992; Еланцева 1995; Кириллов 1996; Гвоздкова 1997; Морозов 1997; Бердинских 1998; Годы террора 1998]. При этом исследователи, похоже, ни в чем так не единодушны, как в приписывании инициативы террора 1930-х гг. исключительно злой воле Сталина[7]. Среди многих объяснений причин террора, включая самые экзотические, рассчитанные на обывателя, вроде «обиды» диктатора на оппозицию, разлучившую его с женой-самоубийцей[8], выделяется попытка связать её с борьбой против «бюрократической клановости» [Тоталитаризм в Европе… 1996: 77]. В истолковании феномена ныне преобладает хозяйственный аспект [Иванова 1995; Она же 1997].

Даже зарубежные исследователи, пытавшиеся выявить «объективные» предпосылки террора [Stalinist Terror 1993], не рискнули сделать вывод, что террор оказался органически связан с агрессивным утверждением новой (точнее, возрождением старой) патерналистской парадигмы власти, в котором ему косвенно помогли и сами большевики, озверело набрасывающиеся друг на друга в связи с отступлениями от (неведомо какой) «генеральной линии партии», и особенно народ, которому психологически необходим был ритуал наказания тех, кто, по его представлению, допустил «перегибы» коллективизации и карточной системы. «Сталинский» террор в своих психосоциальных основах стар, как мир; все дело лишь в масштабах, они же вполне соответствуют грандиозности «красной смуты». Для его осуществления Сталину вовсе не обязательно было персонально являться параноиком; достаточно было массовой социальной паранойи, которую в состоянии был теперь направлять и более слабый харизматик. Тем не менее современное общественное сознание все ещё пробавляется обсуждениями неосталинистских версий о всевозможных «заговорах» против «вождя», даже не задумываясь о том, что в те годы взаимная подозрительность ставила в ряды злоумышленников всякого, кто прямо или косвенно бросал тень на сакральность власти или нарушал её новую орденскую иерархию. Всякий, кто рискнёт заговорить сегодня о психосоциальной

[7] Новейшая отечественная литература, посвящённая выявлению причин «сталинского» террора, огромна. В целом все авторы пытаются решить проблему в рамках схемы «борьбы за власть». Из последних исследований такого рода привлекает внимание разве что работа О.В. Хлевнюка [Хлевнюк 1996]). Основная же масса публикаций, чрезвычайно бедных новыми источниками, производит впечатление бесконечного толчения воды в ступе, порой с редкостным апломбом – в данном случае можно говорить о простой коммерциализации темы [см.: Роговин 1996а; Он же 1996б]. Единственное «открытие», которое удалось сделать в работах такого рода, связано с констатацией факта, что Сталин избавлялся от коммунистов, которые не вписывались в систему его представлений о власти. Но это и без того ясно даже западным авторам, не имевшим возможности рыться в архивах КГБ [Malia 1994: 255–257].

[8] Эта версия, выдвинутая известным литератором Э. Радзинским [См.: Радзинский 1997], склонным изыскивать во всех поворотах истории альковные тайны, усердно пропагандировалось на телевидении.

неизбежности усиления репрессивности режима, рискует оказаться невольным защитником «палача». Террор – это своеобразное зеркало социально-исторического подсознания, вглядываться в отвратительный лик которого не желает никто. Между тем общество, не признающее своей собственной косвенной ответственности за случившееся, лишается естественного противоядия против его рецидивов.

Во всей своей деятельности Сталин исходил из тех или иных исторических «стандартных ситуаций», скажем, борьбы Ивана Грозного против «изменников-бояр», как «марксист» полагая, что на новой формационной ступени он производит аналогичную «революционную» работу. Но все это преломлялось в его сознании сквозь призму межпартийной и внутрипартийной борьбы времён Ленина. При этом Сталин, вполне не понимавший смысла прошлой борьбы или спускавший её на обыденный уровень, склонен был решать все проблемы, опираясь на исторически мифологизированный террористический опыт Гражданской войны – время своего властного возвышения. Не случайно одним из ключевых слов из обвинительно-репрессивного жаргона тех лет стало слово «троцкист». Если «вредитель» и «враг народа» выступали как термины инфернально-безличного ряда, то «троцкисты» и другие «предатели» представали персонифицированными воплощениями исторически известных фигур раскольников и изменников[9]. Троцкий, безусловно, лучше всех годился на роль нового Курбского.

Другое дело, что общий замысел Большого террора был доведён до поистине инфернального абсурда его исполнителями – в очередной раз «бюрократический радикализм», соединившись с глупостью и озлоблением чиновничества, породил не просто трагические, но и разрушительные для системы последствия.

Новейшие исследования Большого террора помогают кое-что прояснить и в его внутренних закономерностях. Считается, что за два года было уничтожено 70 % состава ЦК ВКП(б), 87 % высшего командно-политического состава РККА, почти половина командного и начальствующего состава армии, от командира полка и выше, практически всё старое «доежовское» НКВД [Известия ЦК КПСС. 1989. № 3: 137; Военно-исторический журнал. 1990. № 2: 21–24; 1993. № 1: 56; Вопросы истории КПСС. 1991. № 6: 8; Исторический архив. 1994. № 1: 68]. Кого уничтожал Сталин? Тех, кто таил в себе потенциальную угрозу для системы – «идейную» и «силовую». Полностью застрахованными от репрессий оказались только люди из ближайшего окружения Сталина, слепо преданные ему. Таковых оказалось в конечном счёте немного: К.Е. Ворошилов, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, Л.П. Берия, А.А. Жданов. Даже «проштрафившимся» Н.И. Ежовым, считавшимся в народе «неуязвимым», пришлось пожертвовать.

С жертвами террористической волны против «классово чуждых элементов» ситуация была сложнее. Возникает вопрос: кого охотнее отправляли на расстрел? И тут выясняется, что, если в среднем «тройками» приговаривалось к высшей мере наказания почти 50 % арестованных, то по «национальным» делам – 71,3 %. При этом процент расстрелянных по «польской линии» (самой крупной) был много выше этой цифры. Оказывается, что из массы всех осуждённых поляков в период с 25 августа 1937 г. по 15 ноября 1938 г. было расстреляно 79,4 % всех осуждённых. Обнаруживается при этом, что суды и трибуналы выносили «польским шпионам» смертные приговоры даже более охотно, чем «тройки». По греческой, финской и эстонской линиям ставили к стенке с ещё большей лёгкостью [Репрессии против поляков… 1997: 33, 40].

Наиболее масштабной оказалась так называемая кулацкая операция, начатая по приказу № 00447 летом 1937 г. Причина её очевидна: введение всеобщего избирательного права со-

[9] Судя по всему, «троцкист» понимался ещё и как суетный индивидуалист: во всяком случае, именно так уверенно характеризовал Хрущева Каганович [Каганович 1997: 563].

гласно новой Конституции СССР требовало тотальной зачистки социального пространства, устрашения общества и переструктурирования управленческой системы. Отличительной чертой террора 1937–1938 гг. был его плановый характер – начальные импульсы исходили из центра, доносы сыграли относительно небольшую роль, зато низовые карательные и партийные органы получили возможность превзойти лимиты и тем самым продемонстрировать свою преданность системе[10]. Репрессии этого времени получили название Большого террора, что вряд ли вполне справедливо: акции 1929 г. и 1940-х гг. были масштабнее, приговоры по так называемым национальным операциям были более жёсткими. В глазах участников репрессий карательные действия против 1 % населения также вряд ли казались значительными. «Большим» террор мог показаться в связи с «открытыми» процессами, вызвавшими шок у политической элиты страны. А между тем для власти куда важнее было избавиться от кулаков, уголовников и «социально опасных и вредных» элементов – за спиной «открытых» процессов стояла действительно масштабная зачистка социального пространства.

В целом выполнение приказа № 00447 приобрело черты типичного для того времени соцсоревнования, в ходе которого местные органы усердно демонстрировали своё рвение, поспешно выбирая всех «лишних». При этом сравнительно с репрессивными акциями предыдущего периода доказательство вины приобрело формальный характер, ещё более заметным стало стремление к раскрытию всевозможных «заговорщических групп», «контрреволюционных» и «шпионских» организаций. Повсеместно появились «встречные планы» – готовность местных чекистов и партийных руководителей превысить спущенные сверху «лимиты». Обнаружились и настоящие «стахановцы», происходило неуклонное втягивание в террор с помощью различного рода поощрений широкого круга служащих карательных органов. Поскольку террор осуществлялся крайне поспешно, на местах, несмотря на угрозу наказания, шла повальная фальсификация социального состава репрессированных – он должен был максимально соответствовать указаниям вышестоящих организаций. В ряде случаев террор оборачивался против самих чекистов: их могли расстрелять как за «саботаж» (недостаточное усердие), так и за нарушения «социалистической законности».

Поскольку «раскулаченным» было трудно предъявить новое убедительное обвинение, им на сей раз инкриминировался широкий круг преступлений – от контрреволюционности до шпионажа. Разумеется, была масса нарушений тогдашней «законности» – под видом кулаков расстреливали лиц, просто неугодных местным властям, или портящих облик «социализма» «бомжей». В общем, наиболее рьяно уничтожали «белогвардейцев» (практически 100 % обвиняемых), на втором месте, как ни странно, оказались «церковники». Побочные последствия Большого террора оказались неожиданными: немилицейская форма борьбы с преступностью оказалась крайне неэффективной, в число арестованных попала масса осведомителей. Если до 1937 г. мелких преступников отпускали для того, чтобы сберечь рабочую силу на производстве, то теперь на ряде предприятий попросту некому оказалось работать. Как итог, преступность стала более скрытной и изощрённой, но её масштабы отнюдь не уменьшились.

В общем, в выполнении приказа № 00447 обнаружились элементы явного «вредительства». Поскольку в результате деятельности палачей-стахановцев планы «раскулачивания» оказались бессмысленно превышены, в 1939 г. репрессии пришлось сворачивать – в этом году было арестовано «всего» 44 731 человек, т. е. в 15 раз меньше, чем в предыдущем [Репрессии против поляков…: 83]. И в связи с этим тоже рождались легенды.

[10] По вопросу о происхождении и технологии Большого террора существует огромная литература. В основной своей массе она не содержит ничего, кроме страхов и «разоблачений» – чаще показушных. Как ни странно, наиболее взвешенной работой о смысле происходившего следует считать небольшую «популярную» статью Л. Максименкова [Максименков 2007: 28–31].

Как известно, в своё время с понятной целью была запущена пропагандистская утка – от «сталинских» репрессий больше всех пострадали сами чекисты. Действительно, ключевой фигурой насилия стал теперь не заурядный насильник-садист, а иной типаж – нечто вроде «полуслепого» карателя-жертвы. Правда, среди палачей оказывались «ударники», самолично расстрелявшие по тысяче человек, но истинным палачом была система, карательная машина которой нуждалась в кровавой смазке внутренних частей своего механизма. Внутричекистский террор был совершенно изоморфен общему репрессивному процессу: НКВД последовательно очищался от представителей «чуждых классов», «враждебных партий», представителей «иностранных национальностей» (поляков, немцев, латышей). Столь же естественно, что их сменили лояльные и малообразованные «рабочие» и «крестьяне» весьма юных лет – русские, украинцы и, естественно, грузины. Но оказывается при этом, что среди руководителей НКВД непомерно возрос в 1938 г. удельный вес чекистов с «неблагополучным детством» – из неполных семей, беспризорников, детдомовцев и т. п.

Известного рода представления о тех «неисчислимых потерях», которые понесли от сталинского террора «доблестные» чекисты, сильно преувеличены. Чистки в НКВД были не столь жёсткими – сравнительно с «качеством» его кадров. О собственно внутриведомственном терроре можно говорить лишь применительно к 1937–1939 гг., причём пик его связан с четырьмя месяцами 1938 г. и первым месяцем 1939 г. [Петров, Скоркин 1999: 494–500]. Из общей массы чекистов в это время аресту подверглись около 14 %, что ниже удельного веса репрессированных среди военных и партийных работников того же уровня.

Кого же из чекистов арестовывали в это время? Оказывается, половину составляли русские и украинцы, почти треть – евреи, среди остальных – одиночные представители армян, белорусов, латышей, поляков, немцев. В общем, можно сказать, что здесь проявляли себя те же тенденции, что и в иных особо важных для системы ведомственных сферах.

Поражает невероятно низкий образовательный уровень чекистского начальства. Оказывается также, что непропорционально велик был удельный вес лиц, пришедших в ВЧК–НКВД из армии – как дореволюционной, так и Красной. Они и делали поистине головокружительную карьеру в большевистских спецслужбах. Встречаются удивительные судьбы. Так, человек по фамилии Марсельский был родом из чувашской деревни. Он, впрочем, окончил ещё до революции городское высшее начальное училище, в 1917 г. – школу прапорщиков, а в 1920 г. – высшую школу РККА и курсы марксизма-ленинизма. Начинал он чекистскую деятельность в Чувашии, затем работал в экономических, дорожно-транспортных и контрразведывательных подразделениях НКВД Восточной Сибири, Казахстана, Урала и Крыма. С 1943 г. – генерал-майор, был награждён семью орденами (включая два Красного Знамени, два – Отечественной войны 1 степени, один – орден Ленина). Был уволен в запас из МГБ в 1948 г., с 1951 г. – пенсионер, окончил свой жизненный путь в 1972 г. в Ялте [Там же: 290–291].

Также дослужившийся до генеральского звания другой орденоносец М.И. Маркеев хотя и отличился в деле «советизации» западных областей Украины и Белоруссии в 1939 г., был уволен из МВД в 1954 г. «по служебному несоответствию». И это несмотря на то, что, по некоторым данным, его ещё ранее увольняли «за провал порученного дела и необоснованные аресты граждан» [ГУЛАГ: Его строители, обитатели и герои 1999: 101].

Е.И. Кашкетин (Скоморовский) в 1936 г. был отстранён от работы в НКВД в связи с диагнозом «шизоидный психоневроз». Несколько позднее он тем не менее «прославился» как организатор операции по усмирению зэков на Воркуте и Печоре. В 1938 г. в результате «кашкетинских расстрелов» погибли более 6 тыс. протестующих зеков. Сам палач был приговорён к смертной казни 8 марта 1940 г. [Там же: 65–66].

Какие социальные слои оказались слабо представлены в руководстве НКВД? Обнаруживается, что практически отсутствуют выходцы из дворянского и духовного сословия. Ясно, что ни то ни другое не афишировалось – в противном случае появлялись дополнительные шансы на то, чтобы, скажем, разделить судьбу дворянина и анархо-коммуниста В.А. Кишкина, расстрелянного в феврале 1938 г. в качестве «троцкиста», или сына чиновника и недоучившегося студента физико-математического факультета МГУ В.М. Сперанского, приговорённого к высшей мере наказания в апреле 1940 г. [Петров, Скоркин 1999: 231–232, 392–393].

Наряду с этим при всем «интернационализме» чекистов среди них практически не было мусульман (за исключением немногих азербайджанцев), а также представителей народов Поволжья (лишь один упоминавшийся). Отнюдь не всех представителей «иностранных национальностей» ожидала участь агентов «вражеских разведок». Так, Ф.Д. Ульрик, в годы Первой мировой войны эвакуировавшийся с семьёй в Петроград, где в 1917 г. числился безработным и членом партии анархо-коммунистов, в июне 1936 г. был приговорён к пяти годам лагерей «за систематическое пьянство, хищения, растраты и подлоги» [Там же: 414-415]. Правда, последующая его судьба неизвестна.

Лиц, подходящих под хрестоматийные параметры основателя ведомства Ф.Э. Дзержинского, в НКВД 1930-х гг. нет. О чем это говорит? Вывод может быть только один: в 1930-е гг. вольно или невольно происходил отбор такого кадрового состава, который был лишён традиционных нравственно-психологических сдержек для грязной работы.

НКВД, особенно его гулаговская часть, пополнялась настоящими подонками общества. Так, в 1937 г. сами руководящие работники ГУЛАГа публично заявляли, что их кадровый состав пополняется за счёт людей «спившихся», в августе 1938 г. это связывалось с действиями «вредителей». В начале 1938 г. на руководящие должности в лагеря было направлено свыше 3 тыс. коммунистов и более 1 200 выпускников вузов. В 1939 г. из оперативного состава НКВД было уволено 7 372 чел., в том числе из центрального аппарата – 695. Пополнение за это же время составило 14 500 чел. На работу в центральный аппарат поступило 3 460 чел. [ГУЛАГ…: 88, 85–86, 83]. Но вряд ли это принципиально исправило положение.

Гулаговская система также представляла собой если не воплощение первобытных страхов, то перманентного недоумения. Особенностью её было то, что в отличие от гитлеровских концлагерей большинство его узников не могли понять, за что они страдают. Более того, от них хотели, чтобы они радовались[11]. К тому же в них смерть была как бы побочным или даже «случайным» продуктом наказания, но вовсе не его целью. Неясность вины и неопределённость конечной кары – это знак не только ГУЛАГа, но и всей советской системы, так или иначе мистифицировавшей соотношение преступления и наказания[12].

Не приходится удивляться, что «порядок» ГУЛАГа для многих сидельцев оказывался предпочтительнее колхозной «воли». Даже в 1950-е гг. некоторые лагерницы-крестьянки сожалели, что не могут отправить хлеб, который «каждый день дают», своим голодающим, но «свободным» (по-колхозному) детям [Эпплбаум 2006: 215]. В целом колючая проволока не просто разгородила социальное пространство СССР на «свободных» и «заключённых». Следовало бы подумать, какой след нравы гулаговцев оставили в социально-исторической психологии подданных коммунистической империи. Известно, что официальная пропаганда писала о том, как «счастливы (в лагерях. – *В. Б.*) наши чудесные дети» [Там же: 306], а тем вре-

[11] В. Буковский вспоминал об этом так: «В наших лагерях тебя хотели сделать не просто рабом, но таким, который поёт и улыбается во время работы. Им было мало нас давить – они хотели, чтобы мы их за это благодарили» [Цит. по: Эпплбаум 2006: 237].

[12] К сожалению, новейшая история ГУЛАГа пишется по формальной схеме: от мест перевоспитания к лагерной экономике [Иванова 2006].

менем выяснялось, что выжившие юные узники ГУЛАГа безнадёжно отставали в своём развитии и уже не понимали, что такое дом и семья [Там же: 307–308, 310]. Часть из них превращались в маленьких монстров, пополняющих взрослое преступное сообщество [Там же: 315–316].

ГУЛАГ был органической частью советского строя. Вряд ли простые люди видели в лагерной системе что-то нарушающее «естественные» для СССР человеческие права. Лагерники, в свою очередь, привыкали к перманентному унижению и такой принудительной трудовой деятельности, когда понятие обязательности (вполне совместимое с христианской этикой) оказывалось неуловимо размыто принципом подневольности. Ну а советские руководители, разумеется, были убеждены, что они всего-навсего выполняли и перевыполняли «начертанные партией» грандиозные народнохозяйственные планы [Там же: 267], ибо даже в специальных детских лагерях широко пропагандировали труд «стахановцев» [Там же: 314]. Революционный террор закономерно обернулся советским вариантом крепостничества.

Реальную историческую загадку представляет, однако, не проблема сталинского террора, а феномен отечественной «солидарности с террором» в советском воплощении. А это касается уже особенностей коммунистической харизматики. Дело в том, что до поры до времени в образе Сталина нельзя было рассмотреть ничего возвышающе-героического. Некий анонимный член партии, «рабочий от станка», в 1927 г. писал Сталину: «Троцкий борец, он сила и честный член партии… При таком гнилом ленинизме, занятом Вами, мы скоро свалимся» [Письма во власть: 605]. И вот этот самый человек поразительно быстро стал превращаться в нечто противоположное. Очевидно, Сталину приходилось изначально учитывать инерцию негативных представлений о себе самом, преодолеть их в одночасье было невозможно. Здесь, как и во всем, он действовал как заурядный эпигон, умеющий, однако, своеобразным «верхним чутьём» выдрессированного революцией животного улавливать общественные настроения и предрассудки. Так или иначе, он понял, что жажда равенства и гипноз новизны связаны с деспотизмом незримыми узами, ибо бывшего раба к непривычной свободе непременно кто-то должен вести. Исследователи до сих пор не принимают во внимание эти особенности примитивной, едва ли не животной, но в данной исторической ситуации вполне функционально действующей психики Сталина.

Социализм стал строиться средневековыми методами. Ничего удивительного: в бездну прошлого люди проваливаются именно тогда, когда нерасчётливо пытаются запрыгнуть в будущее.

* * *

Любопытно в связи с этим превалирующее отношение к самой личности Сталина: никто не усомнится в его воле и уме. Это типичный отголосок фетишизации власти, похоже, ничуть не изжитый. Критические эпохи выдвигают людей вовсе не по их лучшим качествам, тем более не тех из них, которые импонируют интеллигентным обывателям (эгоистично требующим покровительственного отношения к ним самим и подавления тех, кто их чем-то не устраивает), а напротив, по девиантным личностным параметрам, выпадающим из общепринятой нормы. Похоже, что Сталин в полной мере смог использовать этот архаичный феномен. Но как ему это удалось? По своим интеллектуальным качествам «вождь» был более чем зауряден; обычной полемики людей образованных он не переносил (отсюда привычка отвечать на схоластические вопросы специалистов объёмистыми письмами-статьями); многих элементарных вещей он попросту не понимал, а потому предпочитал до поры до времени помалкивать или «мудро» популяризовать банальности. Сталина постоянно преследовал страх от сознания собственной неполноценности: ранее он подавлялся близостью людей, не знающих сомнений, теперь он усугублялся тяготами свалившейся на него ответственности.

Поэтому он действовал не соответственно авантюристичному и наглому меньшинству, а следуя пассивному и осторожному большинству, что, разумеется, выдавалось за мудрость.

Как ни странно, Сталину помогла его собственная закомплексованность. Человек, сызмальства ощущавший собственную ублюдочность, способен был только подражать людям, которые интеллектуально стояли выше его. Определяющей чертой его характера было стремление преодолеть неуверенность в себе, что было изоморфно общественному умонастроению 1920–1930-х гг. Не случайно он постоянно заимствовал (пусть невпопад) предложения своих политических противников – особенно Троцкого. Но Сталин вслед за тем не просто стремился к уничтожению своих «учителей». Ему важно было «заклеймить» их до такой степени, чтобы самая мысль о подобном заимствовании никому не могла прийти в голову. Вместе с тем Сталин упорно учился на «ошибках» других революционных вождей. Довольно быстро он разглядел, что основная их слабость (как всей русской интеллигенции) – в неумении быть понятными народу, особенно в условиях усталости последнего. И потому он избрал для себя беспроигрышное амплуа «медиума» – посредника между идеей и толпой. Вовсе не случайно то, что он постоянно читал все учебники и питал особую слабость к беллетристике [Шекунова 1999: 175–180]. Собственно, именно русская художественная литература подсказывала ему, как себя вести и какая социальная среда является для него выигрышной. В принципе как человек, якобы не знающий сомнений, он определённо «выигрывал» на фоне российского хаоса.

Сталин, подверженный ксенофобии, был органически противоположен революционно-интернационалистской миссии – отсюда и его установка на строительство социализма «в одной, отдельно взятой стране», и его особые взаимоотношения с Гитлером. Он панически боялся войны (хотя убеждение, что очередной виток мировой революции начнётся именно с неё, имело устойчивое хождение в большевистских кругах), опасаясь, что она враз откроет его человеческие слабости – отсюда желание оттянуть её начало. Он почти физически ощущал собственное убожество – с этим связано почти навязчивое стремление уйти в тень Ленина. Понятно, что трудно смириться с мыслью, что человек с ущербной психикой бастарда оказался столь же изоморфен ходу возрождения имперства снизу, как некогда проницательный до цинизма, жёсткий до аморализма Ленин – разрушительной стадии его кризиса. Характерно, что Ленин никогда не заискивал перед толпой, он никогда не произнёс бы сталинское «Дорогие братья и сестры!», хотя искренне мог призывать «учиться у масс». Сталин, напротив, всегда хотел нравиться – в том числе и низам. Но как ему удалось добиться не только эстетизации насилия, но и закрепления его в качестве важнейшей доминанты обновлённой российской деспотии на долгие десятилетия?

Вероятно, психоанализ всегда будет казаться навязчивым и потому сомнительным «научным» методом. Возникает и другое предубеждение против него: не пытается ли «железный» век покрыть свой революционный «грех», выворачивая мятущуюся душу человека её вульгарной изнанкой? Как бы то ни было, в данном случае без психоанализа не обойтись. Это естественный исследовательский императив тех, кто ощущает недостаток «простого» фактического материала для постижения духа революционного сокрушения.

О личности Сталина написано много вздорного – иного и быть не может при попытках понять скрытые причины его невероятного возвышения. Представляется, что на этом фоне заслуживает первостепенного внимания версия Ф. Помпера, несмотря на то, что американскому автору сей субъект представляется куда менее интересным, нежели Ленин и Троцкий. В отличие от Ленина, являвшего собой наиболее чистый тип гиперкомпенсации (спонтанного восполнения младенческой малоподвижности), и Троцкого, чья детская ущемлённость и этническая второсортность трансформировались в афишируемое чувство личностного превосходства, Сталин, по мнению этого проницательного автора, так и не преодо-

лел своего комплекса неполноценности. Он вынужден был по-своему восполнять недостаток боязливого обожания со стороны, удовлетворяя уродливо изломанные порывы души в рамках «большой семьи». Нацмен низкого происхождения с сомнительным папашей и несомненными дефектами физического развития просто не мог в отличие от учителя-Ленина и антипода-Троцкого самореализоваться в нормальной социальной среде, а потому прилепился к революции – сначала подобием благородного разбойника, затем скромного её организатора. Он вкрадчиво утвердился у власти, искусно играя на чужих слабостях [Pomper: 154] – явление вовсе не столь необычное вообще, в России – в особенности.

Похоже, что Сталин не мог успокоиться даже в лоне счастливой семьи, ибо и тут его постоянно подстерегал страх предательства со стороны ближних (в форме боязни, что они не оправдают его высоких надежд или окажутся слишком самостоятельными). Вовсе не случайно Сталин терпел длительное время возле себя лишь тех, кто органически не способен был его превзойти, не смел перечить, но зато самим фактом своего существования каждый раз подтверждал его правоту. Но ещё любопытнее другое: Сталин умел производить впечатление на людей разных – актёрство – непременный спутник диктаторства.

Как правило, коммунистические вожди, сознавая сакральную ущербность своего властвования, охотно (как Троцкий) или с деланной скромностью (как Ленин) позировали перед фотографами, художниками, ваятелями. В 1926 г. Сталин позировал скульптору М.Д. Рындзюнской, женщине, как видно, с воображением, хотя и не очень догадливой. Она сделала его бюст – откровенно «нерусский», идолоподобный, оставшийся, разумеется, невостребованным. Но куда более известной малоудачливая ваятельница стала своими многочисленными выступлениями с воспоминаниями о Сталине среди молодёжи. То, что вождь показался ей «исключительно скромным, мягким, деликатным», столь же понятно, как и былое стремление соорудить ему «волевой» подбородок. Но интереснее всего другое: Сталин показался ей «человеком среднего роста и очень широкими плечами» (ни тем ни другим «вождь» никогда не обладал, чтобы не сказать больше). Перед ней якобы предстал человек, «обладающий исключительной внутренней силой, в спокойной до невероятия позе без малейшего движения», способный, ко всему, глядеть «только прямо и только вперёд» [Меня встретил человек среднего роста… 1992: 113, 115, 116]. Похоже, Сталин либо намеренно изображал перед скульптором нечто величественное, либо сам по себе сработал фактор фетишизации и эстетизации властного начала с непременной аберрацией восприятия физического облика его носителя[13]. Облик вождя должен соответствовать людским ожиданиям.

Врач И.А. Валединский, пользовавший «гения» с 1926 по 1940 г., также был несколько старше своего клиента летами, что не мешало и ему смотреть на него снизу вверх. Диктатор был существом болезненным: страдал ангинами и невралгическими болями в конечностях (т. е. чувствовал себя уязвимым). В быту же он оказался «душкой» – любителем «коньячку», игры с детьми в солдатики и даже умел изображать курицу. Но при этом «вождь» не забывал просветить лекаря, что он «мелочами не занимается», в прогнозах своих никогда не ошибается [Врач и его пациент: 121–123]. Как видно, Сталину недоставало живого контакта с массами; избегая в отличие от Троцкого частых публичных выступлений, он в душе предпочитал «индивидуальную работу» с кадрами.

В литературе – даже научной – давно принято считать Сталина искуснейшим лицедеем. Разумеется, власть приучает людей определённого склада и к этому – даже без штатных ими-

[13] Разумеется, нельзя не учитывать и целенаправленной эстетизации изображений вождей. К пятидесятилетию Сталина появился главлитовский циркуляр, предписывающий печатать его портреты только со снимков, полученных из «пресс-клише РОСТА». Поражает, насколько тщательно в дальнейшем цензоры 1930-х годов следили за тем, чтобы публикуемые портреты вождей соответствовали некоему «идеалу» [У мысли стоя на часах… 180, 182–185, 188].

джмейкеров. Но не следует ли допустить, что помимо властного актёрства извечная фетишизация власти, особенно абсолютной, заставляет – всех людей, включая самых раскованных и проницательных, видеть живых «вождей» словно в совершенно особом, сюрреалистическом освещении? Иначе неясно, что заставляет даже образованных людей с замиранием сердца внимать человеку, все актёрство которого заключалось в том, что он научился лишь многозначительно растягивать свою неизживаемую базарную скороговорку?

В ноябре 1930 г. случилось невиданное: нелюдимый Сталин дал интервью иностранцу, корреспонденту «Юнайтед пресс». Впечатления таковы: крепко сложенный человек, среднего роста, в «чёрных» (!?) волосах «проблёскивает седина», и «хотя, по-видимому, состояние здоровья Сталина прекрасно, лицо его показывает следы тяжёлого труда». Можно предположить, что эта первая встреча с иностранным журналистом далась «вождю» нелегко, но с задачей он справился – главным образом потому, что корреспондент заранее представлял его совершенно иным человеком. Для того чтобы развеять зыбкий, основанный на стандартных предположениях другой политической культуры образ, оказалось достаточно прикинуться все тем же «душкой» – человеком запросто узнаваемым. «…Он не оправдывает общего представления о «стальном человеке», он очень человечен, легко улыбается, одарён острым умом, но приятным юмором, – уверял корреспондент. – Во время нашей беседы запросто вошёл Ворошилов и по моему приглашению (!) остался с нами…». У становящегося легендарным военачальника как нельзя кстати также оказался «юношеский, здоровый вид». Понятно, что журналист мгновенно оттаял. Его не стоило труда убедить, что слухи о «восстаниях, бунтах, арестах» – полнейшая чепуха, которую даже не стоит опровергать, что Сталин вовсе не диктатор, ибо, «если когда-либо партийные массы разойдутся с ним во мнениях, то его лидерство закончится и будут выбраны другие руководители» [Кабанов 1997: 185–186]. Дело было сделано, лихое вранье показалось подкупающей искренностью, Сталин предстал таким, каким хотел. И в этом ему помогло то, что в нем готовились увидеть, во-первых, олицетворение кровавого диктаторства, во-вторых – мрачного и непреклонного догматика от марксизма. Как «пролетарско-крестьянские», проникнутые сиротской тоской по «отеческой» власти массы, так и зарубежный репортёр, неожиданно приближенный к таинственному правителю, инстинктивно боялись убедиться в своих мрачных ожиданиях. Им не хотелось видеть ни тирана, ни сухого доктринёра, и потому они легко поверили безыскусному лицедею.

В любом случае и в действительности трудно было найти человека, более далёкого от марксизма в любом истолковании последнего, чем Сталин. Политэкономию он понимал в лучшем случае на уровне I тома «Капитала» (как, впрочем, и Ленин), делая из неё – если не чисто бюрократический, то по-российски «государственный» вывод, что прибавочную стоимость лучше изымать не тем, кто стремится к индивидуальному обогащению, а кто способен «справедливо» её распределять. Идея естественной связи между производством и рынком казалась, должно быть, ему такой вздорной, как отцу большого семейства мысль о самоуправлении внутри него с помощью денег. Не случайно Сталин до конца жизни не признавал политэкономии социализма (впрочем, для его системы хозяйства она действительно была излишней). Как бы пытаясь компенсировать своё невежество в областях, непосредственно затрагивающих жизненные интересы масс, Сталин позднее инициировал дискуссии на более отвлечённые темы – в частности в языкознании. Каким профаном он бы ни был в действительности, правила игры во власть требовали того, чтобы её возглавлял человек, сведущий абсолютно во всем. Сталин по мере сил и талантов лицедейства пытался поддерживать эту иллюзию.

Похоже, что массы, со своей стороны, ценили в Сталине не только революционную легенду, но и «своего». Увы, в годы, когда свирепствовал террор, раскулачивание добралось до чукотских оленеводов, среди которых в невероятном изобилии обнаруживались «классово-

враждебные» элементы (тут же с истинно марксистской находчивостью названные «феодальными»), а колхозники могли лишь заваливать инстанции слёзными просьбами о снижении спущенных сверху норм урожайности и налоговых ставок, усердно разоблачая при этом всевозможных «вредителей» из числа «замаскированных кулаков» [РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 48. Л. 117, 126–128, 152об., 158, 165, 192, 231; Д. 134. Л. 56], не говоря уже об офицерах, буржуях и прочих «царских прихвостнях» и «пробравшихся в партию» евреях, новый слой трудящихся «Страны Советов» дружно писал письма наверх с предложениями о переименовании столицы «всего прогрессивного человечества» в Сталинодар [ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2156. Л. 3–9], а городские самоучки плодили бесчисленные прожекты безбрежного обобществления всего и вся на благо державы и коммунистического будущего. Архивы хранят целые пласты документов такого рода. И этому не приходится удивляться: в основе российских крестьянских утопий лежало общемирское представление о власти.

Поразительно, но люди стали нетерпимы к любым отступлениям от навязываемых «норм» – даже толстовские коммуны стали именоваться «кулацкими» [Там же: Д. 2176. Л. 33 об.-14]. В одной заводской многотиражке «врагами народа» пытались объявить скопом заурядных несунов – бдительная цензура пресекла, однако, и невольную попытку превращения тружеников «пищевого гиганта» в воровское сословие, и стихийное стремление поднять их «несознательность» на уровень политического зла [У мысли стоя на часах…: 184]. Агрессивность низов надо было не только правильно канализировать, но и дозировать. Приоритет социально-воспитательного почина безоговорочно отдавался теперь государству, было признано, что социализм следует строить по единому, «спущенному сверху» шаблону.

Механизм восстановления абсолютной власти через террор имел в России ещё одну любопытную особенность. Исследователи, как ни странно, не задались вопросом: почему Большому террору предшествовали «открытые» процессы? Ясно, что в данном случае открытость – естественная в правовом обществе – могла нести на себе принципиально иную нагрузку. Если так, то в чем она состояла?

Методом «открытых» процессов система, построенная на номенклатурном принципе «подбора и расстановки кадров», избавлялась от элементов, объективно ставших для неё «лишними». К тому времени высшие партруководители могли выйти из системы только вперёд ногами: естественным, суицидальным и расстрельным путём. Увы, большинство здравствовавших к тому времени «пламенных революционеров» было все же слишком молодо для того, чтобы вовремя освобождать номенклатурное пространство своевременным уходом в лучший мир. Второй способ в 1930-е гг. теперь (в отличие от 1920-х гг.) считался «антипартийным»: не случайно некоторых высокопоставленных самоубийц объявляли жертвами – болезней или «врагов». Оказывается, из когорты революционных вождей все же можно было выйти «с честью» – признав себя «полезным» для партии ее внутренним врагом.

Понять возникшую ситуацию человеку иного исторического времени довольно трудно, если возможно вообще. Похоже, что некоторые «вожди Октября» из изолированного революционно-утопического пространства переместились в замкнутую клановую среду, в которой попросту не могли «найти себя». А поскольку иной среды обитания они не знали, им оставалось исполнить последний «революционный» долг – своей недостойной смертью подтвердить святость идеалов и сакральность новой государственности. Но если сами вожди признавали свою вину перед государством, то что могли ощущать все остальные его подданные?

«Открытые» процессы как бы связывали социальное пространство чувством перманентной вины «несовершенных» людей перед «совершенным» государством, для которого теперь не существовало «неприкасаемых». Это следовало усвоить всем. Вероятно, хорошо поняли это и подсудимые, с готовностью – словно исполняя свой последний партийный

долг – публично, на глазах всего изумлённого мира, признавшиеся во всех мыслимых и немыслимых грехах. Тогдашняя «открытость» становилась способом уравнять всех подданных коммунистического Левиафана в служении целям, понять «величие» которых им самим было не дано.

Имелся ещё один аспект, превращавший «открытые» процессы в функциональную величину укрепления власти. Для русского крестьянства формальное право оставалось «закрытым» – люди, привыкшие судить «по правде», т. е. карать за якобы очевидное, а не доказанное преступление, попросту тяготились навязанным им в 1920-е гг. соотношением преступления и наказания. А поскольку в 1930-е гг. крестьянская ментальность стала господствовать в городской среде, власть не могла утвердиться без демонстрации «общинной» формы репрессивности. В сущности, «открытые» процессы, где подсудимые с помощью соответствующей обработки умов представали заведомо виновными, были не чем иным, как гигантской театральной сценой, где «номенклатурный суицид» символически соединялся с «народным» самосудом, представленным массой «горячо одобряющих» наблюдателей. Государство вовремя подсовывало удовлетворявшую людскую массу жертву, а само выступало безотказным орудием мести. О лучшем приёме расправы идеократически-патерналистской государственности с заведомо опасными «чужаками» не приходилось и мечтать. Именно «открытые» процессы как бы связали власть и массу круговой порукой террора, но при этом правители не только не потеряли своей независимости от народа, а напротив, упрочили её.

Массы, созерцая искреннее раскаяние коммунистических еретиков, тем более могли ощутить нечто вроде собственной врождённой виновности перед Властью. «Открытые» процессы скрадывали масштабность Большого террора. Да и был ли он большим, если от него пострадал в 1930-е гг. «всего» 1 % населения? Как ни парадоксально, в 1937–1938 гг. террор действительно не выглядел столь устрашающим – он стал казаться таковым лишь с приходом поколения, отказавшегося понимать его логику. В конце концов заговорили о 1937 г. потомки тех, кто пострадал от «открытых» процессов, а не по приказу № 00447. А потому до сих пор столь трудно бывает отделить собственно механику террора от исторической памяти о нем. Но не стоило бы забывать и о том, что иные жертвы «открытых» процессов вели себя так, как будто получали удовольствие от того, что являются актёрами в грандиозном спектакле, призванном возвысить то, без чего они не мыслили своей жизни – партии. Это вовсе не столь странно – просто случаются явления, которые трудно понять кому-либо, кроме историка. Людей Средневековья ход процессов над коммунистическими богоотступниками ничуть бы не удивил.

Ничто так не провоцирует иллюзии, как «чудо» возрождения власти. Естественными стали инициативы запредельного технократизма: кое-кто, развивая послеоктябрьские замыслы обобществления женщин, предлагал теперь социализировать самый человеческий организм, обязав его обладателей нести ответственность перед государством за его качественное содержание и особенно способность к расширенному воспроизводству [Общество и власть 1998: 153–158]. Ничего удивительного, если вспомнить, что один из героев А. Платонова умер от истощения, так и не закончив свой «общечеловечески значимый» труд «Принципы обезличения человека с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Увы, это не литературный гротеск, а реальность эпохи. Пресловутая «шигалевщина» из «Бесов» Ф.М. Достоевского оказалась поставлена на поток низовой самодеятельности.

Государство, со своей стороны, вновь откликнулось монументальной и другими видами пропаганды. Среди последних особенно пышно расцвело «важнейшее из искусств», сдобренное жизнеутверждающей музыкой. Некогда Троцкий мечтал использовать кинематограф в качестве важнейшего средства отвлечения народа от «церкви и кабака». Теперь же ста-

линское Политбюро и лично вождь по-своему утилизировали идею своего главного врага: совмещая приятное с полезным, усердно обсуждали и цензурировали всю кинопродукцию, бдительно следя за поддержанием в ней оптимального баланса между пуританской благостностью, производственной тематикой и большевистской непримиримостью. Кино действительно стало важнейшим средством формирования «нового человека» – не по причине естественного раскрытия талантов (а их хватало), не благодаря мудрости партийного руководства (хотя его преимущественно поощрительный характер заметно выигрывал на фоне тупых запретов последующих десятилетий), а в силу того, что иллюзорность его жанра соответствовала призрачности тогдашних мироощущений. К тому же творческая интеллигенция стала нутром понимать как выгоды, так и опасности своего положения придворных иллюзионистов. Стрессовое ожидание рождало истероидные порывы и прорывы. Возникали новые «величественные» образы. Символизировать «новую» духовность предстояло гигантскому зданию Дворца Советов с указующей в неведомую даль статуей Ленина наверху[14].

Искусство 1930-х гг. не было ни «социалистическим реализмом», ни сталинско-имперским «классицизмом», хотя коммунистические вожди и уверяли, что «классики» марксизма-ленинизма ценили именно классическое искусство [Каганович 1997: 530]. Проще сравнивать его мобилизационную направленность с нацистским зодчеством, хотя нельзя забывать, что взаимозаимствованная стилистика скрывала подчас сущностные расхождения. Это искусство действительно должно было «принадлежать народу», а не элитам, ибо только с помощью эмоционально взвинченных масс можно было представить народные бедствия социальной добродетелью, а слабости человеческого существа использовать во благо бесчеловечной государственности. Народ и партия могли быть едины только через истовое служение идолу.

Подобно тому, как проблему нацизма давно рассматривают как проблему масс, а не проблему Гитлера, так и сталинизм – это вовсе не производное от личности «вождя» – существа более чем заурядного. В так называемой эпохе сталинского террора на деле самым поразительным являются не масштабы репрессий со стороны государства, а степень заражённости его подданных своего рода социальной вивисекцией. Кампания «чисток» в правящей партии, развернувшаяся с 1929 г., не только не привела к снижению её численности, но, напротив, увеличила количество коммунистов вдвое. Новобранцы моментально проявили себя по части всевозможных – порой фантастичных – поклёпов на «спецов», инкриминируя последним, как правило, дворянски-белогвардейское, меньшевистско-эсеровское или купеческо-кулацкое прошлое. Раздражало то, что эти люди не мыслят ни как они сами, ни за них – последним нарушался важнейший патерналистский принцип. Понятно, что особым раздражителем становилось и еврейское происхождение. Но характерно, что для власти поначалу самым серьёзным прегрешением становилось утаивание того или иного факта биографии, а вовсе не само «непролетарское» прошлое. Это напоминало некое чистилище в «коммунистический рай». Донос (отнюдь не новость для России) стал чем-то вроде естественной формы проявления гражданственности и главным каналом обратной связи народа и власти, ибо теперь правители могли почти рефлекторно использовать в качестве «сигнала» самую отчаянную слезницу. Вряд ли случайно Сталин в начале 1937 г. публично вспомнил ленинское «учиться у масс», относящееся к 1917 г. Но речь шла вовсе не о примитивном поощрении насилия снизу или простом воспроизведении прежнего государственного патернализма. По замыслу все должны были решить те пресловутые «кадры», которые, выражаясь языком А. Платонова, способны были «беспощадно разложить действительность по классовому признаку». Делался «великий расчёт» на «максимального человека массы», способного по образ-

[14] Как ни странно, сами коммунистические вожди полагали, что при этом они не забывают и о памятниках старины [Каганович 1997: 528–529].

цу 1917 г. осуществить «новый технический большевизм». Требовался дикарь, способный выполнять команды.

Подобные установки вовсе не были чем-то необычным. Кн. Д.И. Шаховской, внук декабриста, один из основателей кадетской партии, бывший министр государственного призрения Временного правительства, работник кооперации и почитатель П.Я. Чаадаева, ещё в 1926–1928 гг. носился с идеей борьбы за воссоздание «единства русской культуры и за сознательное вовлечение в эту борьбу народных масс». Он надеялся на «надлежащую постановку краеведения как средства вовлечения в науку массы, оздоровление национальной мысли» и полагал, что обновлённые университеты и Академия наук способны сыграть в этом решающую роль [Шаховской 1992: 227–228, 235–236]. В 1934 г. он, изыскивая источники внутреннего пафоса, писал: «Всякая старая идеология и всякое старомодное христианство мне ещё менее по нутру, чем все это новое – тупое, одичалое, оголтелое – но всё же к чему-то новому ведущее» [Там же: 273]. Это уже походило на сверхмазохистское самодовольство зажариваемого карася, вдохновляющего себя тем, что коллективное поедание его со сметаной способно облагородить помыслы революционных чревоугодников.

Люди русской культуры всегда, включая и периоды смуты, почему-то считали, что власть не забывает и их – вероятно, подразумевалось, что государство осуществляет вместе с ними часть общей великой культуртрегерской миссии. По иронии судьбы незадолго до ареста и расстрела в 1939 г. престарелый князь стал все чаще задумываться о смысле революции: «…Есть ли она просто бунт… Беспощадны бывают и бунты, и революции. Но бессмысленны бывают лишь бунты. Революция всегда исполнена смысла. Но каков же смысл русской?». Он полагал, что уже пройденный революцией этап – вовсе не «есть окончательный подвиг народа». Все происшедшее он сравнивал с «жестом Самсона, доведённого до отчаяния», который отнюдь не погиб, он «вышел на волю, израненный, но живой», а потому «только теперь начинается его великая творческая мировая работа» [Там же: 285–287]. Созвучие с некоторыми высказываниями Ленина 1917–1918 гг. налицо. Представители старой русской культуры почему-то никак не могли взять в толк, что «новый этап» революции призван окончательно избавиться от них самих, ибо возрождение империи не нуждалось ни в оправданиях, ни в сдержках, рождаемых извечной интеллигентской рефлексией.

И все же СССР не стал ни механическим продолжением «дела Октября», ни простым воспроизведением прежней имперской системы. Строго говоря, это и не восточный деспотизм, опирающийся на этатизацию основных средств производства, ни западный «тоталитаризм», ориентированный на овладение средствами массовой информации. Сталинская система – своего рода новое издание крепостничества – была более архаичной в своих психоментальных основаниях, а потому её можно представить как наложение на них того и другого, связывая это с традициями деспотизма Петра I. Одно это, как и любая неорганичность развития, таило в себе опасность для будущего. Имманентно интровертный и застойный характер российского патернализма оказался совмещён с идеей механического движения вперёд, автаркия стала противоестественно сожительствовать с интернационалистским гегемонизмом[15]. Это противоречие могло бы разрешиться путём ритуализации революционаризма через систему символов, близких традиционной культуре. Но возникло ещё одно отличие от старого патернализма, усложняющее решение подобной задачи: идеократическое начало приобрело обнажённо-агрессивный характер, при этом его служители из подвижников превращались сначала в невольных карателей, а затем, в процессе самоликвидации, – в догматически мыслящих бюрократов. Власть была изначально химеричной; теперь, базируясь на внутренне противоречивых основаниях, она в принципе могла существовать только в ре-

[15] Этот момент был подмечен Р. Дэниелсом [См.: Daniels 1988: 412].

жиме оголтелого коллективизма, спускаемой сверху чрезвычайщины и периодически нагнетаемых психосоциальных стрессов. Последнее пока удавалось легко, тем более что при государственной монополии на информацию любая геополитическая подвижка внутри такой системы чуть ли не автоматически гипертрофированно воспринималась как угроза и её существованию, и её всемирно-исторической миссии. Но генетически система была обречена – разумеется, если бы не удалось сакрализовать её через «идеологию самодостаточного застоя» (типа «развитого социализма»), подкреплённую иллюзией самоликвидации или самоистощения враждебного окружения.

Самым уязвимым в системе было то, что её базовым элементом оставалась «экономика отвлечённых целей». Последняя составляла настоящее проклятье всей русской истории. Построенное на таких основах народное хозяйство оставалось относительно стабильным лишь до тех пор, пока народ разделял уверенность, что его жертвы не напрасны. Уже тяготы мировой войны показали, что терпению есть свой предел.

Революция была связана с мировой войной, а потому возникшей как её последствие «красной империи» суждено было до конца своих дней надрываться в непосильной гонке вооружений – таким способом власть смогла убедить массы, что их ближайший интерес связан с задачей её самовыживания. Возможно, именно это последнее стало основным долговременным итогом русской революции. При этом тех революционных лидеров, которые вовремя не поняли происхождения и меняющейся природы системы, неуклонно истощаемой допингом революционаризма, рано или поздно ждал сокрушительный провал. Обновленная имперско-патерналистская система, баланс внутри которой зависел от тонкого понимания «гармонии» порыва и смирения, не могла существовать без дисциплинирования «слепцов». Увы, большинство обществоведов все ещё оказывается не в состоянии оценить значение этой простой истины для судеб России в XX в.

Известно, насколько велико сегодня тяготение к упрощённому «тоталитаристскому» истолкованию советской истории, как заметен соблазн поставить в один ряд бесноватого ефрейтора и вкрадчивого генералиссимуса. Связь гитлеризма и сталинизма несомненна – то и другое – причудливо преломившиеся через этнонациональную психологию последствия Первой мировой войны. Но не более. Полагать, что именно большевизм спровоцировал германский нацизм [Nolte 1989], нет никаких оснований, хотя послевоенный шок и породил в Германии склонность к экстремистскому подражательству. В основе нацизма лежала социально-параноидальная форма складывания обычного типа нации-государства из некогда неоправданно разрозненных германских земель и несостоявшейся колониальной империи. Сталинизм, напротив, имел куда более глубокие и архаичные имперско-патерналистские, а не этно-государственные корни. При всей неприглядности общего умопомрачения постреволюционной эпохи он был воплощением новой волны российского культурогенеза, ориентированного на продолжение европейской традиции, а не отрицание её.

Сталинизм и гитлеризм чаще сравнивают по формально-статистическим показателям [Kershaw 1994; Wheatcroft 1996; Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison 1997], реже – по левацкой и антикапиталистической общности происхождения. В том и другом случае это напоминает заклинания против химер воображения: западная цивилизация воспринимает то и другое в контексте общего террористического отклонения от собственных идеалов, по-своему замаливая грех былых восхищений перед грандиозностью «социалистического строительства». Рано или поздно придётся признать, что сталинизм вовсе не задавался специальной целью ввести в дьявольское заблуждение западных интеллектуалов, он решал чисто российские задачи, хотя ставил глобальные цели и формально выступал наследником европейской традиции. Он хотел быть «русским», но при этом нравиться всем.

Совершенно не случайно новая полоса – на сей раз не просто масштабного, но и истероидного – «ежовского» террора ознаменовалась не только принятием «конституции победившего социализма», но и появлением нового коммунистического священного писания – «Краткого курса» истории ВКП(б). Сей опус создавался вроде бы без прямых подсказок вождя: на многочисленных обсуждениях очередных макетов будущего коммунистического талмуда он обычно скромно, но внимательно помалкивал, а авторы тем временем лихорадочно соображали, чего он от них добивается. Окончательная правка текста вождём обнаруживает, что Сталин ограничился почти исключительно добавлением ругательных и глумливых характеристик своих былых сподвижников – что могут на этот счёт подумать на Западе, его не интересовало. Характерно и то, что позднее, при 2-м издании собственной биографии, он продолжал настаивать на своём «ученическом» отношении к Ленину (хотя в глубине души считал себя учеником Ивана Грозного), хотел отметить собственную «личную скромность» и требовал подчеркивания своих особых заслуг в деле сокрушения «врагов народа» [Максименков 1993: 27–35]. Человек с неизжитой психологией ублюдка инстинктивно опасался слишком пронзительного высвечивания своей личности в России, а не во внешнем мире; ему больше импонировал принцип непритязательного «духовного» наследования, обернувшийся позднее принципом квазидинастической преемственности в партии-государстве.

О сталинском терроре уже написаны горы литературы – преимущественно публицистической. В годы «перестройки», равно и в постперестроечный период литераторы – как излишне эмоциональные, так и конъюнктурщики – словно соревновались в том, кто выдаст «на гора» наибольшее число жертв репрессий. Никто не замечал, что статистический вал живых существ, убиенных системой, подобно «основным показателям» эпохи «развитого социализма», скрадывает и камуфлирует ее природную суть. Забывается о том, что гулаговский «архипелаг» вовсе не был островками террора в море социалистического и коммунистического строительства, а составлял костяк системы. Коммунистическая пенитенциарная система изначально базировалась на двух одинаково утопичных принципах: экономический рационализм и пере/воспитание.

В сущности, это было реанимацией крепостничества и попыткой сделать его двигателем прогресса. Отсюда и вполне архаичные формы бунтарства, начавшиеся после смерти Сталина с лагерей, заканчивающиеся уже в постсоветское время «акциями протеста» против невыплаты зарплаты. В сущности, причина российской смуты одна – психоз бунта, вызванный крайней болезненностью бытовых ощущений несовершенства власти. Теперь методом жутких проб и ошибок отыскивался идеал, точнее, его видимость. Вступив на этот путь, Сталин в отличие от Петра I не рискнул затевать устрашающе-мистифицирующих игр с сакральными понятиями, напротив, его действия были призваны фетишизировать данную революцией идеократию с помощью насилия против её мнимых «идейных» противников. При этом принять желаемое за действительное было тем легче, чем ощутимее были жертвы.

Сегодня довольно трудно (если вообще возможно) вообразить, что исторический водоворот «красной смуты» рано или поздно сужается до чётко очерченного «красного круга», где палачам и жертвам предстоит на равных предстать перед тупым идолом «абсолютной» государственности.

Со временем на вершине властной пирамиды главное значение приобрело незримое противостояние начал революционаризма и патернализма, самоограничительного мессианства и замешанного на примитивном опекунстве традиционализма. Примечательно, что когда в середине 1930-х гг. была задумана серия фильмов из «жизни замечательных большевиков», из этого ничего не вышло: так и не удалось найти устраивающие власть художественные формы, которые позволили бы превратить «пламенных революционеров» в людей, обслуживающих перелицованное самодержавие [Чернова 2007: 169–173]. Сталинский пери-

од был отмечен двойственностью именно такого рода; похоже, что вождь к концу жизни окончательно отдал приоритет традиции с её непременным антисемитизмом[16] (здесь срабатывал тот инстинкт первобытного деспота, который никак не постижим для нынешних высоколобых интеллектуалов). В 1939 г. иные большевистские деятели изумлялись, что «Сталин не терпит умных людей, подбирает ограниченных, послушных олухов», среди которых «тугодум Молотов, карьеристы Каганович, Микоян, Берия и ещё Мехлис, недалекий Маленков, дурак Хрущев и подобные им подхалимы и хвалители» [Соловьев 1993: 204]. Подобные рассуждения отражали полное непонимание людьми, не утратившими привычных интеллигентских иллюзий и квазиучёного чистоплюйства, природы имперской власти. Вся советская система была попросту марксистски раскрашенным «латентным» черносотенством, базовым основанием которого было пресловутое единение партии (того же царя) с народом. В этом контексте окружению «вождя» подобало быть «дураками» или тупыми исполнителями (в лучшем случае толмачами) по должности, не говоря о непременности фигур, олицетворяющей лишь отдельные стороны «славного» прошлого и настоящего (должности типа придворного шута также вполне функциональны). Нельзя забывать, что сам Сталин вырос из «серой кляксы» в «вождя всех народов» в силу сакральной значимости в глазах масс занимаемого им верховного поста; для поддержания его власти «дураков-бояр» следовало периодически наказывать. Система в принципе могла спокойно эволюционировать лишь в ходе превращения тиранического «отца» в благостного «дедушку», наподобие Брежнева последних лет. В этом драма и трагедия как лидеров, так и народов, попавших в «ловушку» системы.

Но взбалмошный «реформатор» Хрущев, напротив, освободившись от опеки «хозяина», двинулся по пути Октября. Если представить русскую революцию как попытку искоренения «архаики» с помощью «прогрессивных» форм собственности, то под покровом «оттепели» можно разглядеть очередную волну раскрестьянивания и нелепой борьбы с православной верой в стране, давно живущей атеистическими суевериями. Даже указуя художникам и писателям, что и как им надлежит изображать, Хрущев поступал на манер русского народника второй половины XIX в., полагавшего, что сапоги важнее, чем Шекспир, хотя по натуре он ближе к типажу раздобревшего махновца. В прошлом начиная с 1930 г. Хрущев проявил себя как активный участник всевозможных репрессий. Этот человек, с наивностью необразованного деревенского парня, «подглядевшего» революцию, полагал, что для «благого дела» все средства хороши. Со временем он решил, что в видах приближения коммунизма уместно от репрессий перейти к реабилитациям (разумеется, покойников – новое поколение «врагов народа» в лице «валютчиков», напротив, нежданно удостоилось «вышки»). Миловал он с той же деспотической непринуждённостью, с какой и наказывал. (К этому примешивался и инстинкт самосохранения – себя и системы.) Впрочем, дело вовсе не в масштабах репрессивности, а в изменении её форм. Только новое, взлелеянное «отцом народов» поколение служилой «творческой» интеллигенции могло поверить, что сменивший диктатора-оппортуниста суетный самодур проводит некие реформы в интересах общества, а не пытается наивно реанимировать революционное движение к коммунизму с помощью двух символичных «костылей» – кукурузы и ракет. Вовсе не случайно в его время к 40-летию революции иные научно-популярные журналы нарисовали радужные картины утверждения коммунизма через

[16] Подсчитано, что в 1948–1953 гг. за «националистическую деятельность» было репрессировано около 1 тыс. евреев, из них расстреляно не более 100. Доля евреев в общем количестве репрессированных советских граждан нерусского происхождения по этому обвинению не превысила 3 % [Мозохин 2006: 346, 348, 363–464]. Учитывая эти относительно небольшие цифры, следует иметь в виду, что в это время за «национализм» было репрессировано громадное число западных украинцев и прибалтов [Также см.: Костырченко 1994; Костырченко 2005].

40 лет (в 1997 г.) в последнем бастионе капитализма – в США (где последнему оставшемуся не у дел финансовому магнату, органически не приемлющему торжествующего коллективизма, не осталось ничего иного, как смиренно испросить разрешение на ведение единоличного хозяйства, дабы хоть чем-то занять себя). Факт, сегодня кажущийся почти символичным.

Эра Брежнева дала новые формы устранения неудобных для системы лиц. Речь идёт даже не о способах расправы с так называемыми диссидентами – это достаточно хорошо известно, хотя и отнюдь не столь показательно в смысле «усовершенствования» системы дисциплинирующего насилия. Исследователи до сих пор не обратили внимания на судьбы тех невольных и искренних «подрывателей» системы, которые на деле мечтали её усовершенствовать. Они не отправлялись в ГУЛАГ после официальных партийных проработок, но это вовсе не было свидетельством гуманизации системы. «Бездействие» власти по отношению к этой части общества весьма показательна: циничные правители, хорошо понимая, насколько психически ранимы её непрошенные доброжелатели, резонно полагали, что после соответствующих проработок эти люди либо получат инфаркт, либо сопьются. Часто так и случалось. От эпохи «красного террора» патерналистская государственность проделала большой и показательный путь. Это была не «карцериальная», по терминологии М. Фуко, социально-правовая система. Здесь платить приходилось не за содеянное, а за природное несоответствие бюрократически навязываемому «идеалу».

Всякая подвижка в обществе такого типа провоцировала неприятие снизу, начиная с появления «параллельного» языка, являвшегося в сущности базовой основой бунтарски-рабской метакультуры. В этом всякий раз помогали «ошибки» власти. Тон задал Хрущев, «отменивший» ГУЛАГ, но не забывший об увеличении расстрельных статей Уголовного кодекса. Народ, соблазненный призраком казавшегося, как никогда, близким коммунизма, нежданно испытал на себе произвольное (пусть экономически неизбежное) повышение цен на предметы первой необходимости. Общие установки общества и власти стали все более решительно расходиться. «Революционер» Хрущев напомнил об эпохе «барства дикого», тогда как массы надеялись на «цивилизованные» формы его воплощения типа «шарашек». Именно поэтому, а не в силу усилий кремлёвских заговорщиков его ждал столь ничтожный финал.

Русский народ может вынести очень многое – но не бессмысленные понукания мятущейся, теперь уже непонятно к чему стремящейся власти. Известно, что в годы так называемого застоя революционность превратилась в нечто вроде безобидной и привычно-умилительной культовой ритуалистики. Не случайно всякий новый высокий номенклатурный назначенец при вступлении в должность обязан был публично (в «Правде», с трибуны партийного съезда или пленума и т. п.) обосновать свою программу действий с «марксистско-ленинских» позиций; в узком кругу «ради интересов дела» ему могли прощать те или иные «человеческие» грешки, но в случае недееспособности он слетал с работы с нейтральной формулировкой («по состоянию здоровья») или отправлялся послом в захолустную страну. Жреца квази-революционности нельзя было простить политически – это бросало тень на миссию служения идее.

К концу 1970-х гг. красная империя достигла пика своего величия. Наследница революционного насилия могла физически уничтожить весь мир, но преобразить его она не могла. Да и что можно было ожидать от поднятой ею культурной волны, в границах которой талантливые фигуристы пародировали на льду то ли ружейные артикулы времён Петра I, то ли монументальных «Рабочего и колхозницу».

Финал СССР смотрится вполне закономерно. Но особая поучительность истории состояла в том, что последыши «красной смуты» созрели только для того, чтобы отказаться от своей генетической основы – а это означало подспудное согласие уничтожить самих себя. Генсеки не случайно стали дохнуть, как мухи в осеннюю пору. Идеи, во имя которой можно

было бы направить энергию насилия, больше не оставалось: всем – от «главных коммунистов» до простых работяг – хотелось просто жить, хотя теперь уже мало кто представлял, что это значит.

СССР оказался несостоятельным должником собственных народов. Они не желали больше служить идее. Хуже того, они почувствовали трудновыразимое, но устойчивое отвращение к своему крепостническому состоянию. И тут в очередной раз нарушил правила игры идеократически-патерналистской системы Горбачев, заговоривший об «общечеловеческих ценностях». Как коммунист он действовал вполне логично, как повелитель суши совершил нелепейший шаг: сработала психология исторического отставника служилого сословия, которому опостылела его нескончаемая работа. Принимая эстафету от хрущевизма, и Горбачев не случайно попробовал вяло кокетничать с революцией – уже вполне мифической, а не реальной – вознамерившись придать ускорение катафалку «военного коммунизма» с помощью «человеческого фактора». Большей издёвки над уставшим «обгонять прогресс» с помощью «шарашек» народом трудно было придумать. Любая идеократия рано или поздно предстаёт онтологическим абсурдом.

Как и Хрущеву, последнему главному коммунисту-ловкачу пришлось пережить взлёт популярности и пасть в бездну публичных поношений. Конечно, в русской истории такое случалось. Горбачева ещё в 1980-е гг. сравнивали и продолжают сравнивать с Керенским. На деле феномен несколько сложнее: «президент СССР» ухитрился совместить в себе черты Николая II и Керенского, а по своим «ораторским» манерам больше походил на В. Чернова. Строго говоря, памятуя о судьбе Николая II, с Горбачевым произошло не худшее, что могло случиться: незадачливые российские властители всегда рискуют быть принесёнными в жертву при равнодушии или плохо скрываемом злорадстве народного большинства. И если они оказались всего лишь в роли заурядных козлов отпущения, то им остаётся радоваться и стараться поумнеть.

Впрочем, любую смуту можно окончательно преодолеть, лишь осознав тщетность своих упований на власть.

---

Бердинских В.А. 1998. *Вятлаг*. – Киров.

Богословская М.В. 2008. Образ идеального представителя советской государственной элиты: Начальный этап формирования. – *The Soviet and Post-Soviet Review*. – Vol. 35. – N. 2. – P. 141–162.

Бордюгов Г.А. 1999. Гитлер приходит к власти: новые детерминанты внешнеполитических решений сталинского руководства. 1933–1934 годы. – *Отечественная история*. – № 2.

Булдаков В.П. 1993. XX век российской истории и посткоммунистическая советология. – *Российская империя, СССР, Российская Федерация: История одной страны*. – М.

*Вестник академии наук*. – 1933. – № 3.

*Военно-исторический журнал*. – 1990. – № 2.

*Военно-исторический журнал*. – 1993. – № 1.

Вольфсон С.Я. 1929. *Социология брака и семьи*. – Минск.

Вольфсон С.Я. 1937. *Семья и брак в их историческом развитии*. – М.

*Вопросы истории КПСС*. – 1991. – № 6

ГА РФ. – *Государственный архив Российской Федерации*.

Гвоздкова Л.И. 1997. *История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе*. – Кемерово.

Гиляров Е.М., Михайличенко А.В. 1990. *Становление и развитие ИТУ Советского государства (1917–1921)*. – Домодедово.

Глебкин В.В. 1998. *Ритуал в советской культуре*. – М.

Годы террора… 1998. *Годы террора: Книга памяти жертв политических репрессий*. – Пермь.

Голос народа… 1998. *Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 г.* – М.

ГУЛАГ… 1999. *ГУЛАГ: Его строители, обитатели и герои* / Под ред. И.В. Добровольского. – Франкфурт-на-Майне; Москва

ГУЛАГ в Карелии… 1992. *ГУЛАГ в Карелии, 1930–1941*. – Петрозаводск

Детков М.Г. 1992. *Содержание карательной политики Советского государства и её реализация при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы и тридцатые-пятидесятые годы*. – Домодедово.

Дискуссия по докладу… 1998. Дискуссия по докладу С.Г. Уиткрофта и Р.И. Дэвиса «Кризис в советском сельском хозяйстве». – *Отечественная история*. – № 6.

Долгоруков П.Д. 2007. *Великая разруха. Воспоминания основателя партии кадетов 1916–1926* / Л.И. Глебовская. – М.

Дугин А.Н. 1999. *Неизвестный ГУЛАГ: Документы и факты*. – М.

Еланцева О.П. 1995. *Строительство № 500 НКВД: железная дорога Комсомольск-Советская гавань. 1930–40-е гг*. – Владивосток

Земсков В.Н. 1991. ГУЛАГ (историко-социологический аспект). – *Социологические исследования*. – № 6.

Земсков В.Н. 1997. Заключённые в 1930-е годы. Социально-демографические проблемы. – *Отечественная история*. – № 4.

Земсков В.Н. 2009. О масштабах политических репрессий в СССР. – *Мир и политика*. – № 6

Иванова Г.М. 1995. ГУЛАГ как социальный феномен советского общества. – *Социальные реформы в России: теория и практика. Вып. 1*. – М.

Иванова Г.М. 1997. *ГУЛАГ в системе тоталитарного государства*. – М.

Иванова Г.М. 2006. *История ГУЛАГа, 1918–1958: Социально-экономический и политико-правовой аспекты*. – М.

*Известия ЦК КПСС*. – 1989. – № 3.

Ирошников М., Шелаев Ю. 1998. Октябрение. – *Родина. Сборник разных лет. Дайджест*.

*Исторический архив*. – 1994. – № 1.

Кабанов В.В. 1997. *Источниковедение истории советского общества*. – М.

Каганович Л.М. 1997. *Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-государственного работника*. – М.

Кедров Н.Г. 2008. Коллективизация в системе идейно-политической коммуникации власти и северного крестьянства на рубеже 1920–1930-х годов. – *The Soviet and Post-Soviet Review*. – Vol. 35. – No. 1. – С. 75–106.

Кириллов В.М. 1996. *История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала, 1920 – начало 1950-х гг*. – Нижний Тагил.

Костырченко Г.В. 1994. *В плену у красного фараона. Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие*. – М.

Костырченко Г.В. 2005. Мечтал ли Сталин о втором Холокосте? – *Родина*. – № 1.

КПСС в резолюциях… 1984. *КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 4*. – М.

Красильников С.А. 1997. Рождение ГУЛАГа: дискуссии в верхних эшелонах власти: Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 1929–1930 гг. – *Исторический архив*. – № 4.

Краус Т. 1997. *Советский Термидор: духовные предпосылки сталинского поворота. 1917–1928*. – Будапешт.

Максименков Л. 1993. Культ. Заметки о словах-символах в советской политической культуре. – *Свободная мысль*. – № 10.

Меня встретил человек среднего роста… 1992. «Меня встретил человек среднего роста…». Из воспоминаний скульптора М.Д. Рындзюнской о работе над бюстом И.В. Сталина в 1926 г. – *Голоса истории*. – Вып. 23. – Кн. 2. – М.

Мозохин О.Б. 2006. *Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918–1953 гг.)*. – М.

Морозов Н.А. 1997. *ГУЛАГ в Коми крае, 1929–1956*. – Сыктывкар.

Общество и власть. 1930-е годы… 1998. *Общество и власть. 1930-е годы. Повествование в документах*. – М.

Общество и власть. Российская провинция… 2005. *Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985. Свердловская область. Документы и материалы. Т. 1. 1917–1941*. – Екатеринбург.

Олейник О.Ю. 1992. Проблемы военной угроза СССР в 1927 г. (К анализу оценок политического руководства страны). – *Проблемы социально-политического развития российского общества*. – Иваново.

Осокина Е.А. 1998. Легенда о мешке с хлебом: кризис снабжения 1936/37 года. – *Отечественная история*. – № 2.

Павлюченков С.А. 2008. *«Орден меченосцев». Партия и власть после революции.1917–1929 гг*. – М.

Пашин В.П. 2007. Номенклатура и социальный апартеид партии большевиков в 1920-е годы. – *Soviet and Post-Soviet Review*. – Vol. 35. – № 2.

Петров Н.В., Скоркин К.В. 1999. *Кто руководил НКВД. 1934–1941. Справочник*. – М.

Письма во власть… 1998. *Письма во власть. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям*. – М.

Письмо заключённому оппозиционеру… 2007. Письмо заключённому оппозиционеру, 1930 / Публикация и комментарии Д. Бондаренко и А. Катчука. – *Морія. Альманах общественной организации «Общинный дом еврейских знаний «Мория»*. – Одесса – № 7.

Плотников И.Е. 1998. Крестьянские волнения и выступления на Урале в конце 20-х – начале 30-х годов. – *Отечественная история*. – № 2.

Радзинский Э.С. 1997. *Сталин*. – М.

Разговор через решётку… 1992. «Разговор через решётку». – *Звенья*. – Вып. 2.

РГАЭ. – *Российский государственный архив экономики*.

Репрессии против поляков… 1997. *Репрессии против поляков и польских граждан*. – М.

Роговин В. 1996a. *1937*. – М.

Роговин В. 1996b. *Партия расстрелянных*. – М.

Розенталь И. 1998. Исторический источник и «виртуальная реальность». – *Россия XXI*. – № 9–10.

Соловьев А.Г. 1993. Тетради красного профессора (1912–1941 гг.). – *Неизвестная Россия. XX век*. Т. IV. – М

*Статистическое обозрение*. – 1928. – № 5.

Тоталитаризм в Европе… 1996. *Тоталитаризм в Европе XX века: из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления*. – М.

У мысли стоя на часах… *«У мысли стоя на часах…»*.

*Фронт науки и техники*. – 1933. – № 2.

Хельбек И. 1997. Личность и система в контексте сталинизма: попытка переоценки исследовательских подходов. – *Крайности истории и крайности историков*. – М.

Хлевнюк О.В. 1996. *Политбюро: Механизмы политической власти в 1930-е годы*. – М.

Чернова Н. 2007. Двух гениев в одном фильме быть не может: злоключения Дзержинского на советском экране. – *Историк и художни*к. – № 3(13).

Шаховской Д.И. 1991. Письма о братстве. – *Звенья*. – Вып. 2.

Шмыров В. 1998. К проблеме становления ГУЛАГа (Вишлаг). – *Годы террора. Книга памяти жертвы политических репрессий*. – Пермь.

Щекунова Л.В. 1999. Сталинские маргиналии как исторический источник. – *Власть и общество России. XX век*. – М.

Эпплбаум Э. 2006. *ГУЛАГ. Паутина Большого террора*. – М.

Яковлев Б.А. 1955. *Концентрационные лагеря СССР*. – Мюнхен.

Bacon E. 1994. *The Gulag at War: Stalin's Forsed Labor System in the Light of the Archives*. – L., Basingstocke.

Bunyan J. 1967. *The Origin of Forsed Labor in the Soviet State, 1917–1921. Documents and Materials*. – Stanford.

Daniels R.V. 1988. *The Conscience of the Revolution: Communist Opposition in Sovit Russia*. – Boulder and L.

Getty J.A., Rittersporn G.T., Zemskov V.N. 1993. Victims of the Soviet Penal System in the Pre-War Yers: A First Approach on the Bases of Archival Evidence. – *American Historical Review*. – Vol. 98. – No. 4.

Jacobson M. 1993. *Origins of the Gulag: The Soviet Camp System 1917–1934*. – Lexington.

Kershaw I. 1994. Totalitarianism Revisited: Nazism and Stalinism in Comparative Perspective. – *Tel Aviver Jahrbuch fur deutsche Geschichte. Bd. XXIII*.

Malia M. 1994. *The Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia. 1917–1991*. – N.Y.

Nolte E. 1989. *Der europaische Burgerkrieg 1917–1945. National-socialismus und Bolschevismus*. – Berlin.

Stalinism and Nazism… 1997. *Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison. Ed. by Ian Kershaw and Moshe Lewin*. – Cambridge.

Stalinist Terror… 1993. *Stalinist Terror. New Perspectivies*. – Cambridge.

Stettner R. 1996. *"Archipel Gulag": Stalins Zwangslager: Terrorinstrument und Wirtschaftsgigant: Organization und Funktion das sowietiscdhen Lagersystems*. – Frahkfurt a/M.

Werth N. 1997. Un etat contre son people. – *Le livre noir du Communisme: Crimes, terreur, repression*. – Paris.

Wheatcroft S. 1996. The Scale and Nature of German Soviet Repression and Mass Killings, 1930–1945. – *Europe-Asia Studies*. – Vol. 48. – No. 8.

## ***Интеллектуальное событие***

**От редакции**

Продолжаем печатать отрывки из капитального труда, посвящённого анализу шести поколений советских и российских философов[1]. В данном номере представлена часть статей философов поколения 1990-х годов. Благодарим руководителя авторского коллектива, члена-корреспондента РАН Юлию Вадимовну Синеокую за согласие на эту публикацию.

*В.П. Макаренко*

# ИЗОБРЕТАЯ СВОБОДУ[2]

***В.В. Ванчугов***
*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова*

**Аннотация:** *Данная работа представляет собою краткое историко-философское эссе, позволяющее автору передать некоторые элементы умонастроения, формирующегося в условиях трансформации системы – распада одной социально-политической, цивилизационной, структуры и формирования новой, интеллектуального становления в ситуации потенциально продуктивной неопределённости.*

**Ключевые слова:** *идентичность, самопознание, сообщество, современники, единомышленники, абсурд, гротеск, университет, образование, власть, контроль, идеология, свобода, проекция, интеллектуальное конструирование.*

Соотнесением с «поколением» стала для меня одна из форм идентичности, к которой у меня как не было склонности, так и нет. Здесь много как индивидуальной, так и коллективной мифологии, равно как и своеобразного сокрытия себя за этим «коллективным целым». Под «поколением» подразумевается единство части людей по времени существования, наличие общих воззрений и установок. Для одних это понятно и ясно, они видят «типичное» для той или иной группы, деля их хронологически, с метафизическим подтекстом. Для меня тут не все так очевидно, и вижу много примеров для конструирования реальности на основе эмоционально окрашенной игры разума. В одном поколении, к примеру «советских людей», могли быть и разделяющие официальную идеологию, и диссиденты.

[1] См.: *Философские поколения* / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. – М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. – 1232 с., ил.

[2] Первая публикация: Ванчугов В.В. Изобретая свободу. – *Философские поколения* / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. – М.: Издательский дом ЯСК, 2022. – С. 692–699.

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.101106*

«Философское поколение» ещё сложнее. Здесь одновременно соучаствуют и «метафизики», и «позитивисты», «славянофилы» и «западники», «интернационалисты» / «космополиты» и апологеты локальности, «патриоты». Для меня «философское поколение» предстало банально: возрастная группа, играющая ведущую, значимую роль в философском сообществе, поскольку они пришли в академическое пространство раньше, захватили все ключевые места, намерены играть ведущую роль, использовать привилегии и распределять ресурсы.

Хотя я и вынужден говорить про «моё поколение», и для внешнего наблюдателя я, вопреки моей воле, один из представителей определённого поколения, я все же всегда ощущал и сейчас ощущаю: мне неприятно, неприемлемо то поколение, к которому я формально принадлежу. Что приятного в том, что я вынужден со многими общаться? Что приятного в группе пассажиров, когда ты вынужден разделять с ними часть своего пути в автобусе, вагоне метро, поезда, в салоне самолёта? Иногда все нормально, иногда они превращают путешествие в ад.

У меня отторжение всяких «коллективных сущностей», общностей, «мы». Мне скучно в коллективах и даже дискомфортно. Здесь часто говорят хорошие слова, выражают благие намерения, но поступают наоборот. И история тому даёт множество примеров, и наше настоящее. Меня мало интересуют мои внутри – межпоколенческие связи, поскольку я давно встроен в иной мир, который состоит из разнообразного сообщества собеседников из разных эпох, пространств. Мои собеседники – представители типов сознания, моделей поведения. Это сообщество нестабильно. Кто-то теряет для меня свою интеллектуальную привлекательность, выпадает из круга моих собеседников и советников, затем может вернуться. Это сообщество связано с моими исканиями, а не формируется согласно духу времени или интересам корпорации.

Так что мне трудно говорить от лица «своего поколения». Для меня его нет, хотя оно есть для других наблюдателей, которые сами могут отнести меня к тому или иному поколению, например «девяностодесятников»… «Девяностодесятники»… Звучит как название каких-то отщепенцев, еретиков, сектантов. Формально, хронологически, с точки зрения темпоральной локализации отчасти верно, но грамматически и на слух – ужасно. Впрочем, не лучше будет сказать и так: «невосьмидесятники уже», «недодвухтысячники», или: «промежуточное звено между восьмидесятниками и двухтысячниками», хотя так поэтичнее, метафорически. Птерозавры какие-то. Уже не ползают, а летают, но не столь изящно, как мелкие пернатые; не ревут, но и не щебечут, как птички. «Из девяностых мы»… Тут что-то хтоническое. Здесь и розы, и запах серы.

И вот итоги моего философского образования: осознание, что дальнейшее существование твоё есть непрекращающаяся интеллектуальная деятельность, суть которой – изобретение свободы. Не обретение, – как хотелось бы, но понимание, что это пока лишь красивая фраза, коих много в истории философии, – но изобретение: создание искусственных условий, на какое-то время создающих иллюзию, что ты свободен. Иллюзии свободы уже делает тебя свободным. На какое-то время. Затем необходимо приложить усилия и снова проявить интеллектуальную изворотливость, чтобы на время «изобрести свободу»: это может быть новое исследование, хобби, страсть, странное умонастроение, что угодно, но твоё, для тебя, созданное тобою посредством физики или метафизики, физиологии, рефлексии. Среди итогов образования в той амбивалентной среде можно отметить и такой: историко-философское умонастроение формирует устойчивое состояние души, когда доминирует ощущение «мнимости настоящего». Понятно, что жить приходится в этом мире, здесь и сейчас, с этими представителями интеллектуального сообщества, но нет к ним привязанности, потому как они очередная реплика, либо копия, либо лёгкая модификация экземпляров – физических и метафизических – из прошлого.

По основному – но не единственному – виду занятий – я историк философии, историк мысли, феноменолог культуры, и у меня здесь свой «горизонт», временные отрезки, зоны внимания и параметры сопоставления. В моем арсенале имеется много примеров – что декларировалось и что делалось; что проектировалось и как исполнялось; что говорилось для публики, масс, большой аудитории, а что для своих; о мотивах и мотивировках, о статусах и авторитетах, формальных, клановых и реальных. Поэтому наученный разномыслием самой «историей мысли», я недоверчив к современникам – «поколению», а вовлечённый по ряду позиций в дела современности – тем более. Иногда, и это прискорбно, но я понимаю экзистенциальный надрыв гоголевского Собакевича: «Один там только и есть порядочный человек… да и тот, если сказать правду, свинья». И видя иного «авторитета», понимаешь, умудрённый опытом прошлого: вот отойдёт он в мир иной (что означает: перестанет влиять на бюджет, определять тематику исследований, удобных для себя и своих клевретов, не пропускать грантовые заявки конкурентов, формировать издательскую политику и прочее), и одним «классиком», «авторитетнейшим учёным», «выразителем чаяний нашего времени» станет меньше. У нас много «светил», «авторитетных философов» только благодаря административному ресурсу. Похороны быстро переводят их из «великих философов» в философских клерков, чиновников, бывших начальников. И ты видишь, что это умер историк философии, а это – начальник историков философии; это гносеолог, а тот – руководитель теоретико-познавательных практик, вжившийся в образ методолога. Настоящее создаёт иллюзию разнообразия и множества философов, но по мере погребения число мыслителей уменьшается.

Я вырос, формировался как личность в СССР, советской России, становился профессионально в постсоветской, выживать приходится в России, следующей имперскому, советскому, глобальному. Наблюдал крушение, разрушение, изумлялся происходящему, уповал на лучшее будущее, занимался его конструированием, то есть побывал в одно время и деконструктором советского и конструктором будущего, наслаждаясь временем экспериментов, интеллектуальных игр.

В пятом классе, зайдя в книжный магазин, случайно раскрыл том из серии «Философское наследие». Это был Кондильяк. До этого мой интеллектуальный мир состоял из двух сфер: естествознание и художественная литература с историей. А здесь для меня предстал неведомый мне прежде «третий путь», приятно удивило описание мира и объяснение, как человек, созерцая мир, создаёт посредством своей «оптики» и языка совершенно иное представление мира. Чуть позже, будучи юношей, приходил в читальный зал районной библиотеки, брал несколько томов из собраний сочинений Маркса, Ленина, читал. Совсем не потому, что хотел стать марксистом! Просто из интереса: есть своеобразное описание мира и людей, когда они предстают не такими, как это привыкли видеть. Библиотекарши, я думаю, смотрели на меня как на идиота. Погруженные в одну реальность, мы жили в разных мирах, создавали свои картины, образы. И подобных ситуаций было много. Мне хотелось разобраться с наличием «множества миров», способов их создания, уяснить и определиться с установками сознания. В итоге понимание, что интеллектуальная деятельность может восприниматься сверстниками, современниками, соплеменниками, соседями и прочими сопутствующими по жизни – как форма твоей девиации. Также несколько эпизодов, когда, что называется, был на краю, понимал, что все, мне конец, мерцания сознания и пограничные состояния. Ну и изумление от рассыпания СССР как многобашенного замка из песка на берегу моря. Набежала волна, вторая, третья, и все… Все переведено в воспоминания, и чувство недоумения, странного освобождения. Я не любил Советский Союз, но я его понимал, а понимая – не принимал. И затем озарение: что российская империя, что СССР созидались при тесном сосуществовании бездарей и талантов, творцов и рабов, и что это не исключение, а своеобразная «социальная норма», «экзистенциальная пропорция».

Обучение на философском факультете происходило как раз в ситуации сочетания советского и постсоветского, смеси совковости и академизма, соприсутствия носителей реликтовых форм сознания и искателей нового. На одной паре можно было наблюдать за причудами Чанышева, демонстрирующего кинический дискурс, на другой, на спецкурсе у Доброхотова по «Божественной комедии» Данте, посредством герменевтики разбирать точки входа в иные миры. Было из чего выбирать, к кому прислушиваться, и помимо университетской библиотеки у меня была своя, хорошо укомплектованная. При всем том, что были в тот период те, кого я с удовольствием читал и слушал, наблюдал за их преподавательской и исследовательской деятельностью, неформальных «учителей», наставников у меня не было. Люди были замечательные, но не учителя для меня, если говорить о вхождении в науку, в академическое пространство. Наставник был такой же виртуальный, составленный из различных элементов и компонентов. Так что в моем случае все происходило благодаря текстам и наличию нескольких профессионалов своего дела, наблюдая за которыми делал своё дело так, как считал нужным.

Это деланье происходило в разных формах, иногда коллективных. Например, кружок «Летописец» на нашем факультете. Он был как кружок в школе или как в пионерском лагере. Вроде делаешь игрушечные кораблики, однако уже получаешь представление о том, как создаются настоящие корабли, гражданские и военные. Также коллективным делом был журнал «Волшебная гора». Точнее, на первом этапе это был проект двух человек: меня и Артура Медведева. Это был опыт создания интеллектуального продукта с нуля. Самое интересное было именно в экспериментальной части, в период выявления своего проблемного поля, аудитории, перспектив; особая атмосфера при подготовке номера, новые авторы, темы, конструирование интеллектуального мира. Интереснее был порой не готовый продукт, а подготовка его, атмосфера творчества. Затем это пропало, я потерял к делу, проекту, интерес настолько, что даже на долгие годы забыл про его существование. Но все это было какое-то «игрушечное», и у меня нет ностальгии. Большее значение имели для меня ситуации уединения, замыкания на своём деле, поиск своих тем и приёмов.

Находясь в системе, в которой структура деформируется, а новая ещё не определена, азартнее было искать свой стиль, формировать новую эмпирику, темы и проблемы, создавать тексты. В итоге к завершению аспирантуры я подходил не с традиционной диссертацией, а монографией («Очерк философии “самобытнорусской”»). Кафедра по названию была ещё «советской», но я уже мог себе позволить выбрать тему, о которой на тот момент мало кто имел представление: национальное своеобразие философии. В то время вряд ли кому было известно, в каком объёме эта «установка сознания» представлена по времени и в пространстве, текстуальная вариативность, сколько у неё сторонников и противников, является ли подобная «методологическая программа» магистральной или маргинальной, проявлением, хоть и своеобразным, академизма или ментальным явлением фриксообщества. И вот именно этот новый ракурс, непроработанность темы, нетривиальность проблемы и вдохновили меня. Работы больше, зато и результат мог быть интересней. Ни с кем не советуясь, чтобы не тратить время и силы на объяснения, я принялся за работу. В итоге наступило время изумления от погружения в материал, обретения нового образа историко-философского процесса. В итоге удалось показать, что в нашем интеллектуальном прошлом существовала особая тема, разработка которой даёт с обогащением эмпирики обновление контекстуального пространства и коррекцию методологии. Далее последовало открытие для себя и сообщества также совершенно новых на тот момент тем: «женщины в философии», «философия города» (москвософия и петербургология). Всё это было задолго до привычной теперь гуманитариям урбанистики и гендерных исследований, основываясь на выявлении особых, скрытых линий и неявных мотивов в интеллектуальной полифонии. Все это было первым текстуальным про-

явлением, оформлением тех исканий, которые я уже мог позволить себе в условиях «распадающейся совковости» и «цветущей сложности» философского сообщества той поры.

Из последних крупных работ особое удовольствие мне доставило исследование, которое я провёл не ради получения степени, звания, должности или реализации гранта, а исключительно из академического интереса и профессионального азарта, – исследование, оформленное в книгу «Первый историк русской философии: архим. Гавриил и его время». Поразительно, но у нас до недавнего времени об авторе первой «русской философии» 1840 года почти ничего не знали! Это был какой-то мифологический герой, которого чтут, но не понимают, потому что не имеют представления о его жизни и творчестве и, как следствие, не имея контекста, превратно понимали и его тексты. В итоге мне удалось показать и значение архим. Гавриила (В.Н. Воскресенского), и представить в новом ракурсе определённую философскую эпоху, где переплетены интересы научные, политические, религиозные. И книга полезна для понимания не только интеллектуального прошлого, но и настоящего, где мы имеем схожие проблемы и способы их решения. Впрочем, к тому времени, когда итог исследования был представлен в печатном виде, почти не осталось тех, кто в состоянии прочитать книгу. Сегодня сил у специалистов хватает лишь на чтение сделанных по единому шаблону статей. Для этого достаточно пары часов, а книга требует погружения, как минимум, на неделю. Теперь же другие приоритеты, иные формы интеллектуальной деятельности и продукции, и как итог – фрагментарность сознания и лёгкость в перемене умонастроения, ментальная флюидность. Впрочем, это требует особого обсуждения. Пока же только отмечу, что моя деятельность не сводится к историко-философским исследованиям. Они для меня основа моей академической жизни, но не единственная форма интеллектуальной активности.

Впрочем, часть своего времени все же приходится проводить будучи привязанным к различным формам «коллективности». Можно – да и нужно – выделять институциональные и внеинституциональные сферы философской активности. Если мы смотрим на прошлое философии, например отечественной, то мы видим там как «духовно-академическую» философию, так и университетскую. Проблемные поля в них чётко обозначены, функционал определён, функция просветительская и апологетическая интегрированы в корпорацию (духовная академия, университет); видны все ролевые игры, контроль и наблюдение, отчётность; иерархия; борьба за власть, пост, должность. Всё это сохранилось, и занятие философией в условиях «корпорации» предстаёт хоть и не лучшим из миров, но всё же как наименьшее из зол. Всё самое лучшее происходит, чаще всего, вне корпорации, в твоём личном пространстве. Отработав положенные виды активности, ты стремишься в свой мир, в своё личное пространство, чтобы наконец-то заниматься своим делом: писать то, что ты хочешь исходя из собственных представлений актуальности, важности, перспективности; думать над важным, а не нужным в данный момент начальству того или иного уровня. Все институции одинаковы: они создают и поддерживают корпоративные мифологии. Они удобны для начальства, но дискомфортны для творческих людей. Начальство и институции любят планирование и отчётность, покорность и приспособленчество, люди творческие зависят от вдохновения и своих способностей. Для меня все институции, несмотря на их реальные размеры и притязания на статус, это всего лишь несколько человек, профессиональные добродетели которых сформированы не этими институциями и сохранены вопреки им. Если смотреть не на отчётность, а на существо дела, наши учебные и исследовательские «корпорации» мало содействуют философии.

Но у меня нет иллюзии, что «там» все хорошо. У меня был опыт погружения в зарубежное гуманитарное пространство, в частности знакомство с философскими техниками и практиками в США. Я не нашёл там чего-то нового, приятно удивила лишь комфортность их существования (не психологическая, а материальная, инфраструктурная). А так всё как у нас:

разделение труда, узкая специализация, отношение к делу как к профессии, суть которой – бизнес: добывание средств для достойного существования. Никакой мистерии, особого чувства, творческого горения. Кто-то в обществе собирает машины, а кто-то разбирает интеллектуальные конструкции. Каждый занят своим делом и не лезет в дела других, так что философия – профессия, род предпринимательства, а значит, мир выживания, конкуренции, где все средства хороши. Этот мир мне понятен, хотя и не совсем приятен. Равно как и наш.

Что касается «русской философии» как специализации, то произошло это отчасти по воле случая, отчасти увлечениям прошлого: погруженность ещё со школы в девятнадцатый век и начало двадцатого, восприятие его как «золотого» и «серебряного» – через литературу, кинематограф, живопись, историю. Там если и не всегда явно, но присутствовала философия. Однако в университете я специализировался сначала на ИЗФ, и только затем произошло знакомство с частью отечественного философского наследия. Эпоха перестройки, смена парадигм. Подготовил как-то стенгазету (применительно к современной реальности – вывешен был на социальной стене большой пост), где, среди прочего, выписка из Бердяева. В итоге в тот же день на факультете был «шум и гам»: комсомольские и партийные органы были озадачены этой манифестацией. С одной стороны, идеологическая атмосфера уже позволяла инаковость мысли в публичном пространстве, с другой – сказывалась привычка избегать неоднозначных ситуаций: мало ли как завтра всё повернётся в стране? В итоге со мной провёл воспитательную беседу один из профессоров кафедры истории философии народов СССР (было такое забавное явление в истории мысли) – мол, не стоит обольщаться Бердяевым, потому как он мягко стелет, да жёстко спать, и вообще тот ещё тип – «белогвардеец в лайковых перчатках». Но всё было как-то без суровости. Он говорил то, что как бы должен был говорить согласно идеологическим установкам того времени, в котором он всё ещё жил. Он ведь продукт советской философии и состоялся благодаря советскому строю. Типичный пример двоемыслия: думает одно (Бердяев хороший мыслитель), публично говорит и пишет обратное. Система довольна, и ты при делах, руководствуясь партийной диалектикой.

По мере вовлечения в чтение русских мыслителей (дореволюционных и эмигрантских) пришло понимание, что в русской философии есть потенциал, который актуален, что и наше творческое наследие полезно и приятно. В итоге пришлось перейти на кафедру (хотя психологически это было трудно, потому что часть персонажей той поры были для меня ходячими экспонатами из интеллектуальной Кунсткамеры). Но для меня была важна не кафедра (как и всякая институция), а русская философия как явление. Затем произошли существенные изменения как в обществе, так и в академических институциях, институциональная работа стала для меня естественной формой функционирования: с одной стороны, ты полностью вовлечён в технологический процесс, с другой – наблюдаешь за всем происходящим со стороны. Институциональная жизнь – это работа, а жизнь – в творчестве, в философии. Сказанное, возможно, получилось высокопарно, но это всё от усталости и творческой лени, от ощущения, что нет ещё желания подводить итоги. Далеко не всё ещё сделано из задуманного мною, да и теми, кто составляет моё «философское поколение».

# ФИЛОСОФСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН[1]

***Ю.В. Синеокая***
*Институт философии РАН*

**Аннотация:** *Автор рассматривает понятие «философское поколение» как мощный интеллектуальный паттерн со своей оптикой, проблематикой и методами исследования. В статье рассказывается о становлении первого постсоветского философского поколения, пришедшего в профессию на рубеже 1980–1990-х годов, анализируются смена научных ориентиров и реструктуризация философского сообщества того времени. Прослеживается преемственность между философскими поколениями девяностодесятников и шестидесятников. Основные направления работы российских философов конца XX века представлены в социально-культурном контексте эпохи перестройки.*

**Ключевые слова**: *философские поколения, девяностодесятники, история русской философии, самоидентификация, интеллектуальная история 1990-х, Институт философии, философский факультет МГУ.*

Мои заметки о становлении философского поколения девяностых субъективны, избирательны, далеки от завершения. Эта статья – временная остановка, маркирующая этап в становлении образно-смыслового строя коллективной идентичности тех, кто пришел на философский факультет во второй половине 1980-х, одна из граней эксперимента по самоидентификации той части профессионального философского сообщества, к которой я принадлежу. Фиксация и интерпретация ключевых событий интеллектуальной истории моего поколения, отражённых в личном опыте, имеют не только историческую ценность свидетельства очевидца, но важны как для структурирования летописи современной философии в России, так и для моей личной идентификации. Пройдут годы, черновой вариант поколенческого мифа девяностых будет переписан набело, получит статус канонической версии прошлого, исторической истины.

Выстраивание поколенческой мифологемы сродни конструированию философской парадигмы. Философское поколение – мощный интеллектуальный паттерн со своей оптикой, проблематикой и методами исследования. Мифологема девяностых ещё не определена, открыта к альтернированию замысла, её границы смещаются между ставшим и становящимся, существующим и исчезающим, своим и чужим. Завершить этот поиск означает найти код

[1] Первая публикация: Синеокая Ю.В. Философское поколение эпохи перемен. – *Философские поколения* / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. – М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. – С. 700–713.

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.107117*

доступа к смыслообразующей идее того отрезка истории, на который пришлось моё студенчество и вхождение в профессию.

Специфика философского поколения определяется для меня экзистенциальным вкладом в философию людей, близких друг другу по опыту ученичества и интеграции в официальные и неофициальные философские институции. Причиной интуитивного взаимного понимания тех, кто принадлежит к одному философскому поколению, при всем разнообразии спектра стилистических и идеологических предпочтений, служит общность библиографий – интеллектуальный фундамент, заложенный в юности художественной и документальной литературой, фильмами и блогами, перформансами, выставками и спектаклями, поэзией и музыкой, публицистикой и фольклором, социальным опытом и путешествиями.

Философия как особого рода интеллектуальное занятие не возможна без учительства, олицетворённого как идейными лидерами «кружков-школ», так и фигурой Учителя, чьё влияние может и не быть институционально организовано. Однако наряду с иерархическим вертикальным измерением – учитель-ученик, пронизывающим поколения насквозь, существенно и горизонтальное измерение – коммуникация внутри студенческих и аспирантских сообществ. Не только учителя, но и соученики транслируют знание и формируют способы мыслить и аргументировать, открывающие возможность молодым работать самостоятельно. В спорах и дискуссиях однокашников, тренирующих друг друга мыслить критически, задаются на годы вперёд векторы научных исследований и приоритетная проблематика, складываются дружеские союзы единомышленников, вне которых философская работа невозможна.

В горизонтальном измерении профессиональная иерархия не задана изначально, она формируется в живом общении: в оппонировании друг другу, в споре, в противостоянии, в дружеской беседе. Общение вне лекционных аудиторий, наличие близких по духу собеседников и соперников, товарищеские цеховые связи – необходимые условия творческой плодотворной академической жизни. Философская идентификация, наряду со знаменитым хайдеггеровским вопросом (об Адорно): «а кто собственно его учитель?», предполагает не менее важный вопрос: «из какого он поколения?»

Смена научных ориентиров и реструктуризация философского сообщества, знаменующие каждый новый этап его становления, зарождаются и вызревают во внутрипоколенческом диалоге молодых, обуславливаются наличием или отсутствием смысловой оппозиционности нового поколения академическому мейнстриму, зависят от прочности корпоративного единства и поколенческой солидарности философов-неофитов, начинающих возделывать своё исследовательское поле.

Моё философское поколение – это люди, пришедшие в философию на рубеже восьмидесятых и девяностых. Прежде всего это мои однокурсники по философскому факультету МГУ, начавшие учёбу осенью 1987 года, когда стеклянные стены библиотеки и поточных аудиторий первого гуманитарного корпуса на Ленинских горах тонули в небывалом для Москвы тумане, поглотившем, казалось, как в фильмах Антониони, весь мир за стенами университета. На несколько лет мы растворились в книжных лабиринтах: одни из нас выбрали путеводной нитью в философию отечественное интеллектуальное наследие вековой давности, другие погрузились в беспредельность западной философской традиции. С первых учебных дней университет стал для нас Алефом – точкой пространства, вмещающей в себя Вселенную, центром нашего мира, нашим убежищем от путаницы штормовых времён.

Наше вступление в профессию пришлось на время открытых возможностей и живого чувства, годы по-весеннему согретые лучами надежды на преображение. На рубеже 1980–1990-х в духовной атмосфере живо чувствовалось рождение нового, глобального смысла, личная причастность каждого из нас к мировой, единой в неслиянном своеобразии своих составляющих культуре. Рушились границы и разрывались путы. Традиционные национальные ценности возрождались в духе универсализма. Чувство открытости миру порождало ощущение жизни в Истории. Подлинную реальность обретали нити, связывающие моих однокурс-

ников с прежними временами и ушедшими поколениями. Мы постигали, как огромен, многолик и разноголосен мир. Культура и повседневная обыденность частной жизни казались нам нераздельными и исполненными смыслом.

Наше философское поколение сложилось в эпоху перемен. Такие времена не длятся долго. Это были годы, когда на смену веренице выцветших и пресных лет апатии и разочарований пришла новая действительность – жизнь стала подвижной, пластичной и изменчивой, повседневность выбилась из накатанной колеи, а социальные клише и стереотипы истончились, уступив место, казалось бы, невозможному.

Приведу две иллюстрации тех лет, одна представляет общий план эпохи начала горбачевской перестройки, в фокусе второй – философский факультет МГУ. На волне прекращения холодной войны и потепления отношений с США Рональд Рейган дважды (1 января 1986 года и 1 января 1988 года) выступал с новогодними поздравлениями по советскому телевидению, а Михаил Горбачев поздравлял с Новым годом по американскому телевидению жителей Соединённых Штатов… Весной 1990 года, в разгар борьбы с марксистско-ленинской идеологией, на философском факультете МГУ с речью о будущем марксизма выступил самый влиятельный философ конца XX столетия, классик постструктурализма и постмодернизма Жак Деррида. Синхронный перевод его лекции делал авторитетный русский религиозный мыслитель конца XX века Владимир Вениаминович Бибихин.

Мои сокурсники – яркие представители философского поколения девяностых, занимающие сегодня достойное место в отечественной философии: Валерьян Анашвили, Вадим Васильев, Алексей Козырев, Борис Межуев, Игорь Чубаров, Олег Никифоров, Василий Ванчугов, Петр Резвых, Татьяна Резвых, Елена Брызгалина, Андрей Лавров. Если же говорить о нашем философском поколении в широком смысле, то оно представлено также именами Игоря Михайлова, Нины Дмитриевой, Игоря Эбаноидзе, Константина Бурмистрова, Елены Тахо-Годи, Сергея Корсакова, Татьяны Щедриной, Анны Резниченко, Артема Кротова, Дарьи Лунгиной, Михаила Хорькова, Валерия Суровцева, Татьяны Лифинцевой, Светланы Месяц, Марии Солоповой, Михаила Маяцкого, Виталия Куренного, Анны Ямпольской.

Поколениеобразующим центром для нас стал журнал «Логос», задуманный Валерьяном Анашвили ещё на втором курсе университета и осуществленный им вместе с однокурсниками (Игорем Чубаровым, Олегом Никифоровым, Алексеем Козыревым и др.) в 1991 году. Сам факт появления студенческого философского журнала, который за несколько лет обрёл статус неформального, а затем и официально признанного лидера отечественной философской периодики, – свидетельство зарождения на рубеже 1980–1990-х в России новой парадигмы философствования. С поколения девяностодесяников начался этап становления постсоветской философии в России.

Наше поколение максимально реализовало себя в историко-философской работе: исследовании, комментировании и публикации архивных материалов, как отечественных (досоветской и советской эпох), так и зарубежных. Философы нашего поколения создали внушительный пласт аналитики и переводов новейших западных и восточных исследований и философской классики на русский язык. Несколько представителей нашего поколения (Валерьян Анашвили, Олег Никофоров, Игорь Эбаноидзе), помимо публикации собственных текстов и переводов, основали издательства, которые уже несколько десятилетий формируют круг чтения, философские вкусы и стиль мышления русскоязычных интеллектуалов.

Помимо традиционных форм философской работы: исследований, преподавания, переводов, издания собраний сочинений, редактирования и комментирования текстов, организации конференций, семинаров и открытых дебатов, поколение девяностодесятников запустило несколько практических крупномасштабных проектов нового формата. С 2009 года при философском факультете МГУ функционирует Московский центр исследования сознания, основным направлением деятельности которого является разработка наиболее востребованных сегодня проблем: сознание – тело, свобода воли, искусственный интеллект и тождество

личности (сооснователь МЦИС – Вадим Васильев). В 2014 году на базе московской городской библиотеки Достоевского стартовал проект Института философии РАН «Анатомия философии», цель которого – вхождение академической философии в публичное пространство, а с 2018 года при институте открыта международная «Философская мастерская», в которой ведётся работа по интеграции аспирантов и начинающих философов-исследователей в академическую жизнь (оба эти проекта инициированы мной).

За три прошедших десятилетия девяностодесятниками многое было хорошо и серьёзно продумано, сказано, написано, опубликовано как на русском, так и на многих иностранных языках. Понимание нашим философским поколением своей миссии, своего предназначения перекликается, на мой взгляд, с идеей поколения русского культурного ренессанса первой декады прошлого века и с мифом поколения шестидесятников. Вглядываясь в профессиональные судьбы философов своего поколения, я не без удивления вижу, что мы проделали классический шестидесятнический путь из хиппи в яппи быстрее наших учителей, превратившись из философских маргиналов в респектабельных хранителей интеллектуальной традиции прежде, чем достигли акме.

В середине 1980-х годов в России начался бум интереса к отечественной религиозной философии конца XIX – начала XX столетия. Многотысячными тиражами переиздавались тексты мыслителей рубежа веков, публиковались переписки и дневники очевидцев, воспоминания о дореволюционном времени. Актуальными становились проблемы столетней давности. Двадцатого века будто бы и не было. На конференциях и семинарах по вопросам как науки, так и общественной жизни, в выступлениях членов политических клубов и в приватных спорах о судьбах мира и России интеллигенция обсуждала вопросы минувшей эпохи, используя аргументы, логические ходы и авторитетные имена деятелей прошлого. Казалось, что сердцевина двадцатого столетия выпала из культурной истории, была вытеснена как неприятное воспоминание из памяти современников.

На первый взгляд ситуации рубежа прошлых и нынешних веков действительно напоминали друг друга. Русское религиозное возрождение на заре XX столетия пришло на смену позитивизму и материализму XIX века. Самое сильное увлечение в России того времени – учения Конта и Спенсера, как и господство марксистско-ленинской материалистической диалектики, изжив себя, породили взрыв интереса к экзистенциальным и религиозным проблемам. Как и сто лет назад, вера в науку, пренебрежение к существующему порядку вещей и соответствующее им представление о человеке привели к той тупиковой ситуации, в которой регуляторы обыденного существования: религия, мораль и право – потеряли жизненную мощь. Ломалась прежняя и складывалась новая культурная парадигма. Очевидно, однако, и существенное различие в этих временах. Деятели русского духовного ренессанса строили новую религиозную культуру, опираясь на народную традицию, в лоне которой были взращены. Несмотря на резкое отторжение и неприятие народнической идеологии, живая нить религиозности, связующая интеллектуалов с народом, питала их творческую волю и личный мистический опыт. Спустя столетие ситуация изменилась коренным образом. Начавшееся религиозное пробуждение широких кругов общественности проходило под сильным влиянием получивших вторую жизнь книг по религиозной философии. Для значительного числа молодёжи того времени путь в храм лежал через библиотечные залы и архивы, лекции по истории религии и культуры и проповеди священников, многие из которых в недавнем прошлом окончили философские, исторические и филологические факультеты университетов.

Как на заре XX столетия, так и на его исходе интерес наших соотечественников к религии возник из увлечения европейской культурой, из стремления проникнуть в глубь этой культуры, постичь её истоки, вернуть культуре утраченную сакральность, тем самым утвердив её вечный, непреходящий смысл. Обращение к религиозным традициям родилось из обращения к культурным традициям вообще. В те годы для всех было очевидно, что Россия – один из духовных центров европейской цивилизации. Характерной чертой рубежа

1980–1990-х годов было стремление войти в западную культурную традицию, не замыкаясь в своей религиозной или национальной идентичности, стремление к синтезу культур.

В конце 1980-х годов нередкими стали религиозные обращения молодёжи. Публичные лекции отца Александра Меня, отца Артемия Владимирского и диакона Андрея Кураева (окончивших ранее филологический и философский факультеты МГУ) были едва ли менее популярны, нежели выступления известных учёных. Троице-Сергиева лавра стала местом постоянного паломничества. Многие студенты уходили послушниками в монастыри. Однако неверно было бы говорить о том, что расцвет переживала только Русская православная церковь. Начало девяностых годов стало временем всеобщего религиозно-конфессионального самоопределения: значительно возросла паства католических и протестантских приходов, второе дыхание открылось у мусульманских и иудейских общин России.

Политизированность российской общественности также приобрела небывалый размах даже для такой заидеологизированной страны, как Советская Россия. Начиная с I съезда народных депутатов практически все политические события собирали у телевизоров огромное число людей. Летняя экзаменационная сессия 1989 года находилась под угрозой срыва, поскольку профессура и студенчество не отходили от экранов телевизоров, наблюдая происходящие в стране дебаты представителей власти. Многотысячные демократические демонстрации стали неотъемлемой чертой столичной жизни в конце 1989 – начале 1990-х годов. Это время было примечательно и своей проникнутостью искусством. Находившиеся ещё недавно на полулегальном положении рок-группы устраивали свои концерты как на стадионах, так и на квартирных «сейшенах». Отрывались крошечные театры-студии, смело идущие на эксперименты и нововведения, мастерские фотографов, художников и скульпторов превращались в клубы, жизнь которых напоминала знаменитые журфиксы, «среды» и «четверги» Серебряного века, где ощущалась та интеллектуальная напряжённость, из которой и возникла атмосфера русского культурного возрождения. Университет, да и вся Москва, жил жизнью большого праздничного спектакля.

Философский факультет МГУ второй половины 1980-х был местом высокой концентрации талантливой молодёжи, ориентированной на новые смыслы и коммуникацию. Вечно многолюдный вестибюль первого гуманитарного корпуса на Ленинских горах, где стайки хиппи живописно тусовались со студентами – философами, филологами и историками, представлял собой в те годы нечто среднее между творческой лабораторией, концертной площадкой и выставочным залом. Помню, как мы устраивали там выставку «Митьков» – товарищества нонконформистского искусства, участники которого (Дмитрий Шагин, Владимир Шинкарёв и др.) в своих сатирических стихах, прозе, музыке сформировали отечественное диссидентское искусство, близкое к европейскому авангарду и американской контркультуре. В памяти остались и оглушительное выступление екатеринбургской рок-группы «Наутилус Помпилиус» (Вячеслав Бутусов, Илья Кормильцев и др.), сотрясшей стены учебных аудиторий, и звонкая тишина, заполнившая единственный раз на моей памяти наше 11-этажное здание: в этот день все студенты и преподаватели собрались в огромном актовом зале на втором этаже, где читал лекцию А.Ф. Лосев.

Уверена, что сегодня среди философов моего поколения нет человека, забывшего песни Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука и Виктора Цоя, а мои однокурсники наверняка ещё помнят альбомы «Крематория» и «Запрещённых барабанщиков». Мы обсуждали музыку Эдисона Денисова, Софьи Губайдуллиной и Альфреда Шнитке, напевая Джима Моррисона, Дженис Джоплин, Джими Хендрикса.

Нашими культовыми фильмами, наряду со «Сталкером» Андрея Тарковского, «Забриски пойнт» Антониони и «Ассой» Сергея Соловьева, были и пинк-флойдовская «Стена» Алана Паркера, и «Курьер» Карена Шахназарова. Мы знали наизусть мизансцены постановок Бертолуччи, Висконти, Пазолини, Феллини, Бунюэля и Бергмана.

Мы говорили (да и сейчас ещё их не забыли) цитатами из Борхеса, Гессе, Манна, Пруста, Сэлинджера, знали наизусть не только Бродского, Мандельштама, Пастернака, Гумилева, Ахматову, Цветаеву, но и Малларме. Спорили об Умберто Эко, Кафке, Джойсе, Дюрренматте, Носсаке, Павиче, Кундере, Кортасаре, Амаду и Маркесе.

В годы нашего студенчества в учебных аудиториях философского факультета вели занятия наши любимые молодые доценты В.В. Миронов, А.Л. Доброхотов, М.А. Гарнцев, В.И. Маркин и маститые профессора В.В. Соколов, А.Ф. Зотов, Г.Г. Майоров… В каждом из них мы чувствовали родственную душу, преподавание было их служением философии, их призванием.

Признанием в студенческой среде в те годы, как, впрочем, и во все времена, пользовались немногие преподаватели. Одним из авторитетов был Виктор Васильевич Ильин, ездивший, вместе с группой старшекурсников, в Армению, спасать людей во время спитакского землетрясения. Брошенные им на лекциях фразы становились частью студенческого сленга («Карл Поппер жив, но он гносеологический труп»), а его поступки обретали статус исторических анекдотов 90-х. (Однажды на экзамене к нему обратился студент: – Простите, пожалуйста, но в моем билете ошибка, тут написано Конт, а нужно же Кант. – Да, действительно ошибка, – ответил Виктор Васильевич и прибавил: – Откройте-ка окно, молодой человек… Зачётка вылетела в оконный проем одиннадцатого этажа… – А теперь – за ней!..)

Горбачевская оттепель дала импульс к взрыву увлечения гуманитарными науками. Двери университета были открыты для всех. Не только студенты – филологи, историки и философы, но и огромное количество молодёжи, далёкой от специального изучения этих дисциплин, ежедневно до позднего вечера в аудиториях Московского университета слушали лекции открывшейся в 1990 году кафедры теории и истории мировой культуры.

Помню, как мы с Борисом Межуевым помогали Валерию Саврею в 1989 году готовить к открытию эту кафедру. Для нового подразделения руководство факультета выделило помещение, в котором ещё недавно располагалось партбюро философского факультета. В духе времени было решено пригласить священника, чтобы освятить кафедру перед началом занятий.

Думаю, никогда прежде не существовала, да и вряд ли когда-нибудь ещё будет создана, другая университетская кафедра, объединяющая стольких гениев. Лекции читали С.С. Аверинцев, В.В. Бибихин, М.Л. Гаспаров, А.Я. Гуревич, Вяч. Вс. Иванов, Г.С. Кнабе, Е.М. Мелетинский. Их открытые выступления пользовались ошеломляющей популярностью. Даже огромные поточные аудитории первого гуманитарного корпуса МГУ не могли вместить всех собравшихся, так что часть вольнослушателей была вынуждена довольствоваться синхронно воспроизводимым выступлением лекторов в соседних специально оборудованных помещениях. Мысль из академических аудиторий, из предназначенных для специального пользования книг, возвращалась к нуждающимся в ней людям. Складывалось поколение идеалистов, искренне живущих книжной жизнью. Не только сами курсы лекций блестящих интеллектуалов, но и долгие семестровые зачёты, перераставшие в памятные на всю жизнь беседы, длившиеся часами и заканчивавшиеся ближе к полуночи, остались в памяти моих однокурсников как «пиршества духа» par excellence.

Пик интереса к отечественной духовной и интеллектуальной традиции пришёлся на 1990 год, отмеченный небывалым за всю историю существования кафедры истории русской философии философского факультета МГУ количеством студентов, решивших специализироваться именно в этой сфере.

По коридорам философского факультета МГУ расхаживали почитатели и исследователи В.В. Розанова, Н.А. Бердяева, Вл.С. Соловьева, имевшие почти портретное сходство со своими философскими героями. В моду у студентов – историков философии вошли бородки à la Флоренский, убелённые благородной сединой шевелюры à la Соловьев и знаменитый соловьёвский раскатистый смех.

Самыми яркими профессорами кафедры были М.А. Маслин и В.А. Кувакин. Комната для кафедральных семинаров не пустовала ни утром, ни вечером. За уставленным чашками длинным столом, во главе которого неизменно возвышался самовар с баранками, безостановочно велись семинары-чаепития, перетекавшие, казалось, из одного в другой без пауз. Захватывающие спецкурсы читали гости кафедры Н.В. Котрелев, В.В. Сербиненко, А.И. Абрамов. Из ребят, специализировавшихся в это время на кафедре русской философии (Алексей Козырев, Борис Межуев, Игорь Чубаров, Василий Ванчугов и я), быстро сложилась дружеская компания. Вскоре В.А. Кувакин познакомил нас с недавним выпускником кафедры философии народов СССР (так наша кафедра называлась до 1989 года) Дмитрием Барамом, вынашивавшим идею создания кружка по изучению русской религиозной философии. Назвали мы наше сообщество «Летописец», оно просуществовало несколько лет.

Думаю, что со временем на философской карте Москвы в числе прочих зданий, отмеченных как места, связанные с повседневной жизнью духа, появится и адрес небольшого жёлтого особнячка по бывшему тогда ещё Аксаковскому, а ныне носящему своё прежнее историческое название – Филипповский, переулку. Здесь в причудливой коммунальной квартире, выходящей окнами на крошечную церковь св. Филиппа, в которой некогда был рукоположён в священники выдающийся русский философ о. Сергей Булгаков, собирались за овальным столом под абажуром молодые люди, в большинстве своём студенты философского факультета университета. Нередкими гостями бывали и «подпольные», и официально признанные авторитеты философского сообщества, научные сотрудники Института философии РАН, духовные лица, преподаватели МГУ и других учебных заведений. Между ними, людьми различных конфессиональных принадлежностей, религиозных и политических пристрастий, велись бесконечные споры и диалоги, переходящие в заслушивания научных докладов с последующим бурным их обсуждением.

Страстный интерес к «Летописцу» проявил и другой выпускник кафедры истории русской философии, неизменно облаченный во френч, антипод Дмитрия Барама – Дмитрий Галковский, подаривший нашей группе печатную копию своего, тогда ещё неизданного бестселлера «Бесконечный тупик». Эта книга знаменовала запоздалое рождение в нашей стране постмодернизма в осмыслении отечественной философской традиции. Для меня «Бесконечный тупик» пример того, что представлял из себя оригинальный философский текст fin de siècle, претендующий скорее не на научную строгость историко-философского исследования, а на оригинальность и удачную стилизацию импрессионизма В.В. Розанова.

На смену единой идеологии, с необходимым цитированием при каждом подходящем и неподходящем случае текстов Маркса или Ленина, пришел идеологический плюрализм – каждая политическая группировка выбрала подходящего философа, имя которого стала использовать как ярлык, обозначающий её идеологические предпочтения. До распада СССР, в начале горбачевских демократических реформ, самым крупным философским авторитетом был В.С. Соловьев. Присущий ему универсализм, призывы к терпимости и утверждение единства средиземноморской культуры и цивилизации оказались как нельзя кстати во времена вхождения страны в единое мировое сообщество. Вторым по популярности в это время может быть назван Н.А. Бердяев, чьи знаменитые работы: «Истоки и смысл русского коммунизма», «Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX и начала XX веков» и «Смысл творчества», с характерным для них поиском религиозной правды коммунизма, смягчали ломку социалистических ценностей и способствовали выходу страны из идеологического кризиса, самоопределению и раскрепощению людей. Ставшая в то время знаменитой фраза философа: «Кроме бесправного отвлечённого космополитизма и насильственного бесправного национализма может быть ещё третья, идеалистическая точка зрения на национальность, полагающая национальный путь не в задаче государственности, а в самобытном, творческом осуществлении универсальных общечеловеческих начал» [Бердяев 1989: 41] – максимально полно выражала дух того периода в недавней истории страны. К 1990 году, времени

объявления суверенитета России, на передний план выдвинулась фигура В.В. Розанова. Мягкий консерватизм и национализм, любование традиционностью быта, сосредоточенность на повседневных проблемах человека, вопросах семьи и пола, воспевание домашнего уюта и маленькой родины – вместилища универсума, вкупе с лишь ему присущими интуицией слова и умением отразить мельчайшие состояния души, снискали автору «Уединённого» и «Опавших листьев» огромную популярность. Последующее самоопределение России в качестве суверенного государства и сопряжённые с этим сложности определили появление в идеологическом пространстве страны двух антагонистических лагерей: либерально-антиимперского стана, выразителем идей которого стал Г.П. Федотов, автор наиболее цитируемой статьи «Судьбы империи», и резко оппозиционного ему союза имперско-антизападнических сил, символом которого явился И.А. Ильин, автор наиболее популярной в этой среде работы «Чем угрожает миру распад России».

Казалось бы, произошло издавна чаемое русскими философами соединение отвлечённой мысли и обыденной жизни, философия пришла в политические реалии повседневности. Ещё патриарх русской религиозной философии В.С. Соловьев, первый создатель философской системы на русской почве, уделял огромное внимание использованию духовных максим в жизненной практике. Не в отвлечённом суде над миром отвлечённостей видел он призвание философа, а в практическом деле, когда, становясь публицистом, он горячо выступал против смертной казни, эгоистического национализма, нарушений веротерпимости и отождествления нации и государства с абсолютным началом, подчиняющим себе Церковь. Однако в политической жизни 1990-х в ходу оказались не столько сами учения, сколько отдельные идеи, ставшие лозунгами и работавшие на политическую конъюнктуру. Имена религиозных и общественных мыслителей рубежа XIX–XX веков выполняли роль лакмуса, определяющего партийную принадлежность цитирующего их автора, хотя зачастую тематика его работы была весьма далека от идеологии. Эта ситуация не только сохранилась, но и усугубилась в наши дни. Так, например, имя знаменитого историка философии И.А. Ильина, написавшего лучшее в России исследование о Гегеле, в общественных кругах ассоциируется прежде всего с националистско-этатистским крылом современного антизападничества. А Н.А. Бердяев в начале 2010-х чуть было не стал лицом новой национальной идеологии России, после того как его работа «Философия неравенства» была поднята на щит отечественными младоконсерваторами.

Имена мыслителей рубежа XIX–XX веков, сохраняя прежнюю популярность и звуча на публичных собраниях, посвящённых самым неожиданным вопросам, так и не ожили в своих преемниках. Новый религиозный миф, из которого, как ожидалось, должна была сложиться новая русская философия, не был рождён. Личное сознание замкнулось в себе, став монадологичным. Потребность в общении, коммуникации перестала быть основополагающей. Мифологема девяностых, залогом которой служила экзистенциальная близость интеллектуалов, распалась, с ней ушло ощущение реальности проживаемой истории. Этим обстоятельством объясняется и нынешнее «учёное варварство» (А. Белый) – чехарда фантомов «спасительных» идей, практически бесполезных в коренным образом изменившемся, за почти столетний отрезок времени, мире. Новые идеи – всегда продукт глобальных смыслов, порождаемых реальной жизнью. Прерванная культурная традиция не может быть продолжена в изменившихся условиях людьми, обладающими другим жизненным опытом. В истории не бывает зазоров и разрывов. Русская духовная традиция жила в XX веке, меняясь и трансформируясь, как в Советской России, так и в России эмигрантской. Имитируя ушедшее, нельзя восстановить жизненную связь времён, нельзя вернуться к истокам иначе как лишь феноменальным, но никак не сущностным образом.

Андрей Вознесенский назвал девяностые эхом шестидесятых. Это формула верна и для философских поколений. Нас учило философии поколение хрущевской оттепели, инициировавшее вторую оттепель – горбачевскую. Девяностодесятники унаследовали от профессоров-

шестидесятников коммуникабельность, веру в товарищество, солидарность, открытость миру, убеждённость, что наука вообще и философия в частности – дело коллективное. Именно шестидесятники передали нам эстафету личной вовлеченности в культурную традицию и идеал свободного, открытого научного сообщества, главными критериями успеха в котором являются профессионализм и талант созидания новых смыслов. Они заразили нас устремлённостью в будущее, желанием выйти за пределы изначально заданного. Шестидесятники открыли перед нами двери в научное сообщество, сразу приняв нас всерьёз, они растили нас как свою профессиональную смену, видели в нас своих интеллектуальных преемников.

Думаю, что не ошибусь, если в числе книг, которые в юности прочитал каждый студент философского поколения девяностых, назову две монографии Пиамы Павловны Гайденко – «Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания Киркегора» и «Философия Фихте и современность», труд Эриха Юрьевича Соловьева «Непобеждённый еретик (Мартин Лютер и его время)» и трилогию Валерия Александровича Подороги «Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX–XX века».

Студенты философского факультета были желанными гостями в Институте философии АН СССР. Пятиэтажный жёлтый дом под зелёной крышей по адресу: Волхонка, 14, навсегда остался для меня сакральным местом. Здесь мне посчастливилось услышать зимой 1987 года одно из последних выступлений Мераба Константиновича Мамардашвили «Проблема сознания и философское призвание», проходившее в переполненном слушателями легендарном красном зале с лепным потолком, в котором хоть раз в жизни выступали все известные московские философы XX столетия. А год спустя мы с однокурсниками участвовали в шумной встрече сотрудников института с тогда ещё не президентом Ельциным, приехавшим в Институт философии за поддержкой московских интеллектуалов. Сюда я с трепетом приходила в сектор истории западной философии, казавшийся мне клубом великих, беседовать с Нелли Васильевной Мотрошиловой, предложившей мне в конце 4-го курса поступать в аспирантуру института и ставшей моим научным руководителем и другом на всю жизнь. В сектор истории западной философии Института философии РАН я была зачислена аспиранткой осенью 1992 года, а с 2013 года, вслед за Нелли Васильевной, руковожу нашим сектором.

Вплоть до переезда в 2015 году Института философии РАН в новое здание на Гончарной, 12, сектор истории западной философии располагался в двух смежных комнатах на пятом этаже. Окна сектора выходили на Волхонку. В юные мои институтские годы из них открывался вид на бассейн «Москва», зимами превращавшийся в огромное причудливое облако пара, а в тёплые дни наполнявший все воздушное пространство весёлым гомоном купальщиков. После защиты кандидатской диссертации за окнами сектора с шумом и лязгом дымилась строительная площадка, шло воссоздание храма Христа Спасителя. Докторскую диссертацию я защищала под величественный звон колоколов главного храма России, золотой купол которого в упор смотрел в окна нашего сектора вплоть до переезда института.

В начале 2020 года три верхних этажа заметно обветшавшего здания Института философии были снесены, а оставшийся остов перестроен. Но в моей памяти хранится нетронутым наш пятый этаж, пространство сектора, разрез окна и стол заседаний, за которым я вижу навсегда оставшихся на Волхонке коллег – тех, кто принял меня в своё сообщество, когда я пришла в этот дом впервые, кто помогал мне освоиться в профессии, кто передал мне нить, связывающую всех нас в единое целое – сектор истории западной философии Института философии РАН: В.М. Богуславский, З.А. Каменский, Т.И. Ойзерман, А.Л. Субботин, В.П. Гайденко, В.А. Жучков, М.М. Ловчева. Совершив трудный исход с Волхонки на Гончарную наш сектор постепенно обжился в новых стенах института. Н.В. Мотрошилова, Т.Б. Длугач, Э.Ю. Соловьев, И.А. Лаврентьева, А.А. Столяров, А.В. Кричевский, М.А. Солопова, М.Л. Хорьков, Д.О. Аронсон вдохнули жизнь в квадрат новой комнаты нашего сектора на четвёртом этаже философского дома. В последние годы наш сектор помолодел и окреп те-

ми, кто вошёл в сообщество истории западной философии уже на Гончарной: А.Г. Жаворонков, Н.А. Татаренко, О.И. Кусенко, И.А. Михайлов, С.В. Месяц, А.Т. Юнусов.

Уже тридцать лет я живу жизнью Института философии. Каждый раз, поднимаясь на его порог и отворяя входную дверь, у меня перехватывает дыхание. Это то щемящее чувство причастности к сообществу многих поколений достойных и талантливых людей, которое пронизывало меня на Волхонке, 14, и которое живёт во мне на Гончарной, 12. Институт для меня тот стержень, та жизненная ось, на которую нанизываются события, определяющие мою судьбу. За прожитые годы мне посчастливилось параллельно преподавать в разных университетах, жить радостями и болью близких мне людей из других стран, моя личная история связана не только с Москвой, но и Иерусалимом, Оксфордом и Парижем, я знаю эти города наизусть, научилась читать лица их жителей. Но куда бы я ни уезжала, я всегда рада возвращению в наш общий философский дом, в мой институт.

Ключевая роль в том, как сложилась моя профессиональная судьба, принадлежит моим коллегам, моим учителям. Назову два имени – Нелли Васильевна Мотрошилова (научный руководитель моей кандидатской диссертации и консультант моей докторской диссертации) и Георгий Степанович Кнабе (мой любимый университетский профессор). С каждым из них мне посчастливилось дружить: обсуждать происходящее, вместе осмысливать пережитое и не случившееся. К ним я приходила перед принятием важных жизненных решений, не за советом, за благословением. С каждым из них мне повезло бродить по бульварам и переулкам Москвы, путешествовать, обмениваться книгами. Я наблюдала за тем, как выкристаллизовывались их замыслы, как они подбирали нужные слова. Они помогли мне перестать быть их ученицей – научили не соглашаться, полагаться на себя, действовать иначе и вопреки. Они научили меня продвигаться к вершине и, что намного тяжелее, спускаться вниз. Им было важно моё мнение, их всерьёз интересовал мой выбор, ход моей мысли. Для меня всегда были открыты двери их домов, где я была желанным гостем, где мне были рады их близкие. Они были для меня мерой достоинства, стиля, творческой свободы и профессионализма. Оба они виртуозно владели искусством счастливо жить своей работой. Они научили меня воспринимать историю не как синоним прошлого, отделённого от сегодняшнего дня временной дистанцией, а как происходящее здесь и теперь, видеть в потоке повседневности ориентиры будущего, жить в становящейся традиции, фиксировать и анализировать живые смыслы. Они стали для меня символами философского поколения шестидесятников.

Второй важный фактор, определивший меня, – моё поколение, те ребята, с которыми я училась на философском факультете МГУ, общение с которыми обусловило меня сегодняшнюю. К счастью, многие мои пожизненные коллеги, оппоненты и совопросники – девяностодесятники. Сегодня, как и тогда, на рубеже 1980–1990-х годов, наше товарищество далеко от mutual admiration society, в нашем содружестве не было и нет упоительного согласия. Пора нашего самоутверждения была отмечена борьбой за интеллектуальное лидерство, состязанием талантов и умений. Мы спорили и доказывали друг другу свои истины, мы восхищались друг другом, мы были интересны друг другу, учились друг у друга, радовались успехам друг друга. Сегодня, как и в университетские годы, мы готовы протянуть друг другу руку, подставить дружеское плечо. Мы интересны друг другу. Наши публичные выступления сегодня, как и тогда, сопровождаются внутрипоколенческими спорами, суждения подвергаются сомнению, опровергаются и обсуждаются пристрастно. Друзья-критики были и остаются лучшими учителями, заставляя работать, совершенствоваться, пробовать новое, идти вперёд. Внутренняя жизнь моего философского поколения – товарищеский ринг, игра по правилам, но всерьёз.

Как бы много нареканий ни снискала эра горбачевской перестройки, это время оправдано уже тем, что дало импульс к жизни моему философскому поколению. Нам повезло не только одними из первых распахнуть дверь наружу, во внешний мир, но и отомкнуть засовы у входа в скрываемое прошлое, приблизиться к ещё недавно запретным хранилищам ум-

ственных достояний человечества. Угодив в информационный водоворот недоступных прежде текстов и архивных материалов, моё поколение осознало необходимость держаться плечо к плечу, чтобы вместе исследовать и обживать открывшийся нам новый, ещё неосвоенный нашими предшественниками, философский ландшафт. Эта задача, обернувшаяся личным вызовом каждому, сплотила нас, сделала одним поколением, определила наш профессиональный и жизненный путь.

---

Бердяев И.А. 1989. О творчестве национального духа. – *Декоративное искусство СССР*. – № 3.

# НОВАЯ АТЛАНТИДА, КАСТАЛИЯ, ТЕЛЕМСКОЕ АББАТСТВО…[1]

***Б.В. Межуев***
*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова*

**Аннотация:** *Текст даёт краткую характеристику истории поколения интеллектуалов, которых принято называть поколением девяностых. Автор размышляет о пути этого поколения, выбирая для анализа судьбу небольшой компании своих однокурсников, тех, кто в настоящий момент перешёл через пятидесятилетний рубеж и достиг, вероятно, акме социальной зрелости. Подчёркивается, что это поколение достигло больших результатов в философской деятельности. Автор отмечает причину собственного отчуждения от пути своего поколения и обнаруживает её во внутреннем протесте против характерного для его однокашников стремления интеллектуально изъять себя из своего времени, чтобы быть помещённым в иной контекст – временной или пространственный. Отмечается, что само это стремление было заимствовано представителями поколения девяностых у философских вождей шестидесятников. Проблема философского поколения рассматривается в контексте многовековых поисков интеллектуального класса своего места в обществе в явном конфликте с существующими в традиционном аграрно-сословном мире социальными иерархиями.*

**Ключевые слова**: *философское поколение, интеллектуальный класс, Новая Атлантида, феноменология, постмодернизм, социальная утопия.*

Если считать, что поколения сменяют друг друга каждые двадцать пять лет, то получается, что в каждом веке должно было быть четыре поколения. Между тем поколений в культуре за XIX и XX века всегда только три. Вспомним название знаменитого романа Ивана С. Тургенева и согласимся с тем, что в каждом веке были свои «отцы» и свои «дети» и в каком-то особом, культурном, смысле «дети» так и остались «детьми», не став «отцами». Разумеется, в биологическом смысле у них тоже были свои дети, но дети «детей» всё-таки не стали особым поколением в культуре. Многие из них остались реально бездетными, многие ушли из жизни ещё в юном возрасте, но главное – люди шестидесятых годов XIX века остались в культурной памяти поколением бунтующих «кухаркиных детей», и бунтующих

[1] Исследование выполнено при поддержке и в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия». Первая публикация: Межуев Б.В. Новая Атлантида, Касталия, Телемское аббатство… – *Философские поколения* / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. – М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. – С. 714–731.

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.118130*

при этом даже не против своих биологических отцов, но против задержавшихся на исторической сцене людей из сороковых. Все эти сложные взаимоотношения «детей» с их культурными «отцами» явились не только темой знаменитого романа Тургенева, но и сюжетом для произведений Ф.М. Достоевского, А.Ф. Писемского, А.В. Амфитеатрова.

Наряду с «отцами» (идеалистами тридцатых – сороковых годов) и их «детьми» (нигилистами-шестидесятниками и новыми идеалистами семидесятнического, то есть «владимиро-соловьёвского», призыва) мы обнаруживаем в XIX веке также поколение воевавших «дедов» – поколение ветеранов войны с Наполеоном, героев битв под Аустерлицем и Бородино, персонажей «Войны и мира». Воевали на разных войнах не только «деды», но и некоторые «отцы» и в редких случаях «дети», однако той «единственной», подлинно Отечественной, войной было национальное сопротивление наполеоновскому нашествию, которое, трудно в это поверить, длилось всего несколько месяцев 1812 года: своим значением для русской национальной памяти оно, однако, превзошло все годы иностранных антинаполеоновских кампаний России.

Итак, поколения в простом возрастном смысле, конечно, менялись всегда, но в русской культуре XIX века столкнулись именно три генерации – «дедов», «отцов» и «детей», и их непростые и часто конфликтные отношения стали одним из факторов развития общественного самосознания и философии XIX века.

Но ведь что-то аналогичное мы обнаруживаем и в веке XX. Здесь тоже есть свои идеалистически мыслящие «отцы» – шестидесятники, есть очень разные, часто бунтующие против них «дети» – это мы, «поколение девяностых»[2], и наши старшие братья – «восьмидесятники», и, конечно, воевавшие «деды», ветераны второй Отечественной войны, называемой по праву Великой.

У «шестидесятников» очень много черт пересечения с «идеалистами сороковых годов»: как и последние, они были в философском отношении поклонниками немецкого идеализма, а потом раскололись на славянофилов и западников, при этом часто не разрывая личных связей. Это были люди, уже не вполне вписывавшиеся в мир «дедов» с их системой оценок и норм, однако всегда испытывавшие сложности с трансляцией своих ценностей более радикальным «детям», которым поведение «отцов» казалось слишком компромиссным и недостаточно радикальным[3].

Старшие братья-«восьмидесятники» – интеллектуалы круга М.А. Колерова и А.А. Носова – осуждали «отцов» последовательно и открыто за их неспособность порвать с марксистскими догмами, социалистическими иллюзиями и чересчур розовыми надеждами. Персональным воплощением «отцовства» казался им (да, вероятно, и кажется по сию пору) М.С. Горбачев, мишень политических нападок «детей» XX столетия вначале с либеральной,

[2] На первой пристрелке двух поколений на заседании в клубе «Свободное слово» летом 1992 года, где претензии от «восьмидесятников» к старшим товарищам озвучивал входивший тогда в популярность Дмитрий Галковский, нас с Юлией Синеокой попросили выступить от имени поколения «девяностых», назвав несколько неудачно «девяносками». Название как-то не прижилось, и вскоре мы слились с «восьмидесятниками» в некое общепоколенческое единство, сохраняя при этом вежливую отстранённость от тех, кого я сейчас называю старшими «братьями». Материалы этого собрания потом были опубликованы в апрельском номере журнала «Знание – сила» за 1993 год.

[3] Об этом споре шестидесятников и их прямых наследников много и хорошо писал покойный критик и литературовед Лев Аннинский: «Читая критические статьи о нынешних молодых, я то и дело натыкаюсь на любопытную закономерность; они отделяют себя от “шестидесятников” (те – “научились жить при деспотизме”, а эти – не хотят учиться), однако внутри молодого массива граней не проводят. То есть между “семидесятниками” и “восьмидесятниками” для них грани нет. И самоназваний, похоже, ещё нет: ни у тех, ни у других» (цит. по: Аннинский б/г).

а затем – очень часто – с консервативной стороны[4]. «Восьмидесятники» – аналог нигилистов шестидесятых годов, только 120 лет спустя.

Наша поколенческая траектория выглядит намного сложнее. Мы были для «отцов» поколением надежды, в нас они хотели видеть осуществление своих мечтаний – то, что надеялись видеть в В.С. Соловьеве дожившие до его публичного дебюта люди сороковых – К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, М.П. Погодин. После вечных «блудных детей», наших культурных первенцев, думали они, наконец-то пришли молодые, готовые нас почитать и нас слушать.

Я сам хорошо помню вот это парадоксальное чувство притяжения /отталкивания от «отцов», которое испытывали те мои однокурсники по философскому факультету и сверстники, кто планировал остаться в профессии. В отличие от «братьев» – восьмидесятников, которые бунтовали против «шестидесятников» и звали нас присоединиться к их бунту, нашему поколению было свойственно желание прямо обратное – получить какое-то символическое посвящение от «отцов», чтобы почувствовать себя подлинными продолжателями их дела. Это был типичный синдром «младших сыновей», желающих превзойти своих повзрослевших братьев за счёт большей верности принципам родителей. На самом факультете настоящих «отцов», то есть философов поколения Э.В. Ильенкова и М.К. Мамардашвили и их образа мыслей, было немного, здесь было как раз больше «дедов», в символическом смысле этого слова, один из которых – недавно ушедший от нас Ричард Иванович Косолапов, тогда и. о. декана, – в своей вступительной речи у нас на первом курсе сказал очень откровенно, что факультет заинтересован «сделать из нас воинствующих материалистов». Однако задача, которую мы сами ставили перед собой, состояла в том, чтобы, взяв от наших факультетских наставников знания и интеллектуальные навыки, затем всё-таки прорываться к «отцам».

Институт философии для многих стал местом своеобразного философского паломничества студентов факультета. Нельзя сказать, что все эти походы за своеобразным «отцовским» благословением были удачны. Помнится, мы с Юлией Синеокой и Игорем Чубаровым ещё на первом курсе, зимой 1988 года, отправились в Институт философии знакомиться с одним из корифеев старшего поколения – Г.С. Батищевым. Генрих Степанович радушно нас принял, познакомил со свежим своим текстом – что-то о диалоге и любви, рассказал о своей полемике с Мамардашвили по русскому вопросу и пообещал новых встреч. Однако напоследок он обратился лично ко мне с просьбой не говорить моему отцу, коллеге Генриха Степановича, о своём визите к нему. Эта просьба мне не очень понравилась, и данный опыт общения с Батищевым остался у меня единственным. Я знаю, что многие мои однокурсники искали, да и до сих пор ищут, дружеского и духовного взаимопонимания с другими выдающимися представителями «шестидесятников». На третьем курсе все понемногу разбрелись по такого рода кружкам, каждый из которых обязательно восходил к кому-то из интеллектуальных вождей поколения «отцов».

Была ли какая-то общая доминанта в этих поисках посвящения? Чего мы искали и что рассчитывали найти у «шестидесятников», что в их идеях, в их мировоззрении нас привлекало более всего? Я рискну высказать по этому поводу ряд гипотез, сознавая их неполноту и недостаточность. В библиотеке моего отца, на полке зарубежной художественной литературы стояла книга с твёрдым серым корешком, которую я в детстве

[4] Кажется, многие «восьмидесятники» не всегда замечают, что на протяжении своей жизни критиковали Горбачева и всю «шестидесятническую», по их мнению, перестройку с прямо противоположных позиций. Это тоже какая-то очень характерная черта вот этого конфликта «отцов» и «детей». Я легко себе представляю, как доживший до начала 1880-х Евгений Базаров из «нигилиста» превращается в ультраконсерватора и начинает громить либералов круга Кирсановых с позиции православия, самодержавия и народности. Да, собственно, реальная судьба Л.А. Тихомирова и Ю.Н. Говорухи-Отрока – явное подтверждение допустимости моей гипотезы.

никак не мог одолеть. Это была «Игра в бисер» Германа Гессе, то её издание 1969 года, в котором содержались переводы стихов автора от имени главного героя романа Йозефа Кнехта, выполненные С.С. Аверинцевым. Попав на факультет, я слышал об этой книге постоянно. Руководитель нашего кружка по русской философии, который мы назвали «Летописец», Дмитрий Барам требовал от нас, почти на полном серьёзе, неуклонного соблюдения всех тех заветов Касталии, следование которым только и могло бы возвратить нас к утраченному идеалу философского подвижничества. Речь в первую очередь шла об отказе от политики и всякой общественной деятельности и в целом о необходимости погружения исключительно в реалии той культуры, философская мысль которой должна была стать объектом нашего изучения. На нашей первой университетской картошке тот же Игорь Чубаров сидел в отдалении от всей остальной компании и читал «Игру в бисер», которую он в разговоре со мной назвал, кажется, «евангелием нашего времени».

Отмечу ещё, что все первые годы нашего ученичества сквозной темой наших разговоров была необходимость вернуться к какому-то её утраченному истоку, как бы искажённому и отравленному. Сейчас, вспоминая разговоры тех лет, я, конечно, уже сознаю, что это был немного миф, которым жили интеллигенты тех лет. Они представляли Советский Союз, свою страну едва ли не как культурную пустыню, в которой оазисы подлинной духовности могли быть расположены только рядом с теми ручейками, что связывали наше время с дореволюционным прошлым. Я помню, таким было отношение к А.Ф. Лосеву – как к последнему осколку высшей и погибшей духовности. Требовалось пробиться, вырваться в какое-то иное время, а для этого – полностью отречься от всех пристрастий к времени собственному. Это был своего рода темпоральный гностицизм – восприятие своей собственной жизни и мира вокруг себя как чего-то абсолютно профанного, лишённого всякого духовного смысла. Надо признать, что многие, как будто выпавшие из времени однокашники потом вписались в этот постсоветский и постидеологический мир лучше тех, кто, наблюдая за распадом прежних социальных структур, отчаянно пытался разгадать загадку бытия, увидеть в происходящем какой-то назидательный смысл. Однако свою негативную роль этот прыжок из современности всё-таки сыграет.

Но именно от наших «отцов», от тех, кому довелось жить и творить в годы застоя, от С.С. Аверинцева, В.В. Бибихина и А.М. Пятигорского, перешли к нашему поколению любовь к философскому отъединению от времени, стремление к ментальной изоляции от социального, нормативное равнодушие ко всему, что совершается за окнами библиотеки. Жизнь, согласно этим представлениям, не должна была вторгаться в священное пространство духа, и духу нечего было делать на улице, на открытых перекрёстках и распутьях истории. Дух не должен был обнаруживать себя в заведомо чуждой ему истории, представляющей нам лишь ложные призраки, симулякры смысла, которые ранний Мамардашвили вслед за Марксом называл «превращёнными формами сознания» [Мамардашвили 2011]. В бурное время начала перестройки философское сообщество входило совсем не с романтической философией, с философией, отказывающейся видеть во внешнем мире (во всяком случае, в своём, конкретно советском конца 1980-х годов мире) объективизацию и конкретизацию идеального. Всякая кажимость осмысленности являлась либо «превращённой формой сознания», либо идеологически обусловленной аберрацией восприятия. Наш мир, согласно этой установке, был безнадёжно испорчен, и задача философа состоит не в том, чтобы его изменить, а в том, чтобы из него вырваться. В этом глубоко гностическом интеллектуальном контексте интерес к русской философии (которая тогда, в годы нашей учёбы, получила наконец официальную реабилитацию) либо оставался чисто историографическим, либо сводился к заведомо антифилософскому поиску верных идеологических формул.

Но всё это странно уживалось с ностальгией по эпохе Серебряного века либо – по авангардистским двадцатым. Как разрешение этого напряжения стала популярной идея,

объединявшая, кажется, обоих Сергей Сергеевичей – Аверинцева и Хоружего. Идея состояла в том, что великую интеллигентскую культуру дореволюционной России погубил утопизм, погубило отсутствие необходимой для сохранения культуры в культурных рамках буржуазности. Культуру погубило отсутствие бюргерства, о котором писал Томас Манн, или, выражаясь попривычному, мещанства. Если бы русские философы не размышляли о всяких «смыслах истории», не мучились бы проблемой социального неравенства, а, как выражался герой «Собачьего сердца», «занимались прямым своим делом», систематической философской рефлексией в гуссерлевском смысле, переводили бы с греческого Платона и Аристотеля, революции можно было бы избежать, а вместе с ней и последующего культурного одичания в советские годы.

Н.А. Бердяев в автобиографии «Самопознание» сокрушался о трагическом разрыве культуры и политики в эпоху Серебряного века. В башне В.И. Иванова, писал он, обсуждались утончённейшие вопросы культуры, а внизу, на улицах и площадях, бушевала революция. В 1989–1991 годах мы могли бы сказать примерно то же самое, когда далеко за стенами 1-го гуманитарного корпуса МГУ шли стотысячные толпы манифестантов, а в это самое время студенты на лекциях Виктора И. Молчанова проникали в суть феноменологического описания времени. Меня и тогда удивляла ярко обозначившаяся любовь к Хайдеггеру людей, интеллектуально выключенных из повседневности. Я задавался вопросом: как можно с упоением читать «Бытие и время» и не пытаться пережить и осмыслить своё время в его социальной конкретности?

Разгадка отчасти состояла в том, что наше поколение более всего боялось походить на предшествующие генерации русских студентов. Оно не хотело ни в чем напоминать достоевских «русских мальчиков» с их страстными спорами и нерешаемыми проклятыми вопросами. Ф.М. Достоевский, кстати, очень быстро вышел из моды ещё в годы нашей учёбы, и ему на смену в качестве русского писателя № 1 пришел В.В. Набоков. Моих сокурсников явно привлекала эстетическая, если не сказать эстетская, отстранённость (возможно, кажущаяся) писателя от социальной и нравственной проблематики большой русской литературы. Из лекторов организованной тогда на факультете усилиями В.В. Миронова и В.Я. Саврея кафедры истории и теории мировой культуры, на которой читали С.С. Аверинцев, Е.М. Мелетинский, А.Я. Гуревич и другие корифеи гуманитарной Москвы, среди студентов нашего курса самый оглушительный успех имел Бибихин, рассуждавший о Хайдеггере с позиции какого-то вневременного взгляда на бытие и место человека в нем. Мне лекции Бибихина казались, честно говоря, каким-то медиумическим опытом ухода от социальной реальности, и его влияние меня обошло, что потом сыграло свою роль в моей личной отстранённости от траектории судьбы моего философского поколения.

В качестве своего рода лидера поколения, не столько властителя дум, сколько мощного и сильного организатора, уже на первом нашем курсе выдвинулся Валерий Анашвили. Он сразу дал понять, что среди тех, кто пришел на факультет заниматься философией, а не штурмовать – разными способами – начальственные кабинеты, он будет играть первостепенную роль. И уже осенью 1987 года Валера создал при содействии нашего начальника курса А.А. Попова проект студенческого журнала, и одному из его потенциальных авторов пришла в голову идея републиковать веховскую статью А.С. Изгоева «Об интеллигентной молодёжи»[5]. Напомню, что описываемые события развивались в 1987 году и «Вехи» тогда ещё были полузапрещённой книгой, осуждённой самим В.И. Лениным как «энциклопедия либерального ренегатства».

В той статье Изгоев описал жизнь русского студента как сочетание политической идейности с бытовым непотребством, в изображении которого, как мы теперь можем

[5] «Вехи» в полном составе были выпущены ещё при СССР в эпоху «перестройки», но спустя три года, в 1990 году, московским издательством «Новости».

убедиться, кадетский публицист немного сгущал краски. Русской молодёжи веховский публицист противопоставлял дисциплинированное немецкое студенчество, корпящее над фолиантами учёных текстов якобы в полном отчуждении от политических страстей. Изгоев нас убедил: с того момента наиболее выдающиеся представители нашего поколения усердно старались походить именно на немцев – на тех самых «аполитичных» гелертеров, которых воспел в «Размышлениях аполитичного» Томас Манн. Нужно ещё иметь в виду, что значительная доля этих будущих гелертеров пришла в философию, увлечённая либо русской религиозной публицистикой, либо какими-то атрибутами культуры хиппи, либо миром научной фантастики. Если искать для нашего поколения миф, то этот миф был полной противоположностью тому, в котором Вяч. Иванов прозревал «русскую идею» – идею нисхождения культуры в мир народной жизни в целях её будущего дионисийского возрождения[6]. Наше поколение отреклось от этой «русской идеи» во имя идеи предположительно немецкой – исхода из хаоса жизни в храм «высокой» культуры, забвения мандельштамовского «шума времени» ради тишины библиотеки.

Вполне объяснимо, что и любимой философией поколения гелертеров должна была стать сугубо профессорская, кабинетная, отчуждённая от любого социального и экзистенциального контекста философия, и эту роль наилучшим образом могла выполнить феноменология. Поэтому основанный ещё на первом курсе журнал Валерия Анашвили немедленно самоопределился как журнал феноменологической философии, и в его редколлегию вошли все видные советские специалисты по Гуссерлю. Увлечённость феноменологией была логическим продолжением того же самого касталийского самоотчуждения от духа времени ради ухода в пространство самосозерцания. Сейчас, конечно, я вижу в этом умонастроении побочное следствие краха утопии, которая своим истоком имела философию истории Гегеля. Но мы ещё увидим, что само это зависание в надежде сохранения своей философской автономии оказывается предельно неустойчивой стратегией, легко подверженной деконструкции, причём идущей изнутри самого созерцания, поскольку неизбежно попадает в плен собственных парасуицидальных фантазмов. Мы ещё с коллегами на курсе, увлекаясь творчеством Борхеса и Умберто Эко, заметили вот эту постоянно витающую в искусстве того времени тему «пожара библиотеки». Напомню, что в те же годы «перестройки», когда раскрылись спецхраны библиотек, стали выходить первые издания русских идеалистических философов, а вместе с ними новые переводы Ницше, Сартра, Фрейда и Хайдеггера, в те же годы на экраны России вышли «Скорбное бесчувствие» А.Н. Сокурова, «Жена керосинщика» А.Л. Кайдановского и «Жертвоприношение» скончавшегося в декабре 1986 года А.А. Тарковского. А в 1990 году в кинотеатрах Москвы прошла широким прокатом картина Жан-Жака Анно «Имя розы» по суперпопулярному в те годы роману Умберто Эко. Все эти произведения искусства объединял один образ – гибели того, что могло бы считаться символом культурной полноты, сожжения либо библиотеки, либо старой усадьбы, либо симфонического оркестра. Трудно было не почувствовать какой-то зов судьбы в этом бессознательном влечении к образу самоубийства культуры.

[6] «Для человека правое нисхождение есть, прежде всего, склонение перед низшим во всем творении и служение ему (знаменуемое символом омовения ног), вольное подчинение, предписываемое личности сознанием её долга перед тем, кто послужил её возвышению. “Я преклоняюсь перед тобой, я поднялся выше, чем ты, оттого что попрал тебя ногами моими, когда поднимался, пятою своей я подавил тебя”… Уже тот факт, что этот голос немолчно звучит в душе нашей интеллигенции и немолчно зовёт её к жертвенному действию самоотречения и саморасточения, ради нисхождения к тем, безгласная жертва которых создала её преимущества, коих она совлекается, – уже этот факт доказывает, что религиозное сознание в русской душе есть сознание как бы прирождённое, имманентное, психологическое, живое и действенное даже тогда, когда мысль противится ему и уста его отрицают. Только у нас могла возникнуть секта, на знамени которой написано: “Ты более чем я”» [Иванов 1909: 329–330].

Постепенно, примерно с осени 1990 года, в эту касталийскую музыку сфер, в это пространство чистого созерцания стала вторгаться новая тональность. Но чтобы её описать, дать о ней представление, мне придётся сделать одну небольшую дигрессию, раскрыв некоторые собственные историософские основания.

На мой взгляд, современное общество отличается от традиционного, назовём его аграрно-сословным, тем, что открывает для себя социальную роль научного знания. Современное общество отличается тем, что учитывает приоритетную роль знания и, соответственно, роль производителя знания – интеллектуального класса – в развитии общества и его конкурентном успехе. Общество оказывается тем сильнее, чем на более передовых рубежах науки находятся его цеха производства научного знания, чем быстрее оно оказывается способно воспользоваться плодами их деятельности. Изначально интеллектуальный класс занимает не самое высокое место в системе сословной иерархии. Но рано или поздно он обретает социальную и политическую субъектность и начинает претендовать на лидерство[7].

Ранним свидетельством этой социальной претензии может считаться незавершённая утопия Фрэнсиса Бэкона «Новая Атлантида». Рукопись этой повести была найдена в бумагах великого английского учёного XVI–XVII веков и опубликована посмертно в 1627 году. Утопию эту не очень любили в СССР, поскольку, в отличие от Мора и Кампанеллы, Бэкон не призывал ни к общности имущества, ни к насильственному установлению социального равенства. Не найти у Бэкона ни призывов к общности жён, ни борьбы с церковью. Его утопия не претендовала на полномасштабную и коренную перестройку всего человеческого общежития. Смысл её состоял в подчинении общества, его политической и социальной инфраструктуры тому сегменту интеллектуального класса, который был вовлечён в производство научных инноваций в разных направлениях.

Хотя в повести Бэкона подробно не описывается политическое устройство острова Бенсалем, но в ходе рассказа о таинственном Доме Соломона, своего рода Академии наук, расположенной на этом острове, выясняется, что члены дома обладают такими правами, которых лишены остальные островитяне. Им, например, позволено вступать в контакт с иностранцами, что строжайше запрещено другим жителям Бенсалема[8]. Из этого и других замечаний Бэкона можно сделать вывод, что Дом Соломона если и не представляет собой в прямом смысле тайного правительства острова, то является как бы идеальной целью, «энтелехией» его существования: остров в целом служит интересам Дома, обеспечивая успех его деятельности. И в то же самое время плоды достижений Дома Соломона, то есть научно-исследовательской корпорации, возвращаются островитянам в виде конкретных материальных благ.

«Новая Атлантида» – это та социальная утопия, на которую во все века сознательно или бессознательно ориентировался интеллектуальный класс: в таком обществе все классы работали бы на благо учёных, а те в свою очередь, будучи освобождены от физической работы и занимаясь любимым делом, выведывали у природы её сокровенные тайны и платили бы другим классам за их «отчуждённый» труд приоритетным доступом к плодам самых передовых технических и научных открытий. По сути, это общество, хотя и не

[7] В концепции хронополитики Вадима Цымбурского этот момент истории получает название «городской революции». Цымбурский в данном случае пытается дать характеристику тому феномену, который Освальд Шпенглер во втором томе «Заката Европы» называет «временем Пифагора, Мухаммеда, Кромвеля» [Цымбурский 2007: 156–180].

[8] «Запретив своим подданным плавания во все края, не подвластные его короне, государь, однако ж, постановил, чтобы каждые двенадцать лет из королевства нашего отплывало в разных направлениях два корабля; чтобы на каждом из них отправлялось по три члена Соломонова дома для ознакомления с делами тех стран, куда они направляются, в особенности с науками, искусствами, производствами и изобретениями всего мира, и для доставки нам всевозможных книг, инструментов и образцов; и чтобы привезшие их корабли возвращались, сами же они оставались в чужой земле до следующей такой поездки» [Бэкон 2019: 249].

является в строгом смысле эгалитарным, на самом деле и представляет собой первый вариант того общественного устройства, который ранний большевизм считал переходной формой к будущей коммунистической утопии. Революционные марксисты обозначили фактически диктатуру инженерно-технического и научно-исследовательского сословия понятием «диктатуры пролетариата». Феномен интеллектуального класса был скрыт за многозначным понятием «пролетариат», которым можно было объединить фабрично-заводской люд и инженерно-техническую интеллигенцию в явной надежде, что инженеры (в том случае, если они примут марксизм как программу действий) поведут за собой рабочих, а рабочие своим протестным массовым давлением освободят инженеров от господства частных собственников, заставив работать на общество в целом.

Сейчас не место рассказывать о том, как, посредством каких диалектических изворотов истории идеал Новой Атлантиды превратился в красный проект «диктатуры пролетариата» и какими неприятными последствиями обернулась тоталитарная эволюция розенкрейцеровской по своим истокам идеи Бэкона[9]. Нас интересует сейчас «вырождение» бэконовской Новой Атлантиды в отдалённую от всех страстей мира, да и от самой жизни, Касталию. Эта эволюция была отражением добровольного или вынужденного отказа советского интеллектуального класса от той роли, которую сулила ей коммунистическая утопия, – роли политического гегемона общества, скрывающего своё подлинное лицо под маской «пролетариата». В эпоху застоя поколению «отцов» было позволено сохранить свою интеллектуальную автономию в духовном противостоянии номенклатуре. Последняя, между тем в конце 1960-х годов осуществила своего рода контрреволюцию, обезопасив себя от возможных рецидивов коммунистической идеократии (в лице непредсказуемого Н.С. Хрущева или же группы молодых партократов под руководством А.Н. Шелепина). И в этом противостоянии правящая элита смогла опереться на поддержку неформальных вождей интеллектуального класса. Теоретически возвращение к Новой Атлантиде в этот момент было вполне возможно, если бы философы позволили бы себе объявить интеллигенцию «пролетариатом» постиндустриальной эпохи (что попытались сделать в конце 1960-х такие люди, как футуролог И.М. Забелин или тот же самый Батищев[10]), но интеллектуальный класс в массе своей предпочёл не воевать с бюрократами во имя реставрации идеократии, но отвергнуть социальную утопию как ложную, «превращённую форму сознания».

Что же произошло потом? Журнал «Логос», в редколлегии которого поначалу мои однокурсники Валерий Анашвили, Алексей Козырев, Игорь Чубаров, Олег Никифоров сошлись с профессиональными германоведами И.А. Михайловым и позднее присоединившимся к журналу Виталием Куренным, в 1990-е пережил непростые времена. Полная отвлечённость от жизни, уход в чистое теоретическое мышление – всё это явно не могло оставаться залогом успешного развития издания. Думаю, что уже в 1992 году феноменологическая специализация «Логоса» начала подвергаться сомнению в среде людей, причастных к изданию журнала. Внутри группы «Логоса» явно начало усиливаться левое крыло – кому феноменология стала представляться делом чрезмерно отвлечённым, кто искал нового контакта с реальностью, на новых условиях. Это привело к временному расколу журнала – на либеральное правое и постмодернистское левое крылья. Примерно к середине нулевых конфликт был преодолён, но в тот момент само различие левого постмодернизма и правого либерализма утратило остроту.

---

[9] О том, как преломились мистические идеи розенкрейцеров в утопии творца английского Просвещения, см.: [Йейтс 1999].

[10] На эту тему см. беседу автора с живым участником этих футурологических поисков – Глебом О. Павловским: «Мыслящий пролетариат» за двадцать лет до конца советской утопии – Русская idea. 23.05.2020. – URL: https://politconservatism.ru/interview/myslyashhij-proletariatza-dvadtsat-let-do-kontsa-sovetskoj-utopii-beseda-borisa-mezhueva-s-glebom-pavlovskim

Мне можно возразить, сказав, что никакого завета не было, что шестидесятники менее всего соответствовали идеалу философской отстранённости, что они были, напротив, крайне политизированным поколением и что именно они и возглавили в итоге все радикально-демократические инициативы, поддержав вначале Горбачева, потом Б.Н. Ельцина, в конце концов положив свой авторитет на оправдание рыночных реформ. Это всё так, но «дети», то есть поколение девяностых, хотели преемственности не от внешней шумной политической деятельности «отцов», но от их чаяний и мыслей 1970-х – начала 1980-х годов. Они отталкивались от Мамардашвили, говорившего в письме Луи Альтюссеру «Долой политику» в ноябре 1968 года [Эпельбуэн 2009], от Бибихина с медиумическим философствованием, от Аверинцева с его культом Гессе.

Напомню, что жизнь внутри Касталии у Гессе определялась отчуждённостью не только от политических интересов, но и от страстей иного рода. Жители Педагогической провинции в романе Гессе не живут монашеской жизнью, они могут вступать в сексуальный контакт с девушками из соседних деревень, но не имеют права иметь семью и, самое главное, они не должны смешивать чувственность и культуру, не должны сублимировать игру страстей в работу художественного воображения. В этой отчасти аскетической утопии культура всякий раз утверждает свою автономию от неизбывно чуждой ей жизни.

Но веком ранее Новой Атлантиды была создана другая утопия, полностью разводящая социальный эскапизм и моральный аскетизм. Речь идёт о Телемской обители. В романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» был запечатлён образ аббатства, в котором проживавшие совместно юноши и девушки, предаваясь вдохновенным интеллектуальным занятиям, вместе с тем подчинялись только одному правилу, высеченному над башней большими буквами: «Делай что хочешь». В этом самом странном из всех монастырей не было никаких запретов, никого распорядка жизни, никакой иерархии и никаких стен. Но при всем при том это был всё же монастырь – как и любой другой монастырь, он спасал людей, посвятивших себя созерцанию и умственным занятиям, от суетной общественной жизни, с её игрой сил, соперничеством амбиций и прочими атрибутами голого существования. Телема – это Касталия без аскезы, Касталия без страха перед жизнью. Тут важен отнюдь не сам факт допустимости чувственных удовольствий, а то, что они не воспринимаются как что-то постороннее умственным исканиям. Отметим, что Касталия – исключительно маскулинный мир, тогда как Телемская обитель принимает мужчин и женщин, которым даётся право делать, что они считают нужным. Телемская обитель – идеал хиппи шестидесятых годов, но и очень точный образ сегодняшней постмодернистской культуры – с её пафосом отказа от иерархии низких и высоких жанров, с её приоритетом телесности, с её соотнесенностью плоти и духа.

Я лично помню, как покойный В.А. Подорога говорил молодым поклонникам Гуссерля, что феноменология – это обращенность к детскому сознанию. Детскому, то есть ещё не отягощённому телесными страстями, многие из которых и не могут быть описаны иначе как иносказательно, поскольку любое прямое высказывание может быть оценено как coming out – акт не столько постыдный, сколько сужающий круг читательской аудитории до соответствующего сегмента сетевого пространства. Отметим в недавних текстах того же Игоря Чубарова явное третирование прежних касталийских авторитетов, профессоров философии типа В. Дильтея за стремление использовать ницшевское открытие тела в философии лишь для утверждения цеха гуманитарного знания. Он так пишет о создателе герменевтической философии:

Одновременно ему отчасти удалось аккумулировать диагностированный Ницше нигилистический заряд европейской культуры в «позитивных» целях перераспределения власти в сфере институционального научного знания, чтобы как бы разделить её с естественниками, оттянув у них часть аудитории и государственных инвестиций. Что бы ещё могла означать необщеобязательность, конвенциональная достоверность положений

гуманитарного знания как не ложную скромность, замешанную на скрытой гордыне и страхе кастрации основателя герменевтической философии, одновременно задействовавшей старые мифы материальной локальности и духовной избранности? [Чубаров 2002: 169–170].

Но достаётся не только касталийским мандаринам, озабоченным лишь своим социальным статусом в авторитарной системе распределения власти и влияния, но также и несостоявшимся прорабам Новой Атлантиды, которым, собственно, и посвящена вся книга данного автора о «коллективной чувственности», вытесняемой и в то же время преобразуемой творцами русского авангарда, родоначальником которого Игорь Чубаров видит, парадоксальным образом, Андрея Белого. По мнению философа,

> …главное, что отличало взгляды Белого на аффективную жизнь от греков, философов Нового времени и того же Канта, – это понимание, что человеческое желание не всегда стремится к благу, чаще оно стремится к страданию и смерти, не переставая быть при этом свободным. Желание желает желания Другого, а аффекты различаются на жизнеутверждающие и разрушительные в зависимости от того, соглашается ли Другой удовлетворить подобное желание или нет [Чубаров 2014: 88].

Однако если Новая Атлантида предстаёт в этом исследовании своего рода недостроенной Телемской обителью, то разве невозможен ещё один диалектический поворот нашего винта: а именно, возвращение к политической гегемонии сообщества интеллектуалов, но уже в форме Телемского братства? Нет ли здесь определённой разгадки нашего исторического бытия и в то же время разгадки странной судьбы нашего поколения, ушедшего от политики, чтобы вернуться в неё вооружённым заимствованной у «отцов» идеей, но постмодернистски перетолкованной до самого её основания? Ведь вся эта цифровая дистантная жизнь, на которую интеллектуалов обрёк 2020 год, по существу и есть нечто иное, как реванш интеллектуального класса, только в такой странной и неправдоподобной форме, при которой полноценная социальная и экономическая жизнь оказывается закреплённой за сообществом людей, предпочитающих тусоваться в чатах, а не встречаться в офисах.

Что в этом смысле можно сказать о моем личном пути в области философии, в какой момент он совпал с путём моего поколения, а в каком он с ним разошёлся? Мне кажется, символическим моментом расхождения с поколением стало одно событие, произошедшее, кажется, на втором курсе, то есть весной 1989 года. Тогда вместе с Юлией Синеокой и покойным Кириллом Якимцом, который поступил на факультет годом позже нас, мы покинули курс Бибихина и выбрали курс Г.С. Кнабе. Я прослушал полностью два курса Кнабе – в 1989 и в 1990 годах. Один был посвящен роли античного наследия в русской культуре, второй – феномену шестидесятых годов XX века в культурной истории Европы. Важно было, что среди всех курсов, читанных нам корифеями отечественной культурологии, только Кнабе сообщал нам что-то о том времени, которое мы актуально переживали, только Кнабе не уводил нас из нашего «жизненного мира», а приближал к нему. Первый прочитанный им курс рассказывал об уходе из национальной истории имперского начала, освящённого древнеримскими аллюзиями и ассоциациями. Речь шла о постепенном исчерпании классического элемента культуры, возвышающего человека над интересами хозяйственной жизни. И эта исчерпанность переживалась в 1989 году как актуальная реальность: в тот момент, в самые последние годы перестройки, в нашей стране люди заговорили не о ценностях и принципах, но о разделе и распиле собственности. Всё духовное, всё имперское, всё чуть-чуть сверхчеловеческое отошло куда-то на второй план.

Ну а курс Кнабе 1990 года о шестидесятых годах – это было уже о том, куда ушли наши собственные «шестидесятые», то есть самый конец 1980-х с расцветом русского рока, постоянными выставками неформальных художников, взлётом интереса к русской культуре и, в частности, к философии. Почему на смену всему этому пришли Иван Ильин и Фридрих

Хайек, то есть государственный консерватизм и рыночный либерализм в том или ином их сочетании? В общем, Кнабе стал для меня учителем современности, научившим мыслить о времени, не уходя в абстракции и сохраняя верность конкретным деталям эпохи.

Но что же русская философия? В какой мере востребованной оказывалась она? Проблема состояла в том, что русская философия в дореволюционное время несла в себе очень мощный потенциал утопизма, который в послеоктябрьский период оказался в значительной мере дискредитирован и подвергся деконструкции в таких работах, как «Сумерки кумиров» С.Л. Франка или же «Пути русского богословия» отца Георгия Флоровского. Мы открывали русскую философию уже с критическими пояснениями П.П. Гайденко, Р.А. Гальцевой или С.С. Хоружего, в которых мыслителям Серебряного века ставилась в вину их неспособность отделить временной план бытия от надвременного, земное от небесного. Однако с этим отчуждением имманентного от трансцендентного исчезали две сущности, которые и волновали прежде всего: исчезала проблема времени не как голой длительности, но как конкретной смысловой наполненности определённого отрезка истории, и исчезала проблема России как интуиция смысловой наполненности определённой части земного пространства. В своё время московская философско-математическая школа, из которой вышел в том числе отец Павел Флоренский[11], ставила проблему качественной дифференциации времени и пространства, доказывая, что подобные смысловые узлы в пространстве и времени не иллюзия художественного восприятия, а своеобразная онтология, для описания которой нужен особый научный метод. Увы, эта идея не нашла своего продолжения в советской неформальной философии, которая предпочла оторваться и от времени, и от России. Не случайно в поисках России нам пришлось обратиться к геополитике, а в поисках своего времени – к идеям Освальда Шпенглера.

Сейчас уже мне кажется, что любое, практически любое полноценное описание положения интеллектуального класса в современном обществе – это и есть утопия. Неутопической (не путать с антиутопической) может считаться попытка описать функционирование общества, абстрагируясь от факта существования интеллектуального класса, не замечая его особой роли в истории Нового времени. В этом смысле принципиально неутопическими были либеральные социологические и экономические теории, популярные в девяностые. Согласно ходячим тогда воззрениям, человеческое общество делилось без остатка на производителей материальных благ и их потребителей, и между этими группами сохранялись взаимовыгодные отношения торгового обмена. К этому основному разделению труда только добавлялось государство, играющее роль ночного сторожа в этом мире лавочников, покупателей и полицейских. Но что в этом социуме могли делать учёные, занимали ли они в нем какое-то особое место или же между ними и производителями иных товаров и продуктов не было существенной разницы? Проблема в том, что учёные производят такое знание, которое в конце концов меняет структуру всего общества, и поэтому их позиционирование в этом обществе не может не быть остроконфликтным. Учёные, производители нового знания – неизбежно революционеры. Поэтому какое описание места учёного сословия в обществе мы бы ни выбрали – оно неизбежно было бы утопическим: в этом смысле и Новая Атлантида, и Касталия, и Телема – всё это, конечно, разновидности какой-то одной утопии, решающей проблему положения интеллектуального класса в обществе торгового обмена.

До какой же смысловой развилки добрались мы в настоящее время? Какую ситуацию мы переживаем сегодня и с каким багажом добралось до неё наше философское поколение? Мы видим, что в среде более молодых, чем мы сами, интеллектуалов появилась очень отчётливая тенденция упрекать поколение «отцов» не столько за соучастие в развале

[11] См. исследование недавно скончавшегося С.М. Половинкина: Половинкин 1991: 43–67.

Советского Союза, сколько за неспособность предотвратить наступление консервативного путинизма. «Отцы», то есть шестидесятники, критикуются молодыми либеральными радикалами, типа Александра Дмитриева или Александра Маркова[12], за то, что они проигнорировали, пропустили, не приняли опыт западных «шестидесятых». Слишком поспешно отвергли контркультуру, неомарксизм, гендерную критику патриархального начала и тем самым не смогли реально приблизить Россию к постмодернистской Европе. Патриархальность, согласно этим представлениям, как бы проросла своим фаллическим напором сквозь фиговый листок постсоветской демократии и тем самым отрезала Россию от того цивилизационного потока, который влечет Евро-Атлантический мир в сторону царства репрессированной маскулинности.

С моей точки зрения, желание подтолкнуть Россию именно в эту сторону имеет классовую основу. Дело не в самом по себе бунте меньшинств против вожделеющего твёрдой авторитарной руки большинства, дело во всё том же стремлении интеллектуального класса вновь утвердить своё превосходство – за счёт апелляции к якобы угнетённым группам населения. Но теперь интеллектуальный класс обрёл гигантское оружие, и это оружие – виртуальный мир, который в наше время всё более вытесняет мир реального производства и недистантной занятости.

Иными словами, во всем цивилизованном мире снова замаячил «призрак коммунизма», точнее, той самой Новой Атлантиды, в которой всё общество работает на благо учёных, а учёные – на благо всего общества. Однако в условиях очередного витка секуляризации бэконовские аскеты (в Бенсалеме, в частности, господствует строгая супружеская мораль[13]) сменились раблезианскими поклонниками тонких чувственных удовольствий, открывшихся человечеству в результате, главным образом, виртуализации сферы услуг. Вот этот перелом – от социализма к капитализму и обратно – и стал главной фабулой истории нашего поколения, и он представляет для нас, безусловно, вызов, состоящий в необходимости сформулировать собственное отношение к тому процессу, что бурно развивается на наших глазах и который, при естественном течении событий, вновь неизбежно вынесет класс интеллектуалов на гребень исторической волны. Однако, скорее всего, когда мы сами окажемся на этом гребне, нам придётся измениться настолько радикально, что едва ли мы сможем сохранить свою идентичность без серьёзного ущерба.

Чтобы добиться социальной победы над военной аристократией в XX веке русский интеллектуальный класс должен был отказаться от веры в Бога. Он оказался готов это сделать, но – в силу оппортунизма или инстинктивного консерватизма – от традиционной семьи он был отказаться не готов. Молодые радикалы сегодня упрекают предшествующие поколения именно за эту непоследовательность и нерешительность: порывая с религией, необходимо было отбросить вместе с ней также и семью, тогда бы отмерла и частная собственность, как она отмирает сама собой сегодня, в эпоху карантинов и локдаунов. Радикалы по-своему правы. При отсутствии семьи – нет и смысла в приватности, при отсутствии приватности лишается жизненного смысла частная собственность. Сохраняя семью, мы из парадиза бесконечного виртуального общения возвращаем себя в ад частнособственнических отношений. Расставаясь с семьёй, мы получаем возможность не думать ни о чем материальном, «кроме свежевымытой сорочки», и жить только ради

[12] См., в частности: Дмитриев 2019; Марков 2019.

[13] На острове не только нет однополых отношений и многобрачия, здесь отсутствуют публичные дома и проституция.

Эта страна – девственница мира, – говорит рассказчику иудейский купец по имени Иоабин. – Ибо нет среди смертных ничего более прекрасного, чем целомудрие этого народа. Знай же, что нет у них ни публичных домов, ни блудниц и ничего на это похожего Они любят говорить, что лишившийся целомудрия лишается и уважения к себе. А уважение к себе считается у них наиболее могущественным средством обуздания пороков [Бэкон 2019: 256–258].

творчества и познания, что немыслимо для человека «ойкоса», который должен думать о стяжании материальных благ, хотя бы для обеспечения детей и внуков.

Но считаем ли мы вот этот мир «коллективной чувственности» (вновь отсылаю к чубаровской метафоре) судьбой нашего поколения? Не заключена ли его судьба, напротив, в обретении смысла вот этих самых неизбежно отбрасываемых новым укладом старых социальных институтов – семьи, собственности и национальной традиции? Мой затянувшийся на три десятилетия спор со своим поколением связан с поиском ответа на вопрос о выборе консервативной или же леворадикальной альтернатив, при наглядном самоисчерпании альтернативы собственно либеральной. С моей точки зрения, консерватизм более выигрышен именно как рефлексивная стратегия, позволяющая видеть и понимать тренды наступающего дня, не стремясь при этом адаптировать себя и свою ценностную систему к ним. Конформист будущего, мне кажется, будет проигрывать в рефлексивности, а соответственно, и в философской состоятельности, любому консервативному скептику, способному спокойно и невозмутимо читать книгу Времени. И если мы сможем дать этому скепсису хорошую методологическую основу, думаю, наша поколенческая миссия будет исполнена.

---

Аннинский Л.А. б/г *Шестидесятники, семидесятники, восьмидесятники*… – Доступно: http://anninsky.ru/index.php/traektorii-1970-1988/shestidesyatniki-semidesyatnikivosmidesyat niki. – Проверено: 05.05.2023.

Бэкон Ф. 2019. Новая Атлантида – Классическая утопия: Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Бэкон, С. де Бержерак. – М.: АСТ, 2019.

Дмитриев А. 2019. Баткин и марксизм, или Снова об «уютности культуры». – *НЛО*. – № 6(160). – Доступно: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/160_nlo_6_2019/article/21780/. – Проверено: 05.05.2023.

Иванов Вяч. 1909. О русской идее. – Иванов В.И. *По звёздам. Опыты философские, эстетические, критические*. – СПб.: Оры. – С. 329–330.

Йейтс Ф. 1999. *Розенкрейцеровское просвещение*. – М.: Энигма, СПб.: Алетейя.

Мамардашвили М.К. 2011. Превращённые формы. – Мамардашвили М.К. *Формы и содержание мышления*. – СПб.: Азбука.

Марков А. 2019. «Единая плоть»: одна скрытая полемика Баткин – Аверинцев – Баткин. – *НЛО*. – № 6(160). – Доступно: https://www.nlobooks.ru/magazines/ novoe_literaturnoe_ obozrenie/160_nlo_6_2019/article/21782/. – Проверено: 05.05.2023.

Половинкин С.М. 1991. Московская философско-математическая школа. – *Общественные науки в СССР*. – № 2. – С. 43–67.

Цымбурский В.Л. 2007. «Городская революция» и будущее идеологий в России. – Цымбурский В.Л. *Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006*. – М.: РОССПЭН. – С. 156–180.

Чубаров И.М. 2002. В. Дильтей и Г. Шпет: границы герменевтики. – *Герменевтика. Психология. История. Вильгельм Дильтей и современная философия*. – М.: Три квадрата, 2002. – С. 169–170.

Чубаров И.М. 2014. *Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда*. – М.: Издательский дом ВШЭ.

Эпельбуэн А. 2009. Переписка М.К. Мамардашвили с Луи Альтюссером. – *Философия России второй половины XX века: Мераб Константинович Мамардашвили*. – М.: РОССПЭН.

# МИФЫ НАШИХ ПОКОЛЕНИЙ[1]

***И.А. Михайлов***
*Институт философии РАН*

**Аннотация:** *В статье анализируется ситуация, сложившаяся в философии в годы после распада СССР, а также ожидания, умонастроения и взгляды тех, кто в начале 90-х гг. заканчивал своё профессиональное образование в области философии. Автор касается некоторых особенностей философской моды тех лет: интереса к русской религиозной философии, феноменологии (и, в частности, к Хайдеггеру), увлечение французской философией и даже феномен постидеологического возврата к марксизму. Рассматривается роль новых форм публикационной активности, которые в этот период открывали для себя молодые философы; вскрыты отдельные проблемы восстановления связи с прерванной философской традицией. Показаны некоторые черты, отличающие мировоззрение поколения 90-х от позиции «шестидесятников».*

**Ключевые слова**: *философское поколение, поколенческий миф, девяностодесятники, русская философия, феноменология, постидеологический марксизм, философские журналы.*

Я не уверен, что на современной российской сцене присутствует «поколение», примерно соответствующее моему биологическому возрасту, а также примерному времени получения диплома о высшем образовании с прописанной в нем квалификацией «философ» (начало – середина 90-х). Если к началу «нулевых» число выпускников философских факультетов, остающихся в профессии, ещё можно было оценить в десятка три человек, то к 2020 г. не могу насчитать более 15–20. Я имею в виду тех, кто на регулярной основе продолжает преподавать какую-либо из дисциплин гуманитарного профиля, а также – и это важно! – даёт о себе знать научными публикациями. 1990–1998 гг. – время не самое благоприятное для того, чтобы выпускник нашей дисциплины мог закрепиться в выбранной профессии. В моем случае была ещё по крайней мере одна веская причина «растерять связи» со своим поколением, а также несколько оснований, достаточных для сомнения в том, что я был типичным представителем «своего поколения». Однако прошедший период, ограниченный 35–40 годами, – время настолько интересное, что я с удовольствием воспользовался этим благовидным предлогом.

[1] Первая публикация: Михайлов И.А. Мифы наших поколений. – *Философские поколения* / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. – М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. – С. 769–824.

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.131170*

### *Начало интереса*

Адорно полагал, что источник философии, которая более чем просто рутинная деятельность и «зарабатывание на кусок хлеба», лежит в объективации комплекса «изначального опыта» [Adorno 1973: 85]. Каким он был для каждого из нас, пошедших на философию в середине 80-х? Установить это сейчас необычайно трудно. Полагаю, в моем случае одним из толчков послужило чтение достаточно широкого и пёстрого круга литературы. Каждый из авторов подталкивал по-своему. Ранние книги Л. Шестова давали возможность взглянуть на русскую литературу XIX и начала XX в. – в первую очередь Толстого, Достоевского, Чехова – с неожиданной стороны; интеллектуальная журналистика Н. Бердяева помогала расширять кругозор. Работы французских и немецких просветителей, с которыми я познакомился поначалу через сборники афоризмов, совершали умственную диверсию в той форме, от которой человек 14–15 лет не ожидает никакого подвоха. Это были точечные инъекции как будто ни к чему не обязывающих размышлений об обычаях, нравах и вообще о «человеческой природе». «О человеке» Гельвеция расширило и укрепило этот интерес. Несколько позднее тяжеловесная, местами крайне многословная проза М. Монтеня впервые научала, что внимание может с необычайной пристальностью быть обращено также и на себя самого. Талантливые литературоведческие книги – например, «От Монтеня до Арагона» Андре Моруа – были важным дополнением. Вообще, для многих из нас литература становилась одной из «дверей» в философию или, по крайней мере, подкрепляла уже зародившийся интерес к ней. Довольно частыми проводниками становились работы Г. Гессе и Дж. Сэлинджера, как будто специально предлагающего в своих героях возрастную модель, максимально близкую читателю-подростку.

При содержательно-тематической ограниченности того, что могло быть доступно тогда в Советском Союзе, существовало несколько публикационных жанров, которые существенно скрашивали ситуацию. Существовали небольшие издания, доступные для понимания ученикам 6–8-х классов, например «У колыбели науки» и «Сова Минервы» Генриха Волкова. Важное значение имели книги серий «Эврика» и «Над чем работают, о чем спорят философы». Из того, что было бы ближе к «серьезной», «трудной» философии, могу вспомнить докритического Канта и гегелевские лекции по философии истории. Из вторичной литературы наибольшее впечатление оставили книги А.В. Гулыги о Канте, Шеллинге, Гегеле в серии «Жизнь замечательных людей». Наряду с Гулыгой другим уникальным автором, умевшим говорить необычайно просто о сложных вещах, был Эвальд Ильенков. Я не раз встречал людей, для которых этот автор стал источником их интереса к философии, его книгу «Об идолах и идеалах» довольно часто можно было встретить в библиотечных или частных коллекциях, с заботливо перебинтованным и перевязанным суровой ниткой корешком, с совершенно истрёпанной обложкой.

В значительной мере на мой интерес к философии и последующие интересы в ней повлияло общение с отцом, профессиональная деятельность которого была связана с современной западной философией, и в частности с Хайдеггером [Michailow 1966; Михайлов 1984].

### *Отсев*

Тот воображаемый контингент будущих философов, который страстно тянулся к этой науке, «терялся» на самых разных этапах. Главным из них были идеологические условия, в которых в то время дозволяли существовать философии. Государство верило, что выпускники станут «работниками идеологического фронта». Соответственно тому была выстроена и вся система. «Перестройке» тогда был ещё только год от роду, и уж во всяком случае ни тени сомнения ни в самом марксизме, ни в руководящей и направляющей роли КПСС тогда ни у кого не возникало. Во всяком случае, именно в том году или года за два до нашего поступле-

ния было введено правило допускать до вступительных экзаменов на отделение философии лишь тех, кто проходил многоступенчатые согласования от комсомола и партии. Предстояло сперва получить рекомендацию комсомольской организации школы. В характеристике должно было быть указано, что кандидат «активно вёл общественно-политическую работу». Таковой считался активизм на уровне секретаря комсомольской организации школы или члена комсомольского бюро школы, должность комсорга класса тоже годилась. До этого уровня я «не дотягивал»; приходилось подыскивать другие аргументы вроде «наклонностей к научным исследованиям». В райком комсомола мы с документами являлись лично (рекомендовалось хорошо знать историю ВЛКСМ, а статьи устава этой организации быть готовым привести по памяти). В горком комсомола отправляли уже только наши документы, а обком партии давал, видимо, лишь формальное, завершающее подтверждение всей процедуре. Первые два уровня были все же заметным барьером. Система рекомендаций просуществовала ещё год-другой после нашего поступления, однако она наложила заметную печать на состав той группы из 25 человек, с которыми я начал в 1985 г. обучение философии. Во-первых, в середине 80-х гуманитарные дисциплины отнюдь не были в числе приоритетов у тех, кто решал получать высшее образование. Традиционные лидеры, медицина и юриспруденция имели огромные конкурсы из одних только медалистов. Следующую по приоритетности группу образовывали физика и математика. Судя по всему, примерно четверть всех желающих попасть на философию рассчитывали в будущем на организационную работу. (Те, кто желал того же, но выбирал более прямой и быстрый путь, шли на историю КПСС.) Ещё примерно четверть всех поступавших шли на философию просто потому, что на эту специальность конкурс был меньше и не требовалось предъявлять глубокие знания в точных науках. В общем, на философию шли далеко не самые лучшие[2].

В промежутке между 1981–1994 гг.[3] ситуация в обществе становилась заметно иной с периодом в каждые 2–3 года, а затем и с интервалом в год. Для определения «микрогрупп» в поколениях важны не только годы поступления, но также и годы окончания (в силу различных причин разрыв между этими двумя датами мог превышать пятилетний срок). Тот курс, на который мы поступали, заканчивал в 1990-м г. и ещё имел распределение. Однако та группа, с которой я заканчивал обучение, вернувшись из армии, была первым выпуском, где все трудоустраивались самостоятельно.

Из выпусков философского отделения (это 23–25 человек ежегодно) до 1990 г. по специальности формально первое время могло работать до четверти от каждого курса, однако барьер 1990–1991 гг. оставил из того поколения от силы 2–3 человек с каждого года выпуска. При этом научных публикаций, которые были бы сколько-нибудь заметны для философского сообщества в России, за редчайшими исключениями[4], практически не было. Экономическое положение начала 90-х на многих территориях бывшего Советского Союза приводило к тому, что выпускники философского отделения были вынуждены искать для себя новые области профессиональной деятельности. Но тогда, в 1985 г., до выпуска было ещё далеко.

### *Ради чего?*

И ради чего был весь этот отсев? К какой мудрости мы получали возможность прикоснуться после столь тщательного отбора? Наиболее сложными оказались первые четыре семе-

[2] Как ни покажется это удивительным, ситуация с престижем и популярностью философии в СССР мало отличалась от ситуации с этой наукой в такой «философской стране», как Германия. Эта картина удивительным образом напоминает популярность философии [Lenk 1978: 35–36].

[3] Именно так очерченный промежуток объясняется тем, что мы, первокурсники 1985 г., ещё могли «наблюдать издалека» наших старших товарищей, пятикурсников, поступавших в 1981-м, а кроме того, какое-то время ещё сохраняли тесные связи с более младшими курсами.

[4] Одним из исключений были в 2000–2007 гг. публикации Владимира Фурса (1963–2009) в российских журналах (Владимир заканчивал отделение БГУ в 1985 г.).

стра. На долю дисциплин, имевших хотя бы какое-то отношение к философии, на первом курсе приходилось не более 4 пар в неделю (2 пары «логики» + 2 «истории философии»). Остальное время было занято историей КПСС, общим курсом по работам Маркса и Ленина, лекциями по «теории отражения», политэкономией и прочей мутью, которая вспоминается с содроганием. На втором курсе к этому добавилась ещё более тоскливая часть политической экономии – теперь уже социализма. Не ослабевала история партии. Согласно марксистско-ленинской доктрине, философия была учением о «наиболее общих законах природы, общества и познания», и поскольку «законам природы» в этом материалистическом мировоззрении отводилась роль фундаментальная, мы весь второй год изучали математику (по программе чуть сложнее школьной), биологию и физику. Преподаватели этих дисциплин явно слышали о существовании философии – хотя бы потому, что приходили вести занятия к нам на отделение. Однако никакие другие признаки на это не намекали. Сложнее всего давались лекции по историческому материализму: мутный, тяжёлый материал, практически не поддающийся никакой логике для упорядочения его в памяти. Да, и был ещё, конечно, научный атеизм. Каждому из курсов на протяжении многих лет лекции слово в слово читались по книжке, которую преподаватель опубликовал за некоторое время до того. Чтобы никто об этом не догадался, наш атеист всегда носил её на занятия обёрнутую в специальную обложку из газеты, с увеличенными полями, и никогда не поворачивал в сторону аудитории.

Как правило, наши занятия проводились в небольших аудиториях, рассчитанных на 30–40 человек. Практически для всего преподавательского состава было характерно ревностное отношение к тексту своих лекций, которые они диктовали под запись. Присутствие давалось тяжело, но сидеть приходилось. После 6 часов пропусков, т. е. всего лишь одного дня прогула, лишали стипендии. После 12 – документы подавались «на отчисление». На лекциях особо дурных и притом мстительных преподавателей одним из методов сохранения психического здоровья была концентрация на собственных мыслях – желательно настолько полная, чтобы ты смог записывать их, симулируя конспектирование лекции. Со временем удавалось даже делать перерывы в записи одновременно с паузами лектора. Некоторым и самим не было интересно то, что они читали. Один отставник, заведовавший в то время кафедрой истории философии и логики, любил рассказывать жизненные истории, вспоминать свою службу на Дальнем Востоке и, в частности, трудности перевода при общении с японоязычными дамами в публичном доме.

Надо сказать, что при всех этих дикостях Минск как центр философского образования принадлежал в то время к числу лучших в Советском Союзе. В первую очередь за счёт руководителя одной из трёх философских кафедр, обеспечивавших преподавательский процесс на отделении, а именно В.С. Стёпина, ставшего в 1988–2006 гг. директором Института философии АН СССР (РАН). Однако он переехал в Москву уже на следующий год после нашего поступления в Белгосуниверситет. Кроме того, вполне заметным этот уровень для студентов становился лишь с третьего курса, со времени начала специализации по одной из трёх кафедр.

* * *

Для философов, выпускавшихся в Белоруссии, имелись ещё по крайней мере два обстоятельства, не сильно помогавшие стабильному предсказуемому будущему в выбранной специальности. С сентября 1991 г., с принятием Верховным Советом Белорусской ССР актов о государственном суверенитете республики, о её новых флаге и гербе, а также названии (с того времени: «Республика Беларусь»), начался активный процесс того, что называли «возрождением национальной культуры», «восстановлением национальной идентичности». В 1992-м одним из новых веяний стал призыв переводить преподавание на белорусский язык. Преподавание всех вообще предметов, в том числе философии. Имеются ли для этого достаточные условия в виде, например, написанных на белорусском языке учебников, пособий и

т. п., существуют ли уже необходимые для этого издания классиков философской мысли (Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля) на белорусском языке – все это конечно же авторов этой политики не интересовало. В стране, в которой до того 90 % культурной жизни, 95 % научной и 100 % повседневно-бытовой (в городах) осуществлялось на русском языке, национальное самосознание начало расти темпами настолько быстрыми, что пару раз довелось столкнуться с агрессивно-возмущённой реакцией при обращении на привычном языке общения. С декабря того же 1991 г. формальный глава республики, С.С. Шушкевич, становится одним из инициаторов роспуска СССР. С 1992 г. внутри самой Белоруссии эти процессы начинают набирать все большую силу.

Вторая причина, по которой мне трудно судить о своём поколении в философии, объясняется ещё одной особенностью нашего набора в середине 80-х гг.: его интернациональным составом. Наши коллеги из Армении, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Молдавии, как правило, возвращались в свои республики, после чего следы их чаще всего терялись.

Трудно сказать, какими оказались бы мои научные интересы, если бы в первой половине 90-х гг. не состоялось двух учебных стажировок в Рурском университете г. Бохума (ФРГ): в 1990–1991 гг. в рамках программы обмена студентами, а в 1993–1994 гг. по стипендии Немецкой службы академических обменов (ДААД). – Благодаря лекциям и семинарам Фр. Роди первое пребывание позволило глубже понять внутреннее многообразие герменевтической традиции. В те же годы общение с Б. Мойзишем и Т. Кобушем открыло для меня возможность иного подхода к немецкой религиозной традиции[5]. Позднее лекции и публикации О. Пёггелера и Б. Вальденфельса существенно расширили моё понимание феноменологии и, в частности, Хайдеггера.

### *90-е годы, Институт философии*

Издалека весь философский мира Москвы представал как сообщество двух центров: философского факультета МГУ и Института философии АН СССР. Это были специалисты, по изданиям которых мы учились: В.В. Соколов, Г.Г. Майоров, А.С. Богомолов и др. В ряде случаев славу, распространявшуюся о московской философии, легче было представить указанием на конкретные книги. Это были в первую очередь работы П.П. Гайденко по истории науки, классическая монография «Субъект, объект, познание» (1980) В.А. Лекторского, «Философия и язык» (1972) М.С. Козловой, «Принципы и противоречия феноменологической философии» (1968) и «Путь Гегеля к “Науке логики”» (1984) Н.В. Мотрошиловой, «Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках» (1977) Н.С. Автономовой. Это были коллективные сборники работ, собиравшие прекрасных авторов: «Проблема сознания в современной западной философии» (М., 1989) и др. Сборник работ «Философия. Религия. Культура» (1982) под общей редакцией Г.М. Тавризян вообще считался одним из лучших в своём жанре. В середине 90-х Институт философии Российской академии наук – планета знаменитостей, легенд. Несколько десятков групп учёных старшего и среднего возраста, при некотором количестве молодёжи (в виде аспирантов), вскоре исчезающих. Каждая из групп (секторов) живёт в соответствии со своими давно сложившимися правилами и традициями. Общей научной жизни – по крайней мере, в секторе современной западной философии, к которому я был в качестве аспиранта прикреплён начиная с ноября 1992 г., – не было; общеинститутские семинары отсутствовали. Впрочем, несколько моих инициатив «рассказать о своих научных занятиях» принимаются благосклонно. Один из докладов был, насколько помню, по лекциям Хайдеггера о Гёльдерлине. К ноябрю 1995 г. была завершена аспирантура и рекомендована к защите диссертация, в которой главным «героем» был Хайдеггер,

[5] Речь, в первую очередь, об интерпретации Экхарта как наследника традиции Аристотеля [Mojsisch 1983; Михайлов 2009: 493–516]; см. также: [Михайлов 2009: 493–516].

подсвеченный со стороны его ранних произведений на фоне немецкой исторической традиции, Йорка фон Вартенбурга и В. Дильтея [Михайлов 1996].

Первый по-настоящему впечатливший меня опыт научного сотрудничества состоялся осенью-зимой 1997 г., но имел внесекторский характер. Осенью заканчивалась аспирантура у Евгения Борисова, также защищавшегося в институте по Хайдеггеру, и мы решили воспользоваться временем до его возвращения в Томск для обсуждения интересующей нас проблематики. Особой тяги к обоюдному выслушиванию докладов «о Хайдеггере» или другом великом мыслителе у нас не было, и мы сочли более полезным сделать обсуждение максимально «предметным», т. е. увязать обсуждение с философской работой, которая имела бы не только центральное значение для традиции, к которой принадлежит Хайдеггер, но и обладала бы в определённом смысле «основополагающим» значением. Выбор пал на второй том «Логических исследований» Гуссерля. Кроме нас с Борисовым интерес к Гуссерлю объединял ещё двух аспирантов, заканчивавших свою учёбу в Институте философии: Тимофея Дмитриева и Алексея Черняка, а так- же одного от РГГУ – Виталия Куренного. Для семинара, который я предложил тогда назвать «К истории феноменологической мысли»[6], мы решили собираться в институте в часы, когда нас никто не мог потревожить – по пятницам. Заседания длились по 2–3 часа. Если учесть, что как минимум весь следующий день (суббота) уходил на повторное чтение и перепроверку каждым из нас того, о чем речь шла накануне, а подготовка к каждому следующему занятию занимала как минимум два дня, это времяпровождение уже занимало 4 из 7 дней в неделю, угрожая не оставить времени ни на какие другие научные темы. Я убедил коллег делать «протоколы» наших заседаний (письменно зафиксированный результат вопросов, которые нам удалось выяснить в связи с обсуждавшимся текстом, а также остающиеся неясными места).

Помимо лучшего знания конкретно этого произведения, несомненно центрального для всей феноменологической традиции, это позволило мне иначе смотреть на сумасшествие едва ли не ежедневных конференций, семинаров, круглых столов, презентаций и обсуждений, информация о которых начала сыпаться на нас года эдак с 2007–2008 гг., т. е. со времени, когда философские учреждения осознали, что живут в эпоху «публичности».

### *Философская мода 80–90-х и новая публикационная активность*

Если попытаться сформулировать философскую моду того десятилетия, расположив ее в порядке убывания приверженцев, то она выглядела бы так: новейшая французская философия (Ж. Деррида, Ф. Лиотар и др.) – Хайдеггер – российская (религиозная) философия – феноменология.

Популярности французской мысли способствовала деятельность В.А. Подороги. Структурное подразделение Института философии, ещё до недавнего времени руководимый им – сектор аналитической антропологии – в самом начале имел осторожное название «лаборатория». Судя по всему, ещё до середины 90-х по крайней мере некоторые из сотрудников Подороги воспринимали существование этой структуры как нечто, данность чего отнюдь не гарантирована. Сегодня, когда проблематика, характерная для Подороги и его коллег утвердилась, стала привычной, нашла многочисленных последователей и сторонников, нам, пожалуй, не вполне понятен будет пафос следующих слов: «Лаборатория – это своего рода форма выживания неприсоединившихся, тех, кто почему-то не вписывается в устойчивые академические каноны гуманитарного знания и упрямо отстаивает свою обособленность» [Ознобкина 1995: 13]. Выживание? Но и продолжение этой цитаты также неожиданно. «Именно на этот сомнительный путь встало родившееся несколько лет назад в Лаборатории постклассических исследований Института философии РАН издательство Ad Marginem»

[6] Подразумевалось, что «Логические исследования» станут лишь первой из таких книг для обсуждения.

[Там же]. Начав говорить о подразделении (группе, «структуре» – конкретные обозначения здесь не столь важны) во вполне определённой организации (Институте философии), Лена Ознобкина с совершенной естественностью продолжает говорить о лаборатории, подразумевая нечто абсолютно иное: автономную организацию, занимающуюся изданием книг.

На мой взгляд, эти слова довольно точно отражают одно из главных убеждений 90-х. Многим тогда казалось, что собственно научная деятельность и практическая деятельность по публикации (этих или иных) научных результатов – суть две стадии единого процесса. Если не существует литературы, которая кажется нам великой (достойной внимания / стоящей) – мы сделаем так, чтобы этот текст появился. Это было совершенно особое сознание 90-х, когда мы не ждали, что кто-то «придёт и сделает», но предпринимали все усилия для того, чтобы это нечто стало реальным.

Это означало, что выпускник отделения философии мог вовлекаться в редакторскую, переводческую работу, а также заниматься подготовкой издания к печати и многими другими практическими вопросами. Хорошей иллюстрацией сложности этих первых шагов в неизведанное является Ю.А. Шичалин, начавший с подготовки двуязычного издания платоновского «Федра» при издательстве «Гнозис» (книга вышла в 1989 г.), а вскоре после того создавший своё собственное издательство. Речь действительно шла «об отсутствии в России той инфраструктуры, которая сделает возможным корректную работу с историко-философской материей» [Шичалин 2018].

### *Гнозис как мост*

«Новое философское чудо» обновления философии в конце 80-х – начале 90-х гг. не было бы возможно без исчезновения идеологического контроля. Но точно так же книжный и журнальный бум 90-х не случился бы без появления новых технологий, в первую очередь широкого распространения т. н. персональных компьютеров. В различных программах – их набор в те годы быстро сменял друг друга – стало возможным моделировать полосу набора, соответствующую различным форматам выпускаемых книг. Одной из традиционных проблем того времени был шрифт – древнегреческий, старославянский, иврит и др. Как правило, создание этих шрифтов, да и вообще налаживание издания книг с учётом новых технологий становилось задачей для нового и уникального типа людей. Это должен был быть человек, настолько увлечённый гуманитарной тематикой, чтобы желать этим заниматься, но одновременно и настолько технически подкованный, чтобы быть к этому способным. Одним из таких уникальных людей в 90-е как раз и был Михаил Быков, директор издательства «Гнозис». На «Гнозисе» примечательным образом пересекались наши интересы в самое разное время. Году в 1989-м, узнав о намечающемся выходе «Федра», мы собрали среди студентов около 50 предварительных заказов на эту книгу. После долгих месяцев ожидания книги были получены, кажется, наложенным платежом. К моменту начала моего сотрудничества с редакцией «Логоса» она как раз вошла в состав редакционно-издательской группы «Гнозис». Именно там, начиная с № 3, «Логос» сделал следующий важный шаг в своем развитии. «Гнозис» оказался той исходной площадкой, на которой начинали работу над своими издательскими программами многие коллективы[7].

[7] Ранее всех отпочковались «Мартис» и «Языки русской культуры». Из «Гнозиса» довольно скоро возникло «Русское феноменологическое общество», затем распавшееся на «Логос» и «Дом интеллектуальной книги», «Идея-пресс» и «Праксис». Впоследствии долгое время остававшаяся свободной марка «Гнозиса» была использована для названия книготорговой фирмы человеком, занимавшимся оптовыми продажами ещё в Гнозисе-издательстве.

### *Сотрудничество с «Логосом»*

Практически одновременно с вхождением в социальный круг Института философии началось моё сотрудничество с редакцией журнала «Логос», проявившееся поначалу с нескольких рецензионных материалов по современной философии (Логос. 1992. № 3). Планированием и составлением номеров с 1992 г. и до раскола в 1998 г. всегда занималось трое: Валерий Анашвили, Олег Никифоров и Игорь Чубаров[8]. Первых двух мне доводилось видеть ещё за год до того, в Минске, когда, после выхода 1-го номера «Логоса», они приезжали в Белгосуниверситет для установления научных контактов с моим отцом. В результате со 2-го или 3-го номера «Логос» стал указывать в научном совете, помимо А.А. Михайлова, также четырех приглашенных им коллег из Германии: Фридриха-Вильгельма фон Херрмана, знаменитого тогда редактора-составителя десятка томов собрания сочинений Хайдеггера, известных немецких феноменологов: Клауса Хельда, с 1987 по 1994 г. занимавшего должность президента Немецкого общества феноменологических исследований, а также Эрнста-Вольфганга Орта, редактора-составителя единственного на тот момент (и достаточно влиятельного) феноменологического журнала Германии (Phänomenologische Forschungen. 1975). Тогда же научный совет пополнил и Фритьёф Роди, занимавшийся изданием собрания сочинений В. Дильтея.

Тогда, в Минске, повода для знакомства у нас не возникло. В Москве же между нами постепенно установились дружеские отношения, начала завязываться работа над общими научными проектами. Анашвили в то время занимался Францом Брентано, Никифоров – Хайдеггером (впрочем, с довольно заметным креном в психоаналитическую тематику), а Чубаров – темой «феноменология в России». Сейчас я думаю, что тот тройственный союз главных редакторов «Логоса» был значительно устойчивее до моего присоединения к нему: мои занятия и интересы заступали на каждую из областей довольно заметно, пожалуй, в наибольшей степени по вопросу Хайдеггера[9], однако и в отношении «российской феноменологии», исследование которой без знакомства с источниками вдохновения (в первую очередь, работами Гуссерля) не раз заставляло меня вспоминать метафорику известного мифа о пещере.

Листая сейчас номера «Логоса», выпущенные в 90-х – начале 2000-х, я вижу то, что никто из нас в те годы, конечно, заметить не мог. Материалы (статьи и переводы) обрывочны и случайны; тексты довольно часто даются без должного редакционного сопровождения; разброс тем настолько велик, что не всегда удаётся представить себе аудиторию, для которой все это могло быть пространством одной области интересов. Однако при этом «Логос» выполнял тогда важную роль – он хотя бы заявлял, декларировал существование подобной проблематики, переводами и статьями по этим темам он приучал российского читателя к тому, что все они не только имеют право на существование, но, возможно, касаются самых центральных тем современной философии. В отсутствие других возможностей эти номера, выпускаемые тогда с периодичностью раз в год, хотя бы давали поверхностное знакомство с тем, что не могло быть доступным в иной форме (через книги или через университетских лекторов).

Сегодня видно также, что многие публикации маркируют темы, которые самими авторами (организаторами этого материала) оказались покинуты, будь то по причине переориентации на другие философские темы или перехода из философии в другие сферы деятельности.

---

[8] Кроме того, в «редакционной коллегии» на тот момент числились: А.П. Козырев, Е.И. Крейзер, В.В. Федоткин.

[9] Наиболее острые споры развернулись в 1996 г. по поводу двух материалов о Хайдеггере, опубликованных в № 8 «Логоса», – статьи «Хайдеггер на повороте» [78–91] и рецензии на немецкое издание «Grundprobleme der Phänomenologie» Хайдеггера [245–267]; для обоих авторов материал оппонента был образцом некачественного текста.

### *Первые попытки институционализации феноменологии*

Году в 1995-м или 1996-м Валерий Анашвили, используя только одному ему ведомые связи, сумел убедить Ю.Н. Афанасьева в необходимости создания нового подразделения в рамках РГГУ, лаборатории «Язык современной философии». Хотя слово «феноменология» в названии отсутствовало, фактически это была одна из первых институционализированных форм объединения тех, кто на тот момент симпатизировал феноменологии и верил, что в будущем его профессиональная деятельность будет лежать именно в этой области[10]. Первыми сотрудниками лаборатории стали В.И. Молчанов, В.В. Калиниченко, а также все три соредактора «Логоса». Я же по завершении аспирантуры был принят младшим научным сотрудником в Институт философии.

В своей начальной форме лаборатория просуществовала до июня 1998 г., когда стало известно, что Министерство образования анонсировало особый вид грантов для структурных подразделений организаций. Срок подачи заявок, как часто бывает в таких случаях, «уже завтра» (кажется, середина или, в лучшем случае, конец следующего месяца). Помимо разного рода мелких требований, необходимо было соблюдение трёх принципиальных условий: 1) непременное сочетание особой научно-исследовательской программы и скоррелированной с ней системы обучающих курсов; иначе говоря: структура должна была быть «научно-учебной», и это должно было быть отражено в самом её названии; 2) подразделение должно было быть создано при участии ещё по крайней мере одного научного центра в пределах страны; 3) третье требование больше походило на «научный задел коллектива по проекту», однако в данном конкретном случае необходимо было более развёрнутое и мотивированное, более убедительное обоснование[11]. С формальной частью первого требования было просто: лаборатория «Язык современной философии» с тех пор была переименована в «Учебно-научный центр феноменологической философии». Со вторым было неизмеримо сложнее. Проблема была решена благодаря согласию Н.В. Мотрошиловой предоставить своё имя в качестве представителя научного центра в рамках другой организации[12]. Это согласие значительно облегчило научное обоснование центра, позволив записать в его «предысторию» все вообще основные вехи развития феноменологических исследований в России – начиная с первых публикаций 60-х гг., а также всех исторических эпизодов дискуссий о феноменологии, состоявшихся с участием латвийских коллег[13].

Номинальным обозначением партнёра и предоставлением бумаг-с-печатями от сторонней организации дело, конечно, не ограничивалось. В остающиеся полторы-две недели необходимо было придумать вменяемые учебные курсы под тематику создаваемого центра, предоставить их аннотации, а также расписать на ближайшие два-три семестра. – Я заявил одну из давно интересовавших меня тем, о психологии конца XIX в. и её значении для феноменологии, один курс предложила для нового семестра Лена Ознобкина, уже преподававшая к тому времени в РГГУ.

---

[10] Другой такой формой было созданное примерно в 1996 г. «Русское феноменологическое общество» (его председателем был А.Ф. Зотов). Однако, насколько мне известно, от него остались главным образом несколько десятков изданных книг; как общество оно так и не заработало.

[11] Ожидания министерства были в чем-то схожи с требованиями конкурса национальных «научных школ», запущенного в середине «нулевых».

[12] Признаюсь, наш директор в то время, В.С. Стёпин, не без некоторого недоумения подписывал затем необходимые от Института философии бумаги. И неудивительно. В 90-е РГГУ был единственным претендентом на роль «придворного» учебного заведения, и Афанасьев всячески рекламировал своё заведение как образец для подражания. – Пожалуй, это была одна из первых форм догмы «наука должна быть в университетах».

[13] Речь идёт в первую очередь об изданиях: [Мотрошилова 1968; Принципы и противоречия феноменологической философии… 1968; Критика феноменологического направления современной буржуазной философии… 1981; Проблемы онтологии в современной буржуазной философии… 1988].

Несмотря на то что сотрудники лаборатории РГГУ в эти недели оказались в отпуске, распечатать все документы и подписать их у начальства университета мне удалось вполне благополучно. После августовского кризиса чтение спецкурса, запланированного для отчётности в связи с организованным центром, превратилось в жест благотворительности, который я на 1999-й год решил не продлять. Это было тем более осмысленно, что как раз в 1999-м подразделения Института философии стали в «добровольно-принудительном» порядке привлекать сотрудников института (в основном, молодых) преподавать в сравнительно недавно созданном заведении высшего образования[14].

* * *

Гайденко – А. В. Михайлов – В. В. Бибихин – к 90-м гг. это были те люди, от которых мог надеяться получить какие-либо знания студент (аспирант), пытающийся разобраться в Хайдеггере. Посмотрим, как обстояло с этим дело.

### *Наш, российский Хайдеггер. Владимир Бибихин как персонаж*

Спустя более чем десятилетие после того, как Пиама Павловна Гайденко открыла Хайдеггера для советской философии (1962–1963)[15], поместив немецкого философа в единственно понятный на тот момент контекст – контекст экзистенциализма, – обозначилась вторая волна интереса к Хайдеггеру (1975–1981). Она была связана с появлением целой серии переводов его работ. В силу настороженно-враждебного отношения советской идеологии к «реакционной» по своей сути «западной буржуазной философии», дозволены были лишь переводы отдельных небольших работ (статей), выходивших в малотиражных (ротапринтных) сборниках. Практически все переводы такого рода имели гриф «для служебного пользования»[16].

Спустя ещё десятилетие, в 1991–1992 гг. – и это как раз время, когда я заканчивал обучение философии, – количество переводчиков Хайдеггера существенно возросло [Хайдеггер 1991]. Однако второй центральной фигурой «транслятора» хайдеггеровских идей стал литературовед, германист, философ Александр Викторович Михайлов [Михайлов 1990; Хайдеггер 1992]. Буквально спустя год последовало ещё одно мощное пополнение корпуса переводов Хайдеггера. То были отредактированные и местами существенно доработанные переводы В.В. Бибихина [Хайдеггер 1993а]. Какое-то время мне казалось, что в тех немногих и кратких текстах, которыми Бибихин сопровождал переводы немецкого классика, он стремился задать спокойно-взвешенный подход к трудам Хайдеггера. Он критиковал, к примеру, совершенно не обоснованное отнесение немецкого философа к экзистенциализму [Хайдеггер 1993б], а также то обстоятельство, что эту «привычную, но неверную» характеристику используют в учебно-справочных изданиях[17]. Однако прежде всего, и притом совершенно отчётливо, Бибихин способствовал «мистиоризации» Хайдеггера – отчасти в силу тех причин, о которых я говорил выше. Отчасти по причине того, что амбиции замысла в отношении Хайдеггера сопровождались у него особой тактикой дистанцирования себя от разговора о Хайдеггере. Возможно, внутренним оправданием было «выдерживание паузы», дать возможность «самому тексту» сказать о себе. – Бибихин прекрасно знал, что такая романтизация

[14] На тот момент: ГУГН (в 1993–1998 гг.: РЦГО, с 2008 – ГАУГН)

[15] За ее диссертацией по Хайдеггеру [Гайденко 1962] последовала монография, в которой немецкому философу было посвящено несколько глав [Гайденко 1963].

[16] Значение этого корпуса переводов В.В. Бибихина настолько велико, что я постарался дать по возможности наиболее полный список (см. в списке литературы).

[17] С тех пор тенденция не изменилась [История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 4. 2012: 1–36].

«феноменологического» отношения к собственному тексту была свойственна Хайдеггеру[18]. Бибихин эту мифологию «самоговорящего» текста поддерживал: «Речь Хайдеггера самообъяснительна, в ней достаточно света для прояснения себя самой и того, о чем она. Не случайно он не хотел к своим изданиям указателей и комментариев» [Бибихин 1997: 449]. Какие мировоззренческие вопросы связаны с подобной переводческой позицией – отдельная тема для размышления. Отметим только, что в западноевропейской традиции лишь об одной книге на протяжении веков говорили, что «в ней достаточно света для прояснения себя самой». Однако даже и эта книга потребовала возникновения целой традиции экзегезы, которая спустя несколько веков, в свою очередь, потребовала определённой «рационализации», т. е. подведения итогов, вычленения закономерностей и т. п. Эта традиция интерпретации постепенно осознала свой потенциал

Бибихин же предлагает считать такой самоговорящей книгой «Бытие и время».

Вернёмся, однако, к тому, что происходило с «российским Хайдеггером». В своей увлечённости-концентрации на этом немецком мыслителе Бибихин совершенно очевидно пытался опереться на мифологию «самоговорящего» текста. Я убеждён, что этот подход является не просто порочным, но и попросту опасным: он закрепляет в передаче, трансляции философии те практики, которые чужды самой философии, даже если не подразумевает религиозных коннотаций. В упомянутом дистанцировании от интерпретаций, от критических текстов, которые сопровождали бы переведённый им корпус, был ещё и другой аспект – дистанцирования от интерпретации как умолчания о своей позиции как переводчика и скрытого интерпретатора.

Наиболее отчётливо эта фигура умолчания проявлялась в отношении своего перевода «Бытия и времени». Отмалчиваясь сам, Бибихин предоставлял объясняться за него своим друзьям, близким коллегам. А после перевода «Бытия и времени» было что утаивать. В каком, например, смысле «фраза православного священника на проповеди» [Там же: 450] влияет на перевод центрального термина великого философского произведения? Почему должна? Почему для обоснования своего перевода этого термина Бибихин ссылается на «не худшего стилиста» Сартра, но при этом как-то обходит стороной то, что Хайдеггер неоднократно и довольно критически высказывался по поводу интерпретаций своих идей Сартром? Если для «русского слова» педагогическая задача определена так, что оно «при встрече с немецким… должно как в школе учиться новым ходам…» [Там же: 449], то какие конкретно педагогические задачи переводчик ставит перед читателем?

Елена Ознобкина совершенно верно отмечает, что «в текст Хайдеггера переводчик вписал… собственное произведение» [Ознобкина 2019: 199]. Однако: что это значит для самого перевода? О работе своих коллег, переводящих того же автора, Бибихин чаще всего говорит как о своеволии. Как в 1993 г., так и в 1997 г., в послесловии к своему переводу «Бытия и времени». «Утомляясь от своеволия, сделавшегося у нас привычным в отношении к “зарубежной” философии…» [Бибихин 1997: 449], переводчик навязывает нам – своё собственное.

Таковы были обстоятельства вхождения проблематики хайдеггеровской философии в российский контекст. Что из этого следует?

[18] Я имею в виду осознанную стратегию презентации собственных текстов, которую Хайдеггер продумал и закрепил в качестве условия их (в т. ч. посмертного) издания, переиздания, перевода на другие языки. Во-первых, налагался запрет на перевод или републикацию части произведения: оно должно было быть доступно только целиком (чтобы читатель мог составить о нем представление в более приближенном виде, как замышлял сам автор). Во-вторых, запрещались интерпретативные введения и послесловия к трудам Хайдеггера (опять-таки, читатель должен был судить о «самом тексте», не будучи определенным образом направленным интерпретатором). В-третьих, автор запрещал издательству, которому была доверена публикация его наследия (Vittorio Klostermann) предоставлять права на публикацию на других языках, если имелось намерение сопроводить издание текста какими-либо указателями. Указатели-де не нужны, поскольку Хайдеггер «всегда делает довольно подробные оглавления», достаточные для ориентировки в тексте.

С некоторой долей условности можно сказать, что если «первая волна» знакомства с Хайдеггером (1962–1963) была интерпретацией-в-отсутствие-оригинала, то вторая походила, скорее, на оригинал-в-отсутствие-интерпретации. Иначе говоря: почти на всех последующих этапах знакомства с Хайдеггером количество интерпретативных работ существенно уступало представленности текстов самого классика. Последствия такого преобладания непереработанного, «непереваренного» наследия любого мыслителя прошлого не являются, на мой взгляд, вполне безопасными, безобидными для той языковой культуры, в которой это происходит. Много позже это не раз повторялось и в отношении других философов XX в., можно сказать, тенденция сохраняется и по сей день. Однако меня сейчас больше интересует, что происходило с пониманием вполне определённого философа.

Отсутствие «перерабатывающей» рецепции мыслителя задаёт режим вхождения этого мыслителя в философскую культуру. Усвоение, принятие, взятие за образец, возвеличивание – все это наметилось как тенденция уже в 80-х гг. Таинственно-кулуарный, труднодоступный для массовой публики способ публикации произведений только способствовал этому. Манера держать себя на людях как главного посредника – тоже. На лекцию Бибихина мне довелось заглянуть только один раз, в 1992 или 1993 г. Поточная аудитория 1-го гуманитарного корпуса заполнена на три четверти. Очень негромко и неинтонационно, не отрывая глаз от бумаги, лектор читает текст, в котором распознаётся конспект «Бытия и времени». Полнейшую тишину между паузами человека за кафедрой прерывает лишь мерный скрип огромного бобинного магнитофона, установленного позади на одной из свободных парт лицом к выступающему. По окончании лекции у кафедры сразу же обозначается небольшая, но заметная сутолока, мы с коллегой выходим. В фойе на нас налетает взъерошенный парень, предлагая «скооперироваться, чтобы переводить Хайдеггера». Нам удаётся ускользнуть.

Что возвеличивается в отсутствие рациональных оснований (которые были сознаваемы тем, кто возвеличивает), неизбежно приводит к культу, по характеру своему напоминающему религиозный. Ключевой для таким образом оформленной рецепции всегда является фигура «транслятора» традиции. Великий автор, талантливый перевод – почти с неизбежностью культовой фигурой начал становиться «главный переводчик Хайдеггера» В.В. Бибихин.

Прямых признаний, по которым можно было бы судить о том, чем были переводы этого философа для В.В. Бибихина, не так много. Однако те высказывания, что письменно зафиксированы, показывают отношение к переводимому автору: переводчик довольно часто мыслил по модели соревнования. С немецким мыслителем Бибихин, похоже, не переставал меряться силами, начиная со своих наиболее ранних переводов. В особенно отчётливой форме они впервые могут быть замечены в сборнике 1993 г. Согласно знаменитому пассажу из предисловия:

> Переводчик решил, что искусственные образования для передачи хайдеггеровской словесной ткани почти не требуются, потому что русский язык, так сказать, не хуже немецкого для мысли [Бибихин 1993: 13].

Где именно находится точка наблюдения, с позиции которой некто считает возможным судить о том, что больше «подходит» для мысли? Какова самооценка так судящего? – Очевидно, она достаточно высока. Однако Бибихин видит, что «в русском появляется даже то, чего Хайдеггеру в его немецком как будто бы не хватает» [Там же]. В результате «нетронутое философское богатство русского слова поневоле остаётся в переводе недоиспользованным» [Там же].

В переводе «Бытия и времени» Бибихину предоставляется новый шанс.

В его текстах всегда присутствует гордое одиночество. Все они написаны как бы для самого себя. Если в них и присутствуют риторические формы диалога, то это прежде всего

диалог с воображаемым визави, которым является сам Бибихин. Если разговор заходит об античной философии, например о Гераклите, то в качестве собеседников, участников (свидетелей беседы?) в лучшем случае могут быть допущены другие великие: Кузанский, Гегель. Даже когда Бибихин ведёт семинары по Хайдеггеру (теперь об этом можно судить по опубликованным материалам), эти записи скорее похожи на монолог человека, озвучивающего воображаемый диалог с самим собой. К этому монологу допускаются слушатели. Впрочем, это не должно удивлять. Ведь одно дело, если Хайдеггер воспринимается как часть философской традиции – и совершенно другое, если доступ к нему пытаются найти через «тайну языка». В последнем случае чувство языка, талант владения им принципиально несообщаемы и философская коммуникация вряд ли возможна.

Мистериоризации Хайдеггера Бибихин способствовал даже тогда и там, где, казалось бы, стремился обратить внимание читателя на собственно философские вопросы, связанные с Хайдеггером. Оказавшись заложником того поворота, который за два года до выхода в свет сборника переводов «Время и бытие» придала исследованиям Хайдеггера Н.В. Мотрошилова, Бибихин изо всех сил пытается не вступить в непосредственную полемику с В. Фариасом и Х. Оттом, не без оснований полагая, что это сразу же изменит оптику восприятия всех подобранных им публикаций. Здесь, в предисловии к целому тому произведений философа столь острая тема сразу сыграет роль поляризационного фильтра, навинченного на объектив фотоаппарата. Ходя по краю, переводчик ограничивается лишь иронией по поводу XX в., «века-расследований», руководимого максимами «Надо дознаться. Докопаться. Сыскать человека» и побуждающего «вести исследование его творчества как расследование» [Там же: 12]. Бибихин пытается переориентировать интерес возможного читателя с «дела Хайдеггера», понимаемого как политически инспирированное историко-биографическое расследование – на само «дело мысли» философа.

В том, чего пытается достичь Бибихин, есть резон. Довольно часто биографическое рассуждение «о личности» становится замещением обсуждения содержательных вещей. Философия вполне может уподобляться, согласно известному наблюдению Канта, ходу беседы «в разношёрстном обществе». Можно заметить, отмечает Кант,

> …что кроме рассказов и шуток там всегда имеется ещё одно развлечение, а именно резонерство, так как рассказы, поскольку они должны быть новы и интересны, скоро исчерпываются, а шутки легко становятся пошлыми. У людей, на которых всякое мудрствование легко наводит скуку, среди всех видов резонерства больше всего вызывают интерес и вносят какое-то оживление в общество рассуждения о нравственной ценности того или другого поступка, в котором выявляется характер какого-нибудь человека. Те, на кого все тонкости и умствования в теоретических вопросах наводят скуку и тоску, тотчас включаются в разговор, как только дело касается выявления моральной ценности хорошего или дурного поступка, о котором идёт речь; они готовы так тщательно, изощренно и со всей тонкостью выискивать все, что могло бы умалить в нем чистоту и, стало быть, степень добродетельности намерения или хотя бы возбудить сомнение в ней, чего нельзя ожидать от них, когда речь идёт об объекте спекуляции. В таких суждениях часто проглядывает характер именно тех, кто высказывает своё мнение о других… [Кант 1997: 701].

Ирония, однако, в том, что, даже если мы отринем «биографическое» и вообще всё частно-фактическое, сосредоточившись на «сути дела», исследование философии Хайдеггера нам всё равно придётся «вести как расследование»! Нам придётся реконструировать весь тот контекст, выслеживать все те смысловые линии, которые сходятся в произведениях Хайдеггера. Согласен ли на это Бибихин? Принимает ли он подобную стратегию в принципе?

Удивительно, но горизонт, в пределах которого он представляет возможное отношение к Хайдеггеру, поразительно узок. «Поляризованное поле», в которое попадает человек, «заговоривший» о Хайдеггере, выглядит, по его мнению, так:

> Со стороны одних – аванс благоговения, готовность замирать над каждым словом мудреца. Отвернись от хайдеггерианцев с их заумью – и тебя приветствуют философы-профессионалы, которые, казалось бы, благополучно прошли мимо спорного мыслителя, но нет: неясная тревога их не оставляет, время от времени они теряют самообладание, и тогда по морю философской публицистики проходит очередная волна разоблачений, развенчаний и обличений… [Бибихин 1993: 3].

Что это за поле, о котором говорит переводчик? Во-первых, «готовность замирать» над словом мудреца не имеет абсолютно никакого отношения к философии. Это совсем другая практика, скорее – религиозного поклонения. Нас потому может удивить, отчего же Бибихин говорит о «хайдеггерианцах». Это вполне допустимое обозначение для философа, который по тем или иным причинам занимает позицию, перекликающуюся с идеями вполне определённого мыслителя. Точно так же мы можем говорить о кантианцах, гегельянцах, шеллингианцах, гуссерлианцах и т. п. Хотя такие обозначения и содержат в себе оттенок слегка пренебрежительного отношения к специалисту, слишком сильно связавшему себя некоей «концепцией», однако они не противоречат нашему пониманию философии.

Ни один из полюсов описанного Бибихиным «поля» не имеет отношения к философии. Но что же тогда находится между этими полюсами? Или, быть может, мы вообще глубоко заблуждаемся, относя это к философии?

Не получалось ли так, что мы воспринимали переводческий труд Бибихина как часть философской работы – тогда как он сам мог вполне видеть его как задачу религиозную, педагогическую? Ту, которую ему непременно следовало реализовать в отношении «всех нас», всех читателей? Или просто как соревнование в одинокой вселенной творцов языка? Боюсь, на многие из этих вопросов ответ придётся дать положительный[19].

### *Диссертация*

Пожалуй, столь подробно я пишу о Бибихине и его презентации Хайдеггера для русскоязычного читателя потому, что с начала 93–94 гг. мой подход выстраивался совершенно иначе. Хайдеггер – часть большой, сложной традиции, – вот самое общее положение, из которого я исходил. Традиция эта на протяжении десятилетий была наполнена спорами, полемикой между несколькими мыслителями, занимавшими самые разные философские позиции. У этих позиций были свои аргументы.

Если мы так определим, «что такое» Хайдеггер в философии XX в., то из этого следует несколько выводов. Мы можем, конечно (и даже должны!), вслушиваться в то, что «говорит» Хайдеггер. Но ничего хорошего не выйдет, если мы ограничимся этой метафорой, ориентирующей, скорее, на пассивное усвоение, принятие материала. «Вслушиваться» совершенно не обязательно означает «прислушиваться» в смысле согласия. Да и вообще, слушать, внимать – недостаточно. Необходимо отчётливое, эксплицитное задавание вопросов. Мы задаём вопросы, анализируем, сопоставляем. Сравниваем. Проверяем. Ищем подтверждение для наших предварительных реконструкций смысла произведения; отбрасываем и корректируем их. Мы ищем и взвешиваем, слушаем, ответом на что – какому конкретно мыслителю, на какую конкретно проблему является тот или иной пассаж. Мы спрашиваем у других слышавших (критическая литература) и т. д. Начиная с анализа зрительного восприятия Гуссерль убедительно показывает, что «видение» некоего предмета как раз не означает пассивного «глазения», но невозможно без активности нашего тела (движений глаз, телесных движений). По аналогии, и здесь понимание в форме лишь пассивного вслушивания невозможно.

[19] В данном контексте см. критику В.В. Бибихина в: Нарумов 1999: 214–221.

Мартин Хайдеггер был выбран в качестве центрального сюжетного героя диссертации задолго до того, как интерес к нему был подкреплён знакомством с русскоязычными переводами[20]. Ракурс же, аспект рассмотрения – совершенно обратный тому, что присутствовал тогда в русскоязычной литературе. Во-первых, акцент был сделан не на «бибихинском Хайдеггере», т. е. не на работах 40–50-х (самое раннее: середины 30-х гг.), чтение которых способствовало созданию впечатления, будто Хайдеггер «покинул» поле философии, т. е. «рационального» мышления, а потому его творчество этого периода можно отнести к эссеистике, литературе. Помимо этого, на мой взгляд, неверного понимания сути того, что происходило в работах Хайдеггера, сам жанр этих текстов, способ их появления, а также количество (необычайно скудное) критической литературы, в которой бы это обсуждалось, – все это способствовало, я полагал, формированию особого типа отношения к Хайдеггеру: восторженно-благоговейного. Учёные полагали (многие – до сих пор), что наилучшим, если не единственно возможным способом писать об этом мыслителе будет также стиль литературной эссеистики. Такому убеждению как нельзя лучше способствовала фигура Бибихина как посланника, своего рода бога Гермеса, несущего людям весть о великом мыслителе. Я же выбрал период, непосредственно предшествовавший «Бытию и времени» (1927).

Задача была одновременно и довольно простой, и весьма сложной. С одной стороны, как раз в узком временном промежутке 3–4 лет (с 1992 по 1995 г.) была впервые опубликована значительная часть корпуса текстов, раскрывающих совершенно неизвестный период философской деятельности Хайдеггера (ср. №13–19 в списке литературы). Лишь частично он подытоживался «Бытием и временем». Многие опробованные в 1919–1925 гг. ходы мысли сохраняли своё значение на десятилетия вперёд. Хотя некоторые западные исследователи были знакомы с этими текстами ранее, благодаря доступу к архивам, и 2–3 книги, знакомящие с идеями этих лекций, уже были опубликованы, сама область представляла собой terra incognita и давала большую свободу для выдвижения новых теорий; о столь важном для диссертации параметре, как «новизна», беспокоиться не приходилось. Отсутствовала и оценка этого периода (его значения) в целом. Трудность заключалась именно в том, что было интересным творческим вызовом (тем самым облегчая задачу). Осмысление этих 2 000 страниц нового текста в достаточно сжатые сроки (диссертацию следовало представить для предварительного обсуждения уже к ноябрю 1995 г.) представляло значительные сложности.

В 1996–1997 гг., когда текст диссертации [Михайлов 1996] готовился к печати в виде отдельной книги, текст увеличился в 5–6 раз. Он был несколько расширен не только за счёт основной линии, которая была способом индивидуации на фоне необозримого моря литературы по Хайдеггеру – акцента на линии немецкого историзма как традиции, значимой для Хайдеггера (обыкновенно линия Гуссерль – Хайдеггер была основной, едва ли не единственной). К 1998 г. я смог уже более отчётливо сформулировать стиль и цели своего исследования, назвав одной из главных задач своей книги демифологизацию главенствующего подхода к исследованию Хайдеггера [Михайлов 1999: 13].

* * *

Для работы в качестве историка философии в каждой из эпох есть фигуры, ключевые для понимания исторического периода в целом или отдельной традиции. Для XX в. Гуссерль, Хайдеггер и Витгенштейн принадлежат к таким фигурам, независимо от традиции, к которой испытывает предпочтение исследователь. Их, конечно, вполне можно не признавать в качестве центральных (что наиболее типично для аналитической традиции XX в.). Однако, если даже отвлечься от индивидуального уровня их философского гения, эти мыслители находились в самой гуще философских дискуссий своего времени. Что ещё важнее, для каждого из них – по крайней мере на одном из этапов их творческого пути – цель заключалась в

[20] Первые следы этого интереса документированы в: Михайлов 1992: 328–363.

проектировании контуров всеобщей теории научного знания или, по крайней мере, основ для нее.

Вознамерившись нарисовать голову, я для достижения большей реалистичности, был вынужден нарисовать также и немного шеи, заметил как-то один из российских портретистов. И действительно, редко когда объект смотрится реалистично без контекста, без фона. Уже в случае двух мыслителей, с которых я начинал в 90-х, такая «прорисовка фона» вела в самых разных направлениях: обнаруживалось, что «шея» растёт сразу с нескольких сторон, причем прослеживание этого роста выводило на совершенно новые, самостоятельные миры, со своей проблематикой и строем мысли. Так, помимо совершенно естественного для основных сюжетных героев моей книги расширения – в направлении феноменологического движения в целом, традиции немецкого историзма и герменевтики, – исследования вытолкнули меня на философию Макса Шелера, лишь небольшой частью своего наследия пересекающегося с феноменологией в привычном (т. е. гуссерлианском) облике, и ещё на мощное движение франкфуртской социально-критической теории, которая по своей влиятельности и разнообразию едва ли уступает феноменологическому движению. По этим последним двум расширениям опубликованы пока лишь отдельные части.

### *Мифология российской философии «на переломе» (90-е гг.)*

Как можно определить ситуацию, в которой российская философия оказалась к началу 90-х? Где она «находится» сейчас? Споры по этому вопросу ведутся самые ожесточённые. Наиболее обоснованной мне кажется позиция, сформулированная достаточно давно:

> «Русская философия» как специфический интеллектуальный феномен завершена. Она умерла в 1965 году вместе с Николаем Лосским и Федором Степуном. Традиция, начатая в первой трети XIX столетия Хомяковым и Иваном Киреевским и продолженная, через Юркевича и Вл. Соловьева, мыслителями «религиозно-философского ренессанса» начала века, была прервана большевизмом [Малахов 1996: 117–120].

Таков был самый предварительный диагноз, озвученный ещё в середине 90-х. И он констатирует лишь прерванность традиции. Пожалуй, российская национальная традиция в те годы ещё не знала, чтó она есть. И это естественно. Такое осознание не может прийти раньше, чем обозначится определённая историческая дистанция. Необходимо, чтобы у этой традиции появилась (или восстановилась) историческая память. Проблема, однако, в том, что «знать себя» традиции необходимо в каждый данный момент времени: прямо сейчас и уже тогда. Именно сейчас, с наступлением первых лет, воспринятых многими как освобождение, философия не только даёт «самоотчёт» о своём состоянии, но и отвечает на вопросы, адресованные ей извне. «Зачем она [теперь] нужна?» Зачем философия нужна «прямо сейчас» – на этот вопрос в те годы, пожалуй, наилучшим образом удалось ответить В.С. Стёпину: для всех других наук философия имеет значение в первую очередь как история науки и техники. Итак, есть разные типы ответов. Одни адресованы вовне. Другие предназначены для себя. И вот этот второй тип требовал указать связь с предшествующей традицией. Ответ мог указывать на преемственность, связь с прошлым[21]. Но связь с прошлым могла устанавливаться также и ради легитимации собственного настоящего. Для иллюстрации наиболее типичной формы «прикрепления» к традиции, характерной для начала 90-х, я воспользуюсь наиболее ярким примером середины «нулевых».

*«Сбербанк России. Основан в 1841 году»*

Таков текст одной из главных открыток рекламного комплекта, выпущенных нашим замечательным кредитным учреждением в 2006 г. «165 лет уверенного роста», – сообщает дру-

[21] Например, на уровне заголовков: «Философия не кончается».

гая открытка комплекта. То, что происходило с Россией за последние 150–180 лет, можно описать различным образом. Отмена крепостного права, убийство правящего главы государства и казнь главы, низложившего свои полномочия. Несколько войн, две-три из которых завершились для державы крайне болезненно. Однако посреди всех этих испытаний, кардинальных ломок социального строя, нескольких особенно изуверских волн насилия над собственным гражданами – посреди всего этого мы знаем теперь, что был всё-таки островок стабильности! «165 лет уверенного роста»! – эта фраза есть формула, выражающая принцип реконструкции исторического в самых разных областях российской культуры и общества.

Какой механизм установления связи с прошлым используется в данном случае? Традиция оборвана, однако к ней непременно необходимо прикрепиться. Если оснований для прикрепления особых нет, но «очень хочется» – что же может стать механизмом такого прикрепления? Просто-напросто желание стать частью этой традиции, продолжением её. Не будучи скованно никакими условностями, это желание превращается в абсолютное желание. Вполне в этом духе, а иногда с совершенно невероятным эпическим размахом, строились в то время самые разные стратегии самоидентификации. Великолепный образец такого мифотворчества представляет снятая Т. Бекмамбетовым серия «исторических» роликов, прославляющая банк «Империал» (1992–1997 гг., всё ещё доступна в Интернете). Какое отношение имеют Дмитрий Донской или Петр I (не говоря уже о Чингисхане или Тамерлане) к истории банковского дела – сказать трудно. Однако нарратив был создан.

Философия никогда не обладала столь масштабными кинематографическими возможностями, однако и здесь отчётливо прослеживалось «желание укоренить себя как можно глубже, нарастить такое фантомное “тело” собственной мысли, которое придало бы ей недостающую весомость» [Малахов 1996]. В том случае, если не удавалось заявить себя как продолжение ранее существовавших проектов (журналы «Логос», «Путь»), популярностью пользовались древнегреческие термины: наряду с уже упомянутыми «логосом» и «гнозисом» были представлены «алетейя» (издательство) и «эйдос» (популярный в 90-х магазин гуманитарной литературы).

В качестве главного принципа с тех пор утвердилось: самоутверждение некоей общности есть установление связи (чаще всего фиктивной) с исторической традицией, тогда как устранение, или «нейтрализация», конкурирующей структуры есть в первую очередь отказ от принадлежности к традиции. В контексте бюрократических баталий это чаще всего решается путём реорганизации, слияния, переименования и т. п.

### *Грядущий феноменолог*

Поскольку надстраивание себя над традицией, упорное привязывание себя к ней выполняется всё-таки преимущественно волевыми, магическими жестами, происходит при этом двоякое. С одной стороны, растёт смутное сознание чуждости этого материала, его, пожалуй, даже «ничтожности». Поначалу это проявляется в лёгкой игровой форме иронических комментариев по поводу текста давно умершего автора. Он не очень умный, да и, кроме того, сейчас ты можешь делать с ним всё, что хочешь: печатать, цитировать[22].

Периодически новая публика, конечно, сталкивается с критикой коллег, с призывами к соблюдению научной точности. Такая мелочность вызывает только раздражение. Вся надежда на реализацию своего рода «онтологического аргумента»:

> Ничего ребята, скоро вы все вымрете как Яки, в зоопарке вас за 1 рубль будут иностранцам показывать: «перед Вами “филолог”, он знает, что Соколова звали Матвеич» [Крейзер 1996: 218].

[22] «Таинственная женщина», «тоже партийка», «…личная и творческая жизнь Степуна даёт богатый материал для психоаналитика» [Логос. 1991. № 1: 97]. Поначалу это вроде как вписывается в общий игровой характер мероприятия (так, корректором первого номера журнала значится «М. Вебер»).

В общем, всё это довольно проницательно и точно описано еще в редакционной статье первого выпуска журнала:

> Сегодня в сфере культуры вообще и в области философии в частности на смену «классикам», «романтикам», «авангардистам» и «постмодернистам»… грядёт «варвар», и именно ему принадлежит будущее в его «вечно настоящем». Сей варвар ещё ничего не умеет сам; он имеет лишь огромное ухо, чтобы слушать (или не слушать), огромное око, чтобы смотреть (или не смотреть) и некий неопределимый вкус, способный отличать предметы, достойные его интенций, от предметов недостойных. В общем он способен сверхкультурно и сверхнаучно переживать, но не способен пока «культурненько» болтать. «Варвар» некультурен, и это его принципиальное состояние, а не временный недостаток [От редакции 1991: 10].

В русской литературе начала XX в., в частности у Д. Мережковского, уже встречалась метафора, аналогичная образу грядущего варвара. Или следует нам сказать, памятуя о заявленном «Логосом» феноменологическом направлении: грядущего феноменолога?

В этом направлении работы с традицией рано или поздно возникают качественные изменения. Постепенно то, к чему «магически прикрепился» перестаёт удовлетворять совсем. Оно все больше распознаётся как смешное, непонятное в своей примитивности собрание заблуждений и неверных интерпретаций совершенно очевидных в общем-то вещей. Грядущий феноменолог не может поступиться интеллектуальной честностью и даёт развёрнутые оценки всему тому идиотизму, с которым ему приходится иметь дело, возрождая философскую традицию.

В 1998 г. «варвары» ставят перед собой амбициозную задачу «расставить все точки над i в проблемном пространстве, задаваемом такой темой, как “Феноменология в России”, и отделить, так сказать, “овнов от козлищ”» [Антология феноменологической философии… 1998: 280][23]. Они теперь уже довольно смело судят об «особенностях русской ментальности». О российских феноменологах отзываются фамильярно («наши «феноменологи», «наша феноменология» (С. 18)). Проецируют собственный интеллектуальный уровень на культуру прошлого, в результате чего одной из черт рецепции феноменологии в России оказывается «порносимуляция» (С. 15, 401). Начитавшемуся Бодрийяра издателю дореволюционных текстов повсюду видится «вуайеризм (вагинального) представления», он иронически проходится по «русским софиологам-флаггеляторам» (С. 15). Главной методологической базой толкования немецкой феноменологии и российской философии начала XX в. является новейшая французская мысль, но эксплицировать её, «твердить здесь азы шизоанализа» нужды нет (С. 218). Соборность для грядущего феноменолога «соответствует описанию первобытного мышления» (С. 15).

Основное впечатление, которое следует из этого подбора текстов, – полное, всеохватывающее интеллектуальное убожество всех, кто изучал в России феноменологию. Примеры – едва ли не на каждой второй странице. «Светский проповедник» Соловьев противопоставляется «бомжу Г. Сковороде» (С. 130). Статья Б. Яковенко обширна, но «малосодержательна» (С. 385), совершенно очевидно, что он «не понимал смысла перехода на феноменологическую установку» (С. 389). О Семене Франке вообще и говорить стыдно. К критике гуссерлевского психологизма он подключается «лишь по недоразумению» (С. 403). Рецепция феноменологии в России представлена как экзальтация и некритическое восприятие (С. 100), некомпетентность (С. 191), «перверсия» (С. 200) и «извращение» (С. 223), фальсификация (С. 295), «спекуляция» и «паразитирование» (С. 296, 349), «вопиющее шарлатанство» (С. 350)[24].

[23] Далее ссылки в тексте даются с указанием страниц.

[24] См. также пренебрежительные пассажи на С. 192, 193, 215, 217, 225, 280, 370, 371, 386, 400. Некоторым философам «достаётся» особенно часто. Ср о В. Соловьеве [С. 130, 133] и Л. Шестове [С. 416, 418, 421]. Попавшие в эмиграцию русские философы «любили заводить там “философские” романы со своими западными кол-

Если подытожить: российские феноменологи ничего не поняли у Гуссерля; те же, кто о них писал, зачастую предлагают – как В.И. Молчанов – «бесплодный» (С. 20), а то и «бессмысленный» подход (С. 130). Да, в общем и сам Гуссерль много в чем не разобрался. Для общей характеристики этого типа отношения к традиции я воспользуюсь словами, которые составители адресуют российским философам начала XX в.:

> …общий тон «критики» более чем показателен, и может быть характеризован как развязно-снисходительный. Между тем право на него вовсе не доказано (С. 351); Ничем неоправданное высокомерие (С. 400)

К этим характеристикам можно ещё добавить, что грядущий феноменолог вполне высказывает себя грядущим хамом в самом что ни на есть буквальном смысле слова. Бред собственного сознания горделиво проецируется на «ничтожество» прежней мысли. Ирония, однако, в том, что именно с помощью философов прошлого грядущий феноменолог должен обосновать как свою принадлежность к традиции, так и своё мыслительное превосходство над ней: «скудная интерпретация феноменологического метода выдаёт полное непонимание сути осуществлённого Гуссерлем поворота…» (С. 280). Если присмотреться к стилистике, в которой выдаются оценки философии прошлого, то по своей развязности они следуют стилю наиболее одиозных работ, обличающих «маразм» западной буржуазной философии в 30–50-х гг. От тех оценок могли отказываться, а язык – остался.

Определённую традицию человек не уважает – но почему-то упорно пытается её воспроизвести. Почему же? Ведь отрицая философскую глубину за тем, что тебе кажется поверхностным, неверным, ты ставишь под сомнение осмысленность самого этого занятия? К чему воспроизводить такую традицию? Ответ станет ясен, если предположить, что здесь вообще дело не традиции, да и не в сути дела. Любой издаваемый (публикуемый) текст есть в первую очередь средство презентации себя самого. Проще говоря, делается это для того, чтобы выглядеть интеллектуальной вершиной на фоне всех этих «идиотиков». Нам, видно, готовились показать того настоящего, подлинного и великого мыслителя, который возвысился над всем этим убожеством традиции.

Итак, проект «феноменологии в России», который должен был стать инструментом этого возвышения, отрицал самого себя, так как выяснялось, что все представления российских философов о феноменологии были основаны на недоразумениях.

* * *

К 1998 г., когда выходила в свет «Антология феноменологической философии в России», проект «Логоса» уже распадался на две конкурирующие линии; у обеих групп появлялись свои дополнительные проекты, в которых они могли более полно реализовать ту степень критичности (хамоватости), которая не вполне подходила даже для «Логоса» периода 1991–1997 гг. Для Валерия Анашвили таковым стал на какое-то время проект журнала книжных рецензий «На посту», по признанию одного из его активных авторов, с рецензиями преимущественно хамскими [Руднев 2014: 29].

### *Тип связи с традицией*

Как и в способе присоединения себя к традиции (волюнтаристски-мифологическом), так и в последующем укреплении себя на философской сцене, бунт молодого поколения против поколений старших был довольно своеобразным. Речь не шла о том, чтобы утвердить какую-либо особенную систему взглядов. Основатели не могли сформулировать и какого-либо отчётливого мироощущения, как это в разное время было характерно для литературных ма-

легами» [С. 415].

нифестов писателей, поэтов или текстов художников. Имелось лишь желание новизны и готовность указывать на то, что нравится. (Надо отдать должное, в «Логосе» в те годы появилось немало хороших статей.) Однако: против чего направлен этот бунт? Какие цели он преследует? О чем он «говорит»? Ответа здесь нет, да и сами вопросы никогда не ставились. Если представить феномен в терминах поздней Франкфуртской школы, то это есть борьба против невидимости. Социальный субъект предпринимает подчёркнуто экспрессивные действия, «чтобы спровоцировать других "узнать" себя» [Хоннет 2009: 79–92] [25], т. е. заставить обращать на себя внимание – и в этом смысле «делать себя видимым». В зависимости от ситуации, в которой возникает в этом необходимость, а также от культурного уровня борющегося за признание человека, формы экспрессии могут быть самыми различными. В проанализированных выше случаях экспрессивность существенно выходила за пределы норм того культурного круга, видимости в котором добивался субъект[26].

Итак, прагматический мотив – достижение научного признания, тогда как средство достижения этой цели – установление связи с философской традицией и позиционирование себя на её фоне. И то, и другое вызывает у меня лично сомнение в том, что это «работает», и, кроме того, эмоциональное неприятие. Но если механизмы трансляции знания и культуры в состоянии нормальности здесь не работают – то что же «работает»? И как это нечто описать? Я не думаю, что здесь вполне уместна метафора «сшивания» различных пластов традиции [Козырев 2014: 45–55]. Скорее, здесь мы имеем дело с иллюзией связи. Я воспользуюсь тезисом, который уже звучал. Этот тип «связи» с традицией есть целиком и полностью мифологический. Что это значит? Для иллюстрации я воспользуюсь остроумной теорией античного мифа, предложенной в своё время Я.Э. Голосовкером. Предложив отказаться от жёсткого противопоставления «мифа» – «логосу», Голосовкер выдвинул гипотезу особой «логики», особой природы мифа. Поскольку в мифе очевидным образом стирается противопоставление между реальностью и вымыслом, действительностью и иллюзией, мы можем сказать, что законы природы «сняты», «есть только закон желания», только логика воли, и она проявляется в двух основных тезисах: а) для желания нет предела; 2) для желания нет невозможного [Голосовкер 2010: 113]. Мифологическое сознание может произвольно играть категориями времени, пространства, причинности. Интерпретация с точки зрения здравого смысла не имеет смысла, да и по сути невозможна.

> Для того, чтобы что-либо произошло, нет необходимости в каких-либо переменах в предшествующих обстоятельствах. Для этого необходимо одно: желание [Там же: 120].
> …из ничего возникает всё, стоит только высказать желание [Там же: 122].

Таков, по сути, закон не только мифологии, но и человеческого сознания культуры, находящейся на переломных этапах.

### *Свобода, радикализм, насилие*

Как кажется, ещё в 90-х гг. российская философия начинает осознавать проблемы, таящиеся за агрессией языка, и даже будет пытаться, опираясь в первую очередь на идеи М. Фуко, предложить альтернативу для этой агрессивности. Преодоление языковой агрессии достаточно отчётливо связывается с постсоветской реальностью: философы едва только почув-

[25] Пример, от которого отталкивается Хоннет, есть «невидимость», т. е. сознательное не-замечание чернокожего человека со стороны белых в расистском обществе.

[26] Обозначенная проблема, конечно, значительно более сложна. Известный вопрос Плеснера в связи с критикой социального радикализма – возможно ли в идеальной совместной жизни людей исключить насилие [Plessner 1981: 26] – можно переформулировать, спросив о возможности избежать насилия в эпоху глобальных исторических преобразований.

ствовали вдруг исчезновение внешнего контроля и регламентирования, но память ещё жива, опасения возврата старого сохраняются. Поэтому по самым разным поводам, отчасти не без нервной демонстративности и определённой назойливости, эта новая, утверждающая своё право философия будет заявлять не только о своей оппозиционности старому (неидеологичности), но и ещё о своей принципиальной «не-властности». Словосочетание «властные стратегии» с середины 90-х становится одним из любимых оборотов аудитории, охваченной новейшими французскими идеями. В уже приводившейся газетной заметке Е.В. Ознобкиной я приведу ещё один пассаж, характеризующий цели и устремления российской философии. Сторонники новой философии убеждают нас, что предлагают язык «достаточно строгий и узнаваемый, не растворяющийся в доминирующих сегодня языках постсоветской идеологии». Этот язык не находится на службе какой бы то ни было власти и «избегает быть причастным насилию и сам пытается его не порождать» [Ознобкина 1995: 13][27]. Идеи Фуко были важным источником формирования этой идеологии[28]. Однако же практикой она не стала.

Совершенно не исключая того, что для некоторых (по крайней мере) это вполне могло быть осознанной целью, я все же не припомню, чтобы неагрессивный дискурс и при том неагрессивные действия вполне были практикой нашей научной жизни. Ещё менее она может стать практикой, когда общественная жизнь вокруг преисполнена дискурса вражды, как в последние 10–15 лет.

* * *

Обозначенные выше темы сами по себе касаются достаточно тривиальных феноменов, представляющих скорее общекультурный, но не философский интерес. Но для меня они служат иллюстрацией к следующим нескольким темам.

### *Журнал как воля к власти*

Журнал как особая форма презентации научных результатов интересовал меня в различных контекстах. Происхождение подобной формы удобнее всего рассматривать в связи с начальными этапами становления британского эмпиризма, на примере старейшего периодического издания Европы, номинально имеющего философскую тематику («Философских трансакций Лондонского королевского общества». 1665 – ) [Михайлов 2014: 9–22]. Прослеживая публикационную историю и смену редакторских концепций некоторых наиболее влиятельных европейских периодических изданий – например, «Mind» (1876 – ) или «Журнала философии и философской критики» (1837–1847; 1853–1918), мы всегда увидим – хотя бы у истоков журнала – отчётливую концепцию, философскую программу, ради реализации которой создаётся соответствующее периодическое издание. Сфера интересов может быть поначалу сравнительно узкой, например критика религии, и только через несколько десятилетий журнал будет превращаться в издание широкого общефилософского профиля. Ориентируясь на ситуацию в науках, журнал может, иногда довольно неожиданно для читателя, менять главного редактора, корректировать своё название[29]. Он может прекращать своё существование, обнаружив, что его научно-культурная миссия себя исчерпала или, если это в пер-

[27] Ознобкина Е. В. Новое издание Ad Marginem. С. 13.

[28] В этой связи заслуживает упоминания также предложение В.И. Молчанова увидеть истоки агрессивности в сфере, которая в определённом смысле может рассматриваться как более фундаментальная (по отношению к агрессии языка) [Молчанов 2004; Молчанов 2007: 197–454]. Согласно этой теории, «агрессивное сознание характеризуется прежде всего нехваткой различений», объективный смысл агрессии – «вторжение с целью превратить “объект агрессии” в несамостоятельную часть, “подчинить своей воле”». Агрессия всегда связана с ощущением «преизбытка сил», что подталкивает субъекта к «деформации опыта чужого» [Там же: 451]. По крайней мере две из четырёх вычленяемых автором черт «агрессивного сознания», а именно «желание моментального осуществления» (1) и «отсутствие дистанции между своим и чужим» (2), являются вполне иллюстративными для той модели мифологического присоединения к прошлому, о которой говорю я [Там же: 452].

вую очередь единоличное мероприятие, в результате глубокого личного разочарования в целях его главного инициатора. Он может даже выходить всего несколько лет, но остаться в истории навечно – как «Критический журнал философии» Гегеля и Шеллинга или «Атенеум» братьев Шлегелей. Однако всякий раз за таким изданием стоит определённая идея. И во всяком случае, как правило, имеется некоторая зрелость в том, что тот или иной автор будет желать донести до читающей публики.

Если есть что сказать, журнал может какое-то время вообще существовать как журнал одного автора. Так было, например, со знаменитым «Факелом» Карла Крауса (Die Fackel, 1899–1936).

Что, однако, происходит, если всего этого нет? Если прежде собственных идей, о которых пожелали бы сообщать читателю люди, решившиеся на периодическое издание, в наличии имеется пока только это желание заявить о себе, о своих предпочтениях и идеалах в выбранной области.

Издания такого рода довольно часто превращаются в «визитку», «планпроспект», некоторое обещание, которому ещё только предстоит реализоваться. «“Мы” будем издавать не столько “философский журнал”, который содержал бы оригинальные статьи современных “философов”, сколько философский альманах, на страницах которого “воскреснут” философы времён прошедших» [От редакции 1991: 7]. Но может ли воскреснуть то, чему в эпоху его реанимации (пока) не соответствует, не сопутствует сопоставимых признаков интеллектуального усилия? Уже здесь, в силу совершенно естественных ограниченностей своего рождения, метод оживления традиции, восстановления утраченной связи с ней приобретает несколько наивный, магический характер. Мы воспроизводим нечто, и потому оно живо, уже благодаря тому, что мы его воспроизводим. Причём возникает иллюзия, будто, воспроизводя нечто, мы одновременно, с необходимостью устанавливаем «связь» с этим нечто.

Но если вернуться к вопросу: как именно осуществлялся бунт в отсутствие содержательной программы? Ответ сравнительно прост. В этой диалектике ниспровержения традиции или попыток на традицию (ту же самую или какую-то её часть) опереться, нахождение баланса было всегда определенным искусством. Искусство это всегда предполагало наращивание символического авторитета с помощью одних[30] – для того, чтобы выступать грозной и устрашающей силой перед другими. Иногда это искусство предполагало и немалую толику презрения к тем группам, которые использовались для возвышения над другими[31]. Потому-то некоторые журнальные проекты того времени и заполняли «смысловые паузы» с помощью искусственно стимулируемой полемики[32].

---

[29] Так происходило, например, с основанным Рихардом Авенаруисом «Ежеквартальным журналом научной философии» («Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie», 1877–1916), который в 1901 г. получает дополнение к названию: «Ежеквартальный журнал научной философии и социологии».

[30] Одной лишь заявки на «присоединение» к традиции было недостаточно. Необходимо было «представительство» хотя бы какой-то части научного сообщества, уже имеющего имя. Проект понятен, когда он воспринимается как продолжение прежних усилий. Так, зарубежному читателю кажется, что это продолжает усилия П.П. Гайденко, З.М. Какбадзе, а также поддерживается такими, как Н.В. Мотрошилова, М.А. Киссель, А.Ф. Зотов [Möckel 1991; Deutsche Zeitschrift für Philosophie 1992: 1359–1361].

[31] «Неприятно мне туда (в Институт философии) приходить: там дурно пахнет», – весело говорил мне один деятель того времени, регулярно использующий авторов нашего института.

[32] В некоторых случаях она в игровой форме высмеивает «коллег-конкурентов» (напр.: «слушай, мужик, ты, блин, Бланшо читал в натуре? Я вот, блин, в натуре издал книжку, а прочитать не могу. Не пойму, про что. Мне по барабану, что ты не с философского. Я тоже, блин, типа того, с филологического » [На посту. 1998: 80 – на издание: Бланшо 1998]. В других выплёскивают свою внутреннюю культуру более свободно: «…великие русские философы А. Пятигорский, М. Рыклин, А. Ахутин, Н. Мотрошилова, А. Доброхотов и мужчины без определённых занятий В. Визгин и Л. Аннинский норовят заполнить все эти страницы своим визгом и рыканьем, своим доброхотством и пятигорством, своим ахуканьем и амеканьем…» и т. д. [На посту… 1998: 79 – на издание: Произведённое и названное…1998].

Можно, конечно, спросить, отчего же парадоксы этого юношеского радикализма оставались не замеченными? Ответ заключается в действии по крайней мере двух факторов. Один, типично «модернистский», шел из советского прошлого и объяснялся, с одной стороны, особым доверием к слову, с другой – благоговением перед именно печатным словом. Напомним: на протяжении по крайней мере половины века учёный не мог представить себе, чтобы книга или номер журнала могли быть напечатаны без многочисленных согласований на самом высоком уровне. Тем самым напечатанный текст автоматически наделялся индексом «повышенного доверия». Это означало, что российский автор с большой охотой давал согласие числиться в «научном» или «редакционном» совете издания. При этом идея необходимости хоть какого бы то ни было реального участия – будь то в форме рецензирования материалов[33], обсуждения каких-либо научных вопросов, связанных с изданием в целом, – в голову никому не приходила. Числиться было – почётно. По сути, когда здесь (в виде «членства») предлагалась роль, в советское время доступная лишь по решению административного начальства или идеологически контролирующих инстанций, едва ли кто отказывался. Затем обижались, когда их имена (как правило, без объяснений) исчезали со страниц издания. В этом управлении, осуществляемом путём раздачи символического капитала, довольно большую роль играла давняя магия печатного издания, лишь несколько лет назад являвшегося знаком «избранности». Что же касается зарубежных кандидатов на эту роль, то их участие тем более ограничивалось присутствием их имени на титульных страницах: русского языка они не знали, наши же коллеги, за редчайшими исключениями, не владели навыками письменной речи на каком-либо из иностранных языков.

Вторая причина благоговейного отношения к возникающим периодическим изданиям коренится глубже и требует анализа уже с точки зрения науки о медиа (или того, что сегодня называют communication science). В самой периодичности журнального проекта есть нечто, что очень созвучно современной медийной культуре: периодичность символизирует постоянство и устойчивость и как бы облагораживает, придаёт особый вес подаваемому в такой форме материалу.

Помимо тривиальной функции предоставления информации, периодическое издание всегда является ещё и некоторым научно-социальным жестом, который несёт определённое сообщение коллегам по цеху. Например, об идеалах и нормах, которых придерживается сообщество, о том, в каком состоянии оно находится, и даже о том, является ли оно вообще сообществом. Довольно часто вводные статьи «от редакции» сообщают скорее о намерениях, чем о достигнутом. Во многом выдают желаемое за действительное. На мой взгляд, именно это показывает нам, каков характер выстраивания связи с традицией. Как уже было показано, этот способ «культурного строительства» – мифологический по своей природе. Даже: ритуально-магический. По каким закономерностям это делается? Имагинативный абсолют. Закон абсолютного желания. Я позволю себе кратко очертить некоторые следствия такой установки.

### *Проклятие перевода*

Периодически встречая в Интернете интервью с издателями, я обращаю внимание, что многие из них жалуются на подавляющее преобладание переводов на современном книжном рынке России. В ряде случаев совершенно справедливо отмечается, что это приводит к образованию целых пластов (переведённой) литературы, превращающейся в «мёртвый груз», никак не включённой в научную жизнь. Высказывается предположение, что изменить ситуацию может лишь иная структура учебной нагрузки преподавателя и вообще иное экономическое положение учёного. Определённая доля истины в этих предположениях есть, однако я хочу обратить внимание на другие факторы.

[33] Понятие «рецензирования» или вообще «редакционного обсуждения» было в те годы довольно условным понятием.

Преобладание перевода на определённых этапах, как я пытался показать на примере ситуации с «российским Хайдеггером», может иметь самые различные мировоззренческие или идеологические причины. Вполне может быть и так, что учёный имеет в своём сознании вполне отчётливую научную программу, однако её реализации, считает он, должно бы предшествовать создание (или разъяснение) языка, на котором ему предстоит говорить. Должны присутствовать, быть доступными те тексты, о которых он будет говорить в своих «авторских» текстах. Учитывая состояние советской философии XX в., само создание, подготовка такого языка посредством переводов может занимать массу сил и времени.

Может быть и так, что предпочтение зарубежных авторов объясняется их большей известностью и, соответственно, большими надеждами на коммерческий успех издаваемой книги. Но возможны и менее прозаические причины преобладания переводов. И они будут заключаться как раз в том способе прикрепления к традиции, который на определённом этапе выбрали российские философы. Перевод стал одной из доминирующих линий приобщения к зарубежной традиции ещё в 90-х потому, что иной способ не соответствовал интеллектуальным возможностям.

Человек не достиг совершеннолетия, если встречающиеся ему в мире интенции смысла он, не понимая, лишь воспроизводит, либо просто копируя, либо потому что подчиняется рефлексу подражания [Scheler 1916: 356]. Просматривая старые публикации нового поколения 90-х, мне трудно определить, где именно воспроизведение известных слов вроде «редукция», «сознания», «интенциональность», Dasein и т. п. совершалось хотя бы с некоторым пониманием смысла слова, а где оно опиралось на очень приблизительно схваченные правила языковой игры, в соответствии с которой было примерно понятно, какие темы с чем связаны.

### *Историко-философский «персонализм» и судьба «Хайдеггера в России»*

Работа философа – причём не только лишь историка философии – довольно часто сводится к любовному и тщательному портретированию одного (в лучшем случае 2–3) избранных в соответствии с собственными интеллектуальными и психологическими предпочтениями мыслителей, с последующим (полным) погружением в него. Это феномен, известный достаточно давно. Хайдеггер для фон Херрмана, Брентано для Оскара Крауса – таких примеров можно привести намного больше.

В одном из своих писем Гуссерль даёт яркую характеристику Оскару Краусу. «Он, собственно “неплохой парень”, однако брентанист и закоренелый фанатик, наподобие Торквемады. Будь это в его власти, он бы, не моргнув глазом, сжёг врагов Брентано на костре. Вместе со мной и моими друзьями…»[34]. Неле Васильевне как исследователю и человеку присуще нечто от описываемой Гуссерлем страстности. Чем был Брентано для Крауса – тем, по крайней мере отчасти, является Гуссерль для Нели Васильевны. С книги о философии этого мыслителя начался её научный путь, именно он является для неё воплощением философа[35], а его жизнь до 1928 г. – образцом уважения и почёта, которые дóлжно оказывать философу, достигшему в научном сообществе определённых заслуг. Долгие годы общаясь с Нелей Васильевной, я могу с определённой долей уверенности говорить, что и модель отношений «учитель / ученик», из которой она исходит, также во многом «списана» с отношения Гуссерля к своим младшим коллегам. Поэтому совершенно неудивительно, что две книги – Виктора Фариаса и Хуго Отта [Farías 1987; Ott 1988][36], – специально подготавливаемые к 100-летнему юбилею со дня рождения Хайдеггера и движимые главной целью «свергнуть

[34] Из письма Марвину Фарберу от 18. VI. 1937 [Husserl 1994: 82].

[35] В этом убедит внимательное знакомство с изданием: Мотрошилова 2003.

[36] Выход книги Отта по времени спланирован идеально, тогда как Фариас слегка опережает; лёгкое недовольство Отта чувствуется по Введению к книге.

кумира», производят на Н.В. Мотрошилову глубокое впечатление, формируя её отношение к Хайдеггеру окончательно и бесповоротно. По всей видимости, это происходит не сразу. В 1989 г. в Институте философии пока ещё вполне мирно проходит конференция, посвящённая юбилейной дате. В то время Советский Союз демонстрирует открытость, и возможность приехать туда на научную конференцию выглядит заманчиво. Ведутся переговоры с Г.-Г. Гадамером, однако приезд всё же не складывается, и Гадамер называет вместо себя Вильгельма Анца, не без юмора отмечая, что предлагает «кандидатуру помоложе» (Гадамеру тогда 89, Анц на 4 года младше)[37]. Известный специалист по Хайдеггеру, издатель нескольких томов его сочинений, Фр.В. фон Херрманн, приезжая в Москву, совершает в тот год свой собственный подвиг: первый и, кажется, единственный в жизни авиаперелёт. Н.В. Мотрошилова выступает с докладом «Wozu Hegel»[38]; вопрос о «нацизме» Хайдеггера участники конференции затрагивают один или два раза, однако серьёзного отклика он не вызывает.

Совершенно иная картина предстаёт перед нами в 1991 г., когда выходит в свет сборник материалов конференции. Его теперь открывает объёмный материал ответственного редактора, по объёму приближающийся к небольшой книге, раза в 4 превышающий объем любого из опубликованных далее текстов и, что самое важное, задающий определённый ракурс к восприятию всех последующих текстов. Чисто номинально этот текст подаёт себя как подход «присяжных заседателей», как попытка «объективно разобраться в хайдеггеровском “деле”» [Мотрошилова 1991], фактически же статья методично, с самых разных ракурсов пытается показать, что Хайдеггер был нацистом, плохим, мелочным и тщеславным человеком, да еще находившимся под влиянием жены. На это отводится примерно 60 % всего объёма публикации; биографический материал берётся по книге Х. Отта. Точно так же, как у Отта, ради достижения поставленной цели автор закрывает глаза даже на то, что заключения об образе мышления Хайдеггера делаются по высказываниям других людей. Чего ради мы должны интересоваться этим слабым, мелочным человеком и почему его считают одним из самых великих философов XX в.? Это так и остаётся неясным, поскольку упоминанию некоторых философских воззрений отведено 7–8 страниц в конце статьи. Данный текст Н.В. Мотрошилова воспроизведет по крайней мере трижды, без каких-либо существенных изменений или уточнений [Мотрошилова 1992: 158–236; Мотрошилова 2005: 425–500].

Содержательный разговор о Хайдеггере у нас с Нелей Васильевной зашёл только однажды, в 2001 г., по окончании конференции «Феноменология сегодня», когда мы, молодые участники, были приглашены к ней домой. В ответ на упоминание этого текста я сказал, что выбранный тон считаю в историко-философской работе недопустимым, а интерпретацию в целом ошибочной. Разумеется, в тот вечер мы не достигли согласия, а после обходили острую тему стороной. Нет особого резона спорить о вещах, мотивация которых лежит, возможно, глубже уровня конвенционального историко-философского дискурса. Однако с течением лет (уже почти трёх десятилетий) это существенным образом сказывается на общем уровне историко-философских исследований XX в. как эпохи. Одна из следующих «демифологизаций» неизбежно коснётся этого вопроса.

### *Мода и новые ориентиры. Поиск ориентиров и слов*

Тогда, с начала 90-х и, пожалуй, до начала 2000-х, отчётливо заметна была попытка найти какие-то новые символы, ориентиры философии. Слова. Те, что отвечали бы запросам нового поколения. Довольно часто они принимали форму новых авторитетов в философии. Откуда их можно было взять? Они брались из западной моды тех времён, которую сообщали «проводники влияния». Молчанов сообщил интерес к Гуссерлю. В.А. Подорога – к французско-ориентированной мысли.

[37] По воспоминаниям А.А. Михайлова, занимавшегося этими приглашениями.

[38] Парафраз известной сентенции Фр. Гёльдерлина «Und wozu Dichter in dürftiger Zeit».

Поиски идеального места, философской земли обетованной, ожидание волшебного магического слова, к которому надо только прислушаться, чтобы нам раскрылась тайна. Таково было настроение в философской, во многом также в общественной жизни, эти же потребности были затем широко использованы в управлении общественным мнением. В историко-философских исследованиях (но не только в них) это принимало несколько апокалиптичную форму ожиданий «последнего философа». Это беспокойство охватывало не только «молодёжные» издания, но и те, что выходили под патронажем старших коллег. Разъясняя интерес одного кумира тех лет к другому, один из авторов пишет:

> Как мыслитель для Деррида он (т. е. Хайдеггер. – *И. М.*) интересен не только как создатель фундаментальной онтологии, но прежде всего как критик западной цивилизации, западного мышления и западного образа жизни (западного способа бытия), как «последний философ» западной метафизики. Хайдеггер не просто открыл новую перспективу философии: открыв, он лишил её этой перспективы. Он претендовал на то, чтобы поставить последнюю точку в западной философии. Как и Гегель, Хайдеггер вынес приговор философии, утвердив её «конец»… [Нуржанов 1994: 166–167] (курсив мой. – *И. М.*).

Далее автор поясняет, как именно Хайдеггер «утвердил конец» философии: «Последняя точка в западной философии, которую поставил Хайдеггер, это Бытие. Претензия на то, что эта точка “последняя”, отнюдь не иллюзорна, – поясняет Нуржанов, – дальше бытия, больше бытия, предельнее бытия мыслить невозможно, мыслить нечего…» [Там же][39].

Вот так проявляется «мистика бытия» и «завороженность бытием» у авторов вторичной литературы, прежде чем упрёк в мистике будет снят с собственного сознания и перенесён на обсуждаемого автора. Разумеется, так понятая проблема бытия загоняет российского философа в тупик. Ведь дальше следует вполне закономерный в духе этой апокалиптичности вопрос: «Бытие как последняя точка, поставленная Хайдеггером, с особой остротой ставит вопрос о том, как возможна философия post? Что может быть после (post) последнего?»

«Что можно сказать в философии после Хайдеггера?» [Нуржанов Там же].

Личностный смысл этого вопроса вполне определённен и прочитывается следующим образом: «что я могу сказать в философии после Хайдеггера?» Однако автор уже сам загнал себя в тупик, и потому ответ вполне ясен: «ничего». Неутешительность этого «ничего» рано или поздно должна обратить неудовольствие против того, кто, собственно, мешает мыслить «дальше».

Постоянные поиски «последнего» или «главного» философа, «авторитета», да и вообще сама готовность их видеть, есть совершенно особое устройство человеческого сознания, о котором сегодня, после публикаций Т. Адорно и Х. Арендт, мы можем судить более полно; вознесение или «низвержение» кумиров – две стороны одной медали. Однако беспокойство тех лет проявлялось не только в попытках перебрать все «конечные», «предельные» имена и проблемы. Оно реализовывалось также и в попытке найти «новые слова».

### *«Шестидесятники» и «бумеры»*

Замечал ли читатель, что из всех поколений советского, а затем нового российского периода наибольшую устойчивость обрело лишь одно, «шестидесятники»? Это обозначение для группы людей, чьё рождение приходится на 30-е гг. (конец 20-х / начало 40-х). Это – самое знаменитое из наших поколений. Попытка использовать аналогичную модель словообразования для обозначения последующих поколений неизменно сохраняет некоторый налёт искусственности. Главная причина очевидна: как раз на наиболее активный период профес-

[39] Надо заметить, что «Бытие» (Sein) в этом дискурсе всегда пишется с большой буквы, что мне представляется одним из наиболее верных признаков мифологизации идей Хайдеггера.

сионального становления и самого начала научной жизни этих людей приходятся наиболее радикальные события в жизни страны, связанные с т. н. хрущевской оттепелью. Они были начаты ещё во второй половине 50-х, однако вполне набрали силу к середине 60-х гг. Именно тогда многим из поколения, на чью зрелость пришлись эти события, пришлось занять позицию, определившую судьбу последующей философии. Полагаю, причина заключается не только в том. Поколения, философская зрелость которых пришлась на 60–70-е и даже 80-е гг., всегда будут более узнаваемыми, более монолитными и «сплочёнными», нежели все последующие – уже в силу большего разнообразия социальных ролей, которые предлагает современность, больших возможностей «фрагментации» общества посредством выбираемых в социальных медиа микросообществ. В силу большего разнообразия форм идеологического воздействия, оказываемого на нас.

Во многих своих дискуссиях – о диалектике, о логике, о природе идеального, советская философия вовлекалась – вынужденно! – в обсуждение проблем, которые были заданы ей не философской, но идеологической реальностью.

Задумываясь о поколениях, чьё рождение пришлось на 30–40-е гг. (пожалуй, до середины 50-х), у меня никак не получается увидеть за многими талантливыми людьми общие черты «поколения». Одни сумели сохранить остроту и ясность ума до сегодняшнего дня и до сих пор остаются собеседниками, общение с которыми я считаю для себя важным и поучительным[40]. Но есть и те, кто живут в каком-то своём, особом мире символов и воспоминаний и, похоже, способны поддерживать разговор, только если беседа касается их самих, их планов, их опыта и т. п. Причём, похоже, уже многие годы. Что именно происходит с интеллектуальной жизнью человека, если всё, что его в наибольшей степени интересует, принадлежит его собственному прошлому? Среди людей, формально принадлежащих к тем поколениям, есть люди, в разное время занимавшие принципиальную позицию по самым разным вопросам. Вот только мне иногда кажется, будто проницательность, пытливо-критическое отношение к миру есть конечный, ограниченный запас. Так сказать, резервуар, зачерпнув из которого однажды человек с сознанием исполненного долга часто затем успокаивается, возвращаясь к мирку убеждений и жизненных ориентиров, которые ему уже не придёт в голову пересматривать. То, что могло выглядеть свежо и остро в ситуации тотального засилья коммунистической идеологии, может в наши дни производить несколько диковатое впечатление.

При этом заметна совершенно очевидная асимметрия: человек, живущий в настоящем, значительно чаще занимает позицию заинтересованного наблюдателя прошлого, а следовательно, также испытывает больший интерес к людям, представляющим это прошлое. Вот совершенно простой факт, настолько простой, что не только никого не удивляет, но кажется тривиальным: несопоставимо чаще последующие поколения интересуются историей предшествующих, нежели наоборот. Речь идёт, разумеется, в первую очередь об интересе, который был бы письменно документирован, отливался бы в публикуемые исследования.

Всё более отчётливыми становятся границы, пролегающие по самым разным линиям нашего отношения к себе и миру: понимание правил, этноса научной деятельности; понимание прошлого страны, в которой мы живём; понимание её настоящего, вообще понимание политического. В «Первоначалах философии» Декарт как-то заметил, что «люди, занимающиеся философией, часто менее мудры и менее рассудительны, чем те, кто никогда не посвящал себя этому занятию» [Декарт 1989: 303]. Начиная с 2005 г. мне неоднократно вспоминалась эта фраза. «При Сталине тех, кто ни на что особенное не претендовал, в общем-то не трогали», – однажды признался мне одна тихая, благожелательная и, в общем-то, добрая сотрудница нашего института, много пишущая о проблемах человека, о личности и гуманизме. – И что можно сказать в ответ человеку, который в своём возрасте вряд ли начнёт переосмыслять то, на чем десятилетиями строилось его миропонимание?

[40] Невозможность общения с некоторыми я ощущаю как утрату: Г.М. Тавризян [Михайлов 2015: 145–147], В.М. Межуев, В.С. Стёпин.

Осень 2007 г. была отмечена небывалым всплеском агрессии и злобы, изливавшихся с экранов телевизоров. Было ясно, что мы входим в какое-то совершенно новое, невиданное прежде состояние. У многих это тогда вызывало недоумение, шок. В том случае, когда были основания доверять собеседнику, мы обсуждали происходящее. В одном из таких разговоров прозвучала задумчивая фраза: «Мы-то уже своё пожили, а вот что ваше поколение будет делать…» Моему собеседнику было тогда около 60 лет, мне – около 40. Сказанную мне фразу я понял тогда из контекста ситуации. Как беспокойство за оборот, который принимают события, как признание, что его, собеседника, энтузиазм и силы по противодействию этим тенденциям ограничены или отсутствуют вовсе. Те слова запомнились мне, вероятно, по причине удивившего меня пессимизма в отношении себя самого. Впоследствии мне неоднократно приходилось наблюдать этого философа на совместных научных мероприятиях, на которых мы довольно регулярно (но всегда случайно) оказывались вместе. Его поведение оставалось неизменным. Как и в 90-е, так и сейчас он всякий раз, причём не без некоторой агрессивности, стремился утвердить свой взгляд, свою позицию по тому или иному вопросу. Его слово непременно должно было быть главным и оставаться окончательным. Сарказм на грани оскорблений оппонента. Этому человеку необходимо оставаться в центре внимания, это был его modus vivendi. Насколько мне известно, к сохранению административных рычагов влияния этот философ относился также весьма трепетно. Слова, услышанные много лет назад, предстали тогда для меня в несколько ином свете. «Мы-то уже пожили, [достигнув статуса, общественного положения, научного признания и проч.; рисковать утратой ничего из этого мы не будем. Поэтому если какие-то изменения и будут происходить, то это за счёт вас, ребята. И вот что ваше поколение будет делать, не имея ещё того запаса прочности, который был бы здесь необходим, мы себе и представить не можем…]». Я подумал тогда, что сказанная фраза вполне может восприниматься в качестве модели отношения значительной части рождённых в 30–40-е гг. к поколениям последующим.

Конечно же неверно судить о шестидесятниках в 60–80-е гг. по ориентирам и требованиями, которые не могли быть обнаружены в те десятилетия. Но я этого и не делаю. Выказывая глубокое почтение к позиции, занимаемой этими людьми прежде, я лишь о том, как некогда занятая позиция сказывается на восприятии современности. С помощью этих примеров я постепенно подхожу к одной из черт, которая разделяет несколько наших поколений. Мы в первую очередь различаемся отношением к нашему коллективному прошлому. Мы также отличаемся по нашему пониманию философии, причём, возможно, сильнее, чем каждая из сторон готова была бы себе в этом признаваться. Мы иногда кардинально различаемся в том, что следует считать «политическим», в чем природа «социального». Мы различаемся нашими прогнозами развития или, наоборот, деградации. Для иллюстрации одной из граней этого глобального различия я позволю себе ещё один пример.

«Трудно сказать, почему Лена Ознобкина настолько ушла затем в правозащитную деятельность», – доводилось мне слышать осенью 2019 г., на презентации сборника работ, изданных в память о об этом замечательном учёном и человеке [Ознобкина 2019]. Помню, меня глубоко поразил этот вопрос, тем более заданный коллегами, общавшимися с ней значительно более тесно, нежели я. Ещё раз вчитываясь в опубликованные материалы, я подтвердил для себя впечатление, возникшее ещё при самом первом, беглом знакомстве с книгой: здесь буквально каждая страница «кричит» о том, почему Лена это делала. Но для начала я попытаюсь разъяснить, что именно вызвало недоумение моих коллег. Мы все знали, что ещё с середины 90-х гг. доля публикаций на общественно-политические темы среди всего, что писала Ознобкина, существенно выросла. В 2000–2005 гг. стала очевидна ещё одна новая тема: размышления о сложившейся в нашей стране уголовно-исполнительной системы и, в частности, практике «исправительных» наказаний[41]. Обсуждались тогда и моральные

[41] Подразумевается сотрудничество с журналом «Индекс / досье на цензуру» и журналом «Неволя» (с 1996 и 2004 гг. соответственно – в должности заместителя главного редактора).

проблемы в связи со смертной казнью, и жестокость всей уголовно-исполнительной системы в целом. Уже тогда, в 2005–2007 гг., это воспринималось многими как добровольный уход от «добропорядочных», «глубоких» философских тем в область «прикладного», журналистского. Когда определяют смещение интересов коллеги в таких терминах, к оценке неизбежно примешивается констатация: «он ушёл в более простую проблематику; очевидно, “не справился” [с традиционной, более сложной]»[42]. Но всегда ли это так?

Полагаю, в случае Лены такое движение имело самые что ни на есть веские фундаментально-философские основания. Причём они выглядят очень естественно для всех, кто внимательно читал Хайдеггера[43]. «От философии и морали – к социологии наказания» – гласит один из подзаголовков автора [Ознобкина 2019: 108]. Философия должна быть способна сделать шаг от «верных», «глубоких», «истинных» положений к тому, чтобы сказать своё слово о проблемах, жизненно касающихся человека. О том, что задевает его вживую, задевает вот прямо сейчас. Но философия в большинстве случаев этого не делает. Она любит ссылаться на проблемы «более фундаментальные». Есть, мол, «трансцендентально-онтологические» основания жестокости, насилия и несправедливости, и вот о них-то мы сейчас и будем вести речь, чтобы разрешить все те «частные» случаи несправедливости. Поступая так, философия – разумеется, всегда в лице конкретных «специалистов» – демонстрирует либо слепоту, либо… скажем так: опасения за собственную безопасность. Либо и то, и другое. Последнее, как правило, вызывает первое. Философы любят говорить об общих вещах и проблемах, пускаться в далекоидущие экскурсы, говорить иносказательно, критиковать косвенно, на примере той критики, которую какой-то другой философ высказал в отношении стоящей перед ним проблемы. Они часто обставляют все так, чтобы критические выводы делал – читатель, но чтобы вольнодумцем при этом считался – он сам, пишущий про это «мыслитель». Мне кажется, в нашем и последующих поколениях таких людей значительно меньше. И если им приходится прибегать к имплицитной критике, они хотя бы не пытаются выдавать её за подлинную критичность. Впрочем, в описываемой мною практике совершенно нет ничего предосудительного. Каждый делает то, что может и как может и в тех условиях, в каких удаётся.

Если вернуться все же к «переходу» от философии к «правозащитной» области и тем мотивам, которые побуждают это сделать, приведу ещё одно разъяснение. Отмечая, что благодаря средствам массовой информации «сегодня все всё уже знают»: «…о смертях в камерах СИЗО от удушья, о голодном тюремном существовании, о том, как люди гниют, оставаясь без медицинской помощи, о психических больных, скученных в убогих камерах, о катастрофических масштабах туберкулёза, сифилиса и СПИДа, о насилии и унижении», Ознобкина добавляет:

> Но информация почему-то не превращается в знание (мы не хотим знать и помнить), а знание почему-то не превращается в разумное (я даже не говорю «гуманное») действие. А значит, мы все соучаствуем в унизительной и варварской форме общежития [Там же: 77].

[42] В среде философов на такие признания – из вежливости – решаются крайне редко. Однако почти в этих самых выражениях высказывались при мне об одном талантливом философе, ушедшим в 2000-х гг. из современной западной философии в политологию и культурологию. Наблюдения из западного мира удивительно созвучны. С определённых «вершин» переход из философии в другую гуманитарную науку оценивается как коллапс или капитуляция, отмечает Дж. Ваттимо [Vattimo 2010: 105].

[43] Как известно, её диссертация имела к этому самое прямое отношение: [Ознобкина 1987]. Для Хайдеггера понимание имеет фундаментально практический характер, и лишь вторично, производно является «умственной» деятельностью. Это означает, помимо прочего, что знание и понимание неких абстрактных истин непременно должно проявляться в вопросах практических, в применении к жизни.

Для Лены речь идёт «о возможности превращения “населения” в “гражданское общество”», и «состояние тюремного института – индикатор этого процесса» [Там же: 75].

* * *

Периодически общаясь с некоторыми представителями поколения шестидесятников, я приметил для себя один довольно распространённый в этой культурной среде типаж. Для него присутствовать, быть в той или иной иерархии, «быть представленным в качестве…» есть совершенно необходимое условие понимания им себя самого и окружающих его людей (коллег). Он не знает, как опознать человека, если не удаётся отождествить его с некоторой понятной, известной для него общностью, т. е. например, если не идентифицировать его как кантианца, гегельянца, гуссерлианца и т. п. «Вы чьи будете?», как бы спрашивает он, знакомясь с коллегой. Социальные роли в научном сообществе также должны быть чётко и заранее определены. Он должен знать, кто ты и кто он. Он может быть рецензентом, экспертом, организатором, руководителем. Но эта роль должна у него быть, в идеале – поручена начальством. Без неё, этой роли, он чувствует себя неуверенно, даже потерянно. Сама мысль о том, что некий человек может не гореть желанием находиться с ним в одной «иерархии» (системе социальных координат), что люди могут оценивать себя иначе, ставить перед собой совершенно иные жизненные задачи, – может привести его в растерянность.

* * *

В статье о феномене «философов-шестидесятников» А.А. Гусейнов очерчивает основные контуры того, что создавало портрет той эпохи: шестидесятники «возродили отечественную философию после предшествовавших десятилетий её невообразимой идеологической вульгаризации», создали «особую атмосферу», публичное пространство, своего рода «параллельный полис», «вернули в общественное сознание понятие философского профессионализма», по сути сформировали свою систему его норм, ведя собственный, «гамбургский» счёт [Гусейнов 2005: 4–11].

Соглашаясь в целом с этими оценками, я спрашиваю себя, до какой степе- ни – и когда именно! – это возрождение отечественной философии произошло, поскольку прекрасно помню, какую небольшую долю в общем море философских публикаций составляли профессиональные работы вплоть до середины 80-х гг. Никоим образом не умаляя заслуг шестидесятников, я затрудняюсь определить, какое влияние на ростки профессиональной философии всё-таки имел общий фон советской философии того времени. Не знакомый с той реальностью, я не знаю, до какой степени мы героизируем то, что должно было быть (а в Западной Европе все эти годы – было) нормой научной жизни. Задумываясь о научных нормах, я прихожу к выводу, что своего рода научный кодекс, в чем-то не менее строгий, чем «гамбургский» 60-х, сложился и для поколений 1990-х гг.[44]

* * *

Эмоциональность и напор, с которыми молодое поколение в начале 90-х заявляло о себе и своих интересах, иногда заставляет вспомнить экспрессию, с какой многие наши старшие коллеги в последние 10–15 лет заявляли о ценности своего поколения, своей эпохи, своего опыта[45]. На мой взгляд, оснований чувствовать себя ущемлёнными нет. Одна из причин того: как и сейчас, как и в 90-е и точно так же, как в 50–60-е, водораздел в оценках советско-

[44] Его, в частности, отличает большая строгость в: 1) повторении (републикации) своих текстов (для старших поколений это, похоже, постоянный и неконтролируемый процесс); 2) в отношении «самоплагиата», т. е. повторного использования кусков старых текстов в новых публикациях; 3) в отношении цитирования, в том числе архивных материалов; 4) в более поздних поколениях значительно реже строят собственные публикации по модели бесконечных вариаций «Философ Х и ….» и т. д.

[45] Одним из наиболее ярких текстов является книга: Толстых 2008: 38, 50, 56; см. также: Толстых 1997: 8–12.

го прошлого проходит не по границе между поколениями. Он объясняется также и не модой, не внезапным «оглуплением» людей, вдруг отчего-то попавшими под влияние общества потребления, «консьюмеризма», как теперь модно говорить. Этот водораздел чаще всего проходит по самому что ни на есть живому: были ли в семье того, кто о советском периоде высказывается, те, кого расстреляли без суда и следствия? те, кого сначала изморили голодом, непосильными условиями в лагере – а потом всё-таки расстреляли? и т. д. Был ли массовый террор? Было тотальное доносительство? Существовала ли на всем протяжении истории Советского Союза практика подавления личности, в том числе предельно жестокими средствами?

Были семьи, кого это непосредственно не коснулось, повода сочувствовать тем, кто подвергался репрессиям, могло и не предоставиться… А идеология помогла не знать и не смотреть по сторонам, не интересоваться – и тогда отношения со средой могли складываться вполне гармоничные. «Мои отношения с советской властью, всегда искренние, зиждились на том, что я её действительно принимал и уважал, несмотря на все разногласия…» [Толстых 2008: 51]. Всё правильно. Репрессировав значительную часть населения, советская власть тщательно пресекала любые способы передачи знания об этом. Это позволяло другой части страны жить психологически и морально ничем не омрачённой жизнью, сплавлять радость открытия мира с этой вот властью, при которой всё и происходило. Это побуждало быть благодарным Советскому Союзу «за детство счастливое наше», за «самый гуманный в мире строй», за безопасность и защищенность. Советский человек научался идентифицировать себя с идеей. С тем образом, над закреплением которого так тщательно работала идеология. Ставшее крылатым выражение «за державу обидно», вложенное в уста вполне конкретного киногероя, имело, конечно, отчётливый, обращённый к зрителю педагогический смысл. Но не менее важно, что оно стимулировало эмоциональное отношение к общему, к идее – и происходило это за счёт конкретного человека. «Меня возмущает элементарная непорядочность по отношению к нашему общему прошлому, – признается советский человек, тут же добавляя, – я имею в виду прошлое живое, настоящее, а не музейное…» [Там же: 38].

Все поколения центрированы на своём опыте, очевидно, для каждого переживания юности или память о годах, на которые выпадали наибольшие успехи («победы»), являются формообразующими для мировоззрения. Если у двух поколений нет взаимного интереса к «духовному опыту» другого, коммуникация вряд ли состоится. Могу ошибаться, но у шестидесятников к нашему особого интереса нет. А у следующих за ними интерес обратно пропорционален возрасту.

### *«Наше» поколение*

А что же наше поколение? Обыкновенно мы склонны считать каждое следующее поколение более прогрессивным, более образованным, более знающим. Лучше понимающим некоторые проблемы прошлого хотя бы потому, что оно, это поколение, эти проблемы, как принято считать, «преодолевает». Но у меня нет уверенности, что к 1991–1992 гг. мои сверстники имели бóльшую проницательность в сравнении с поколениями отцов и дедов. Дело тут в скорости, с которой совершались события в 1989–1991 гг.

Мне всегда казалось, что в Москве, в силу большего количества мест, в которых можно было при случае укрыться, найти пристанище, идеологическое давление не осознавалось так остро, как в небольшой республике, где все и всё было на виду. Среди всех республик Советского Союза Белоруссия находилась по этому параметру в особом положении. В республиках Прибалтики коммунистическая идеология – по понятным причинам – не смогла распространиться столь сильно и глубоко, настолько проникнуть во все поры общественной жизни. В социалистической Украине вольные настроения всегда были сильнее, чем на севере страны. В культурах Кавказа идеология существенно скрадывалась, порой деформировалась до неузнаваемости особым менталитетом южных, древних культур, для которых традиции

предков всегда были важнее внешних, как бы навязанных им «правил игры». На этой карте Белоруссия выполняла роль образцово-показательной административной единицы, в которой система идеологического контроля была налажена в наиболее совершенной среди всех республик Союза форме. Если будет уместно такое сравнение: по этому параметру БССР так же относилась к РСФСР, как БССР – к ГДР. Беларусь подобна Советскому Союзу, заключённому в янтарь, заметил как-то Рон Ковен. Что это значило для мировоззрения тех, кто заканчивал школу в этот период?

Умы молодых людей могли оказаться ещё более затуманенными советскими догмами, чем сознание их родителей, успевших уже развить в себе определённую долю цинизма в восприятии общественных порядков. Дети плотно опекались продуманной и выверенной программой идеологического воспитания, для каждого возрастного периода предусматривались свои формы идеологической социализации (октябрята – пионеры – комсомольцы). Большинство детей, подростков, молодёжи играло в эти игры с достаточной степенью серьёзности. Даже если официальной идеологии не придерживались родители, раскрывать глаза на систему приходилось дозированно. Такое знание очень сложно утаить – особенно детям, – а последствия для всей семьи могли быть самые суровые. Вот и получалось, что молодёжь неизбежно впитывала и сохраняла в себе достаточное количество мифологем относительно советского строя.

Преодоление этих мифов в любом случае должно было стать результатом сознательных интеллектуальных усилий, для которых у молодого человека затем попросту не оказывалось повода. Либо потому, что его родители занимали какое-либо прочное, не обязательно высокое, место в социальной иерархии, будь то по линии партийной или профсоюзной, определённого уровня чин в армии или милиции и т. п. Либо просто потому, что детство в советское время воспринималось как защищённое, а вхождение в самостоятельную жизнь пришлось на крайне беспокойные и неустроенные годы. Люди, сохранившие в своих душах неизгладимую печать советского прошлого, распознаются по широкому набору признаков, проявляющихся в зависимости от образования, жизненного опыта и проч. Это могут быть ностальгические ролики, в которых изображения скудных артефактов советского быта сопровождаются мелодиями советского времени и намекают на присутствие уже тогда, в советском детстве, привычных вещей, пришедших к нам много позднее из западного мира («первый айфон», «первый интернет» и проч.), или же просто ностальгические нарезки из кадров советской кинохроники. Печать советского прошлого будет проявляться и в досужих разговорах о политике, с неизменными сожалениями об утрате «влияния» и «уважения» в мире, которые всегда сопровождаются сакраментальным рефреном: «такую страну… [прошляпили]». В среде тех, кому довелось поучиться на философском факультете, встречаются свои варианты.

### *Эксгумация «марксизма»*

Следующие размышления – фрагмент более обширного круга записей, возникших у меня в 2008 г., после того, как друзья обратили моё внимание на текст одного из моих однокашников по философскому отделению Белгосуниверситета [Сафронов 2005: 170–181]. Я был изумлён редкостным сочетанием того, что я счёл смесью слепоты, самомнения, тщеславия и агрессии. Сочтя тогда, что этот текст не заслуживает отклика, я сейчас использую опубликованный моим коллегой «манифест» не для полемики по выдвинутым в нем тезисам, но в качестве иллюстрации типа мировоззрения, стоящего за этим текстом.

* * *

Во многом травмированное сознание выпускника философского факультета, не приученного к самостоятельному освоению ничего, кроме определённого типа литературы, наскоком пробует взять Канта, Гуссерля, иногда и Хайдеггера – однако срывается и в поис-

ках почвы под ногами, для удержания равновесия и вообще сохранения ориентиров хватается за нечто родное и близкое. Его теперь поддерживает спасительная мысль, что мучения в студенчестве были не совсем зря – ведь вот она, волшебная теория! Мы просто не там и не с той стороны смотрели! Покажем подробнее, как это происходит.

Не следует недооценивать и того, насколько действенным оказалось образование, полученное нами в Белгосуниверситете. Это не проходит бесследно. Не только отвлекая силы, энергию и время от более достойных занятий, но ещё и потому, что любое размежевание, любая полемика неизбежно ограничивает, пропорционально ограниченности той системы, с которой полемизируют. Пытаясь освоить философские традиции, для понимания которых у выпускника-философа нет ни навыков, ни подготовки, он, конечно, рано или поздно наталкивается на работы западной левой теории. Тут он вдруг осознает, что искомый инструментарий ему некоторым образом уже известен. Это ведь то, с чего он когда-то начинал: марксизм. Теперь, наконец, он впервые чувствует «твёрдую почву под ногами и перспективы впереди» [Там же: 177], начинает ощущать свою причастность к «теоретической традиции с огромной школой позади». При этом все школы мысли, с которыми у человека отношения не сложились, никуда не исчезают. Он теперь уверенно причисляет знание их к своему интеллектуальному багажу, в котором они сохраняются, помеченные индексом известности, пройденности, уже-более-не-актуальности. Когда самые разные жизненные программы по какой-то причине пробуксовывают, организм возвращается к тому простому и надёжному, что наиболее крепко в нем осело. Тоталитарно уязвлённое, сознание, надеявшееся поскорее увидеть то «последнего философа», то всеобщую теорию, вполне успокаивается, обнаруживая её в уже знакомом. Эта находка заодно способствует регенерации (в воображении, конечно же) прерванного контакта с традицией[46], а кроме того, помогает не испытывать сожалений о том, что оказалось недоосвоенным, не пройденным. – Мы ведь не будем так уж сильно мучить себя непонятными вещам, если уже знаем «самый окончательный ответ»? Вот теперь марксизм приходит всерьёз и надолго. Совершенное открытие имеет важный терапевтический эффект: своего «марксизма» он теперь не стесняется. Он им теперь – гордится. Причём настолько, что заявляет об этом с притязаниями на всеобщность, универсальность метода. Он предрекает неизбежный рост «интеллектуального и практического влияния» этого метода, грозит прочищением голов «от идеологического тумана» [Там же: 175].

Существуют традиции принципиально не-диалогические, агрессивные по своей природе. «Агрессия» проявляется в том, что такая традиция претендует для себя на универсальную объясняющую силу, постоянно стремится представить себя в качестве единственной и главной. Именно поэтому она с трудом сосуществует с другими типами мысли. Именно поэтому, а не в силу какого-то злонамеренного её искажения нехорошими людьми, она стремится выжечь «интеллектуальное поле дотла» [Там же: 174]. Иначе говоря, это «нечто», некое качество, которое всегда присуще ей, всегда стремится прорваться наружу и вполне реализоваться. Однако несмотря на декларируемый им «материализм», постсоветский марксист – как и марксист советский – живёт в мире грёз и штампов. Пребывая в магическом мире, он постоянно принимает слово за обозначение сущности вещи, а затем огорчается, когда реальность расходится с его ожиданиями. Он, к примеру, сожалеет по поводу «недействующей советской демократии» [Там же]. Но ведь о чем-то как «не-действующем» мы говорим, лишь если это замышлялось, создавалось для определённых целей, а затем по каким-то причинам для этих именно целей «не сработало». Двигатель внутреннего сгорания мы же не назовём «недействующей системой очистки воздуха»? Если продолжить автомобильные аналогии, то автомобиль, который ни разу не завёлся с тех пор, как его столкнули с конвейера, мы если и

[46] «Разрыв» – основное выражение, которым марксист только и может выразить ощущение, что «что-то не так». Он видится ему повсюду: в истории, между языковой реальностью и миром, в мировоззрении, между «материальным» и «идеальным», между философией и миром, – словом, где угодно, но только не в том, чем стало для российской культуры доминирование самого марксизма на протяжении более 70 лет.

станем называть «автомобилем», то все-таки с превеликой долей условности. А с демократией с СССР? Можно ли указать время, когда действовало нечто такое, как «советская демократия»? Может, в годы, более точно обозначаемые как «диктатура [пролетариата]»? Может, в СССР 1929–1938 гг.? Может, имеются в виду послесталинские годы и, в частности, методы управления коммунистической партии?

Советский марксизм совершенно не случайно выжигал все вокруг себя. Эта идеология может существовать только в ситуации безальтернативности. Ядро этой агрессивной природы марксизма – в его наклонности к простым, схематичным решениям, применяемым без внимания к материалу. Заложенные марксистским преподаванием схемы как раз и есть такое предельно простое (классовый подход – ко всем областям, искусству, литературе, музыке). От универсальной применимости метода захватывает дух; натренированный взгляд повсюду уверенно распознает классовые отношения, борьбу классов.

> – Что ж, лекарство-то одно и то же, что вчерась корове давали, Петр Степаныч? – спросил портной.
> – А тебе какого ж ещё захотелось?
> Лечебные средства у него одни и те же: что для лошадей, то и для людей. Поэтому если лошади молчат при его лечении, то люди кричат не своим голосом или лезут на стены; при разных болезнях одни и те же средства. Но чем болезнь сильнее, тем доза больше [Романов 1991: 244].

Под стать этому универсальному, упрощающему подходу также и простота в отношении всего, что от него отлично. С той же решительностью, с какой марксизм упрощает – с такой же непримиримостью он отвергает все другие типы мысли. Потому-то манифест сторонника марксистской теории довольно часто сопровождается нивелирующей оценкой других теорий и парадигм мышления.

> Докторов он ненавидит какою-то острой ненавистью, смешанной с презрением, во-первых, как конкурентов по практике, во-вторых, как явных и наглых обманщиков [Там же].

Очерченная выше система взглядов, целое мировоззрение, проходит через все поколения и, как мне кажется, заканчивается только на тех, кто рождён уже в 1980-х гг. Возможно ли иное, более спокойное отношение к марксизму, да и вообще ко всей остальной философской традиции последних веков? Безусловно. Оно уже не раз было продемонстрировано, в том числе людьми, знающими эту марксистскую традицию изнутри. Как убедительно показывает Колаковский, к середине 70-х имелись два основных значения, в которых можно было говорить о марксизме. В наиболее тривиальном значении «марксизм» есть «просто совокупность характерных взглядов и теорий Карла Маркса», применение «метода и понятийного аппарата Маркса к новым объектам изучения» [Колаковский 1974: 4–5]. При этом очевидно, что могут иметься (возникать) те общественные процессы, «по отношению к которым этот аппарат оказывается неадекватным», существуют «целые области знания, по отношению к которым разделение на марксистов и немарксистов никогда не получало живого смысла» [Там же: 5, 13]. Кроме того, в общественных науках, уже в силу комплексности объекта исследования, мы вынуждены опираться на самые разные методы, и здесь граница между марксизмом и немарксизмом необычайно текуча. Вообще, говорить о марксизме, противопоставляя его другим методам исследования – практика, сложившаяся на основе марксизма как политического или религиозного явления, а не научного метода. Иначе говоря, это происходит там и тогда, где марксизм превратился в идеологию [Там же: 17–19].

Можно предполагать, пишет Колаковский, «что по мере совершенствования исследовательского аппарата гуманитарных наук понятие марксизма как отдельного направления будет в этих науках постепенно стираться и со временем совершенно исчезнет, как исчезли понятия “ньютонизма” в физике, “линнеизма” в ботанике, “гарвеизма” в физиологии или “гауссизма” в математике» [Там же: 19]. В этом и заключалась бы победа великого учёного: «его завоеваниями перестаёт владеть лишь отдельное направление мышления; они врастают в ткань научной жизни и становятся её неотъемлемой частью, утрачивая самостоятельное существование» [Там же: 20]. Колаковский описывает то, что действительно происходит со временем в отношении научной теории. Однако если брать «марксизм» в этом значении, пафос манифеста, провозглашающего ценность марксизма, является по меньшей мере излишним. Новый марксист, очевидно, говорит о марксизме как методологии, противопоставляющей себя другим традициям (структурализму, феноменологии, герменевтике и др.). Тем самым он смещает разговор о марксизме в плоскость идеологии.

* * *

Если народ отвратит своё лицо от религии, его взгляды будут чудовищны, предупреждал Шатобриан. У «советского народа» была своя религия, и она тоже оказалась утрачена. Довольно часто эффект вполне соответствовал предсказанию, сделанному много ранее и по другому поводу. Однако когда советский человек вновь обретает утраченную было «религию», зрелище не является более привлекательным.

### *Заключение*

В тех критических оценках, которые были даны в этом тексте, я испытывал меньшие колебания, чем в случае, когда спрашивают о «наиболее типичных» или «наиболее значимых» представителях моего собственного поколения. Любая попытка назвать таких людей с большой долей вероятности может быть истолкована как оценка – при этом, как всегда, проблематичен сам статус оценивающего.

Кроме того, в 2000-х всякого рода обобщения стали довольно популярны. Здесь повторилась модель, в своё время опробованная в журнальных проектах начала 90-х: довольно часто такими систематизациями занимаются люди, сами не представляющие из себя ничего интересного в научном отношении. Я поэтому предпочёл бы говорить скорее о тех авторах, пишущих на русском языке, которые вызывают у меня интерес. Об авторах, с которыми я часто бываю не согласен. Работы многих из них уже давно вышли за пределы тематики, которая меня интересует, однако у меня есть основания предполагать, что я, во-первых, буду иметь дело с качественным текстом и, во-вторых, с определённой осмысленной позицией. В алфавитном порядке этот список выглядел бы так: Евгений Борисов, Илья Инишев, Алексей Круглов, Виталий Куренной, Петр Резвых, Михаил Хорьков; несколько дальше от моей области отстоит то, что делает Алексей Козырев. Тексты ещё двух авторов – В.С. Малахова и М.К. Рыклина – в своё время очень помогли мне для достижения ясности в некоторых темах; память об этом сохраняется. Я с удовольствием читаю тексты Ю.А. Кимелева, А.Ф. Филиппова, А.А. Кара-Мурзы – при всем различии этих авторов, острота ума, прекрасное чувство юмора и довольно редкое в среде философов особое жизнелюбие всегда оставляет след в их текстах.

Но мне непременно хотелось бы перенаправить разговор о поколениях на некоторую более важную для меня тему.

Сам жанр этого текста задан вопросом о поколениях, и потому он является скорее предварительным: он только касается некоторых вещей, которые ощущаются нами, ощущаются как различие. Однако главная и наиболее интересная тема – то, что происходило с понимани-

ем философии на протяжении последних шестидесяти лет, как менялось видение этой дисциплины.

Самым общим образом я бы аннотировал предстоящее обсуждение с помощью метафоры потерявшей равновесие философии (вдохновлена С. Тулмином). Сегодня философия – по крайней мере, отечественная – пытается вернуться в состояние «нормальности», в которой она была бы естественной и признанной частью общественной культуры. Это была бы роль, в которой она не принуждена была бы выполнять функцию идеологии. Ей не хочется быть идеологическим инструментом, но при этом все же хочется быть признанной обществом и государством. Понять, насколько это возможно, можно будет, если прояснить: в каком обществе? по отношению к какому государству? При этом единственное состояние, которое ей известно, которое она «помнит», – это как раз то, в котором она является мировоззрением, формой культуры, руководящей и направляющей. Указывающей. Философия «помнит», что её дело – «давать ответы», «предлагать решения». Между тем за это время многое изменилось: положение философии в системе наук, положение в обществе, изменение самой коммуникативной структуры общества; развитие новых медиа и частичная замена ими некоторых образовательно-воспитательных функций, которые ранее традиционно брала на себя философия.

---

Автономова Н.С. *Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках*. – М.: Наука.

Антология феноменологической философии в России… 1998. *Антология феноменологической философии в России*. Т. 1 / Общ. ред. и послесл. И.М. Чубарова. – М.: Русское феноменологическое общество: Логос.

Бибихин В.В. 1993. Дело Хайдеггера. – Хайдеггер М. *Время и бытие*. – М. – С. 3–14.

Бибихин В.В. 1997. Примечания переводчика. – Хайдеггер М. *Бытие и время*. – М. – С. 448– 451.

Библер В.С. 1975. *Мышление как творчество*. – М.

Бланшо М. 1998. *Неописуемое сообщество* / Пер. с франц. Ю. Стефанова. – М.: Московский философский фонд.

Волков Г. 1985. *Сова Минервы*. – М.

Гайденко П.П. 1962. *Философия М. Хайдеггера как выражение кризиса современной буржуазной культуры: Дис. ... канд. филос. наук* (Экон. ин-т им. В.Г. Плеханова). – М.

Гайденко П.П. 1963. *Экзистенциализм и проблема культуры*. – М.: Высшая школа.

Гельвеций К.А. 1938. *О человеке, его умственных способностях и его воспитании*. – М.: Соцэкгиз.

Гессе Г. 1984. *Игра в бисер* / Пер. с нем. С. Апта. – М.

Голосовкер Я.Э. 2010. *Избранное. Логика мифа*. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив.

Григорьян Б.Т. 1970. *Философия о сущности человека*. – М.

Гулыга А.В. 1970. *Гегель*. – М.

Гулыга А.В. 1981. *Кант*. 2-е изд. – М.

Гулыга А.В. 1982. *Шеллинг*. – М.

Гусейнов А.А. 2005. Н.В. Мотрошилова и философы-шестидесятники. – Мотрошилова Н.В. *Работы разных лет. Избранные статьи и эссе*. – М.: Феноменология-Герменевтика. – С. 4–11.

Декарт Р. 1989. *Сочинения: в 2 т.* Т. 1. – М.: Мысль.

Ильенков Э.В. 1968. *Об идолах и идеалах*. – М.

История сберегательного дела в плакате… 2006. *История сберегательного дела в плакате. (Комплект открыток)*. – Сбербанк России.

История философии… 2012. *История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 4: Философия XX в.: Учебник для вузов* / Под ред. Н.В. Мотрошиловой, А.М. Руткевича. – М.: Академический проект.

Кант И. 1997. Критика практического разума. – Кант И. *Сочинения: в 4 т. на нем. и рус. яз.* Т. 3. – М.: Моск. филос. фонд.

Козлова М.С. 1997. *Философия и язык*. – М.: Мысль.

Козырев А.П. 2014. «Логос» сшивает несколько совершенно разных эпох, диаметральных по своим устремлениям, надеждам, ожиданиям, стилям. – *Логос*. – № 4(100). – С. 45–55.

Колаковский Л. 1974. *Похвала непоследовательности* / Пер. с польск. В. Кольцова. – Firenze: Editione Aurora.

Крейзер Е. 1996. Новое в теории чисел. Ответ на открытое письмо М.Г. Шторх. – *Логос*. – № 7.

Критика феноменологического направления… 1981. *Критика феноменологического направления современной буржуазной философии* / Отв. ред. Н.В. Мотрошилова. – Рига: Зинатне.

Проблемы онтологии… 1998. *Проблемы онтологии в современной буржуазной философии* / Отв. ред. Т.А. Кузьмина. – Рига: Зинатне.

Лекторский В.А. 1980. *Субъект, объект, познание*. – М.: Наука.

Малахов В.С. 1996a. Возможна ли философия по-русски? – *Логос*. – № 8. – С. 120–130.

Малахов В.С. 1996b. О философии и этнографии (предисловие к публикации). – *Логос*. – № 8. – С. 117–120.

Михайлов А.А. 1984. *Современная философская герменевтика. Критический анализ*. – Минск: Университетское.

Михайлов А.В. 1990. *Мартин Хайдеггер: Человек в мире*. – М.

Михайлов И.А. 1992. Мартин Хайдеггер и Древняя Греция (Гераклит. Beiträge zur Philosophie. Aufenthalte [фрагменты]) / Пер. с нем., предисл., коммент. и словарь терминов И.А. Михайлова. – *Философско-литературные штудии*. – Вып. 2. – Минск: Белорусский гос. ун-т. – С. 328–363.

Михайлов И.А. 1996a. [Рец. на кн.:] Martin Heidegger. Grundprobleme der Phaenomenologie. – *Логос*. – № 8. – С. 245–267.

Михайлов И.А. 1996b. *Понятия «жизнь» и «история» в немецкой философии конца XIX – начала XX века: Граф Йорк фон Вартенбург, В. Дильтей и ранний Хайдеггер: Дис. … канд. филос. наук*. – М.

Михайлов И.А. 1999. *Ранний Хайдеггер. Между феноменологией и философией жизни*. – М.

Молчанов В.И. 2004. *Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания*. – М.: Модест Колеров: Три квадрата.

Молчанов В.И. 2007. *Исследования по феноменологии сознания*. – М.: Территория будущего.

Михайлов И.А. 2008. *Макс Хоркхаймер. Становление Франкфуртской школы социальных исследований. Ч. 1. 1914–1939*. – М.: ИФ РАН.

Михайлов И.А. 2009. Мейстер Экхарт в контексте современных интерпретаций. – *Сущность и слово. Сб. науч. статей к юбилею проф. Н.В. Мотрошиловой* / Сост. М.А. Солопова, М.Ф. Быкова. – М.: Феноменология-Герменевтика. – С. 93–516.

Михайлов И.А. 2010. *Макс Хоркхаймер. Становление франкфуртской школы социальных исследований. Ч. 2: 1940–1973 гг*. – М.: ИФ РАН.

Михайлов И.А. 2014a. Английское просвещение и журнал Philosophical Transactions of the Royal Society. Новая эпоха развития европейской науки. – *Философские науки*. – № 5. – С. 9–22.

Михайлов И.А. 2014b. Эволюция нашей философской культуры. Роль П.П. Гайденко. – *Философские науки*. – № 3. – С. 121–125.

Михайлов И.А. 2015. Памяти Гаянэ Михайловны Тавризян (1933–2015). – *Философские науки*. – № 6. – С. 145–147.

Моруа А. 1983. *От Монтеня до Арагона*. – М.: Радуга.

Мотрошилова Н.В. 1968. *Принципы и противоречия феноменологической философии*. – М.

Мотрошилова Н.В. 1984. *Путь Гегеля к «Науке логики»*. – М.

Мотрошилова Н.В. 1991. Драма жизни, идей и грехопадения Мартина Хайдеггера. – *Философия Мартина Хайдеггера и современность*. – М.: Наука. – С. 3–52.

Мотрошилова Н.В. 2003. *«Идеи I» Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию*. – М.: Феноменология-Герменевтика.

Мотрошилова Н.В. 2005. Драма жизни, идей и грехопадения Мартина Хайдеггера. – Мотрошилова Н.В. *Работы разных лет*. – М. – С. 425–500.

Нарумов Б. 1999. «Язык» лингвистики и «язык» философии. Contra Бибихин. – *Логос*. № 1(11). – С. 214–221.

Никифоров О.В. 1996. Хайдеггер на повороте. – *Логос*. – № 8. – С. 78–91.

Нуржанов Б.Г. 1994. Бытие как текст. Философия в эпоху знака (Хайдеггер и Деррида). – *Историко-философский ежегодник' 92*. – М. – С. 166–167.

Ознобкина Е.В. 1987. *Соотношение этики и онтологии в классической и современной западной философии (К вопросу о хайдеггеровской критике И. Канта)*. – М.

Ознобкина Е.В. 1995. Новое издание Ad Marginem. Лаборатория как философский проект. – *Коммерсантъ*. – № 155 от 25.08.1995. – С. 13.

Ознобкина Е.В. 2019. *Избранные работы* / Сост. и ред. А.Г. Жаворонков. – М.: Культурная революция.

От редакции… 1991. От редакции. – *Логос*. – № 1.

Платон. 1989. *Федр* / Пер. А.Н. Егунова; ред. греч. и рус. текстов, вступ. ст., коммент. Ю.А. Шичалина. – М.: Прогресс.

Проблема сознания… 1989. *Проблема сознания в современной западной философии*. – М.

Произведённое и названное… 1998. *Произведённое и названное: Философские чтения, посвященные М.К. Мамардашвили* / Под ред. В.А. Кругликова, Ю.П. Сенокосова. – М., 1998.

Романов П. 1991. *Рассказы*. – М.: Правда.

Руднев В. 2014. Философов здесь никогда не было, Россия – это не страна философии. – *Логос*. – № 4(100). – С. 21–31.

Сафронов В. 2005. Почему я марксист. Без знака вопроса. – *Логос*. – № 3(48). – С. 170–181.

Сэлинджер Дж.-Д. 1983. *Над пропастью во ржи. Повести. Девять рассказов* / Сост. и вступит., статья А. Мулярчика. – М.: Художественная литература.

Толстых В.И. 1997. Все что было – не было? – *Драма советской философии. Эвальд Васильевич Ильенков. (Книга-диалог)* / Сост. и ред. В.И. Толстых. – М. – С. 8–12.

Толстых В.И. 2008. *Мы были. Советский человек как он есть*. – М.: Культурная революция.

Тульчинский Г., Гусев С. 1985. *Проблема понимания в философии. Философско-гносеологический анализ*. – М.: Изд-во политической литературы.

Философия не кончается… 1998. *Философия не кончается… Из истории отеч. философии. XX в.: в 2 кн*. – М.: РОССПЭН. – Кн. 1: 20–50-е годы; Кн. 2: 1960–80-е годы.

Философия. Религия. Культура… 1982. *Философия. Религия. Культур*а. – М.: Наука.

Фурс В.Н. 2001a. Критическая теория позднего модерна Э. Гидденса. – *Социологический журнал*. – № 1. – С. 44–73.

Фурс В.Н. 2001b. Парадигма критической теории в современной философии: попытка экспликации; Ответ на критику. – *Логос*. – № 2. – С. 46–75, 96–102.

Фурс В.Н. 2005. Борьба за признание и моральный прогресс общества в концепции А. Хоннета. – *Вопросы философии*. – № 1. – С. 159–171.

Хайдеггер М. 1974. Гегель и греки / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Диалектика Гегеля в оценке современных западных философов. Ч. 1*. – М.: Институт философии АН СССР. – С. 61–83.

Хайдеггер М. 1975a. Из беседы относительно языка / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Онтологическая проблематика языка в современной западной философии. Сб. переводов. Ч. 2*. Институт философии АН СССР. – М. – С. 31–83.

Хайдеггер М. 1975b. Путь к языку / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Онтологическая проблематика языка в современной западной философии. Сб. переводов.* – М.: Институт философии АН СССР. – С. 1–30.

Хайдеггер М. 1975c. Несколько указаний на возможность теологического собеседования / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Мартин Хайдеггер и теология. Сб. переводов. Ч. 1*. – М.: Институт философии АН СССР. – С. 23–34.

Хайдеггер М. 1975d. Слово / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Онтологическая проблематика языка в современной западной философии. Сб. переводов. Ч. 2*. – М.: Институт философии АН СССР. – С. 84–104.

Хайдеггер М. 1976a. Время картины мира / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Современные концепции культурного кризиса на Западе. Реф. сб. ИНИОН АН СССР*. – М. – С. 208–249.

Хайдеггер М. 1976b. Тезис Канта о бытии / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Философия Канта и современность. Сб. переводов. Ч. 2*. – М.: Институт философии АН СССР. – С. 18–58.

Хайдеггер М. 1979a. Вопрос о технике / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Проблема объекта в современной науке. Сб. переводов*. – М.: ИНИОН АН СССР. – С. 154–160.

Хайдеггер М. 1979b. Искусство и пространство / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Судьба искусства и культуры в западноевропейской мысли XX века. Сб. переводов*. – М.: ИНИОН АН СССР. – С. 154–160.

Хайдеггер М. 1979c. Наука и осмысление / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Проблема объекта в современной науке. Сб. переводов*. – М.: ИНИОН АН СССР. – С. 207–235.

Хайдеггер М. 1979d. Что такое метафизика? / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Проблема объекта в современной науке. Сб. переводов*. – М.: ИНИОН АН СССР. – С. 236–255.

Хайдеггер М. 1981a. Европейский нигилизм / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий*. – М.: ИНИОН АН СССР. – С. 10–174.

Хайдеггер М. 1981b. Послесловие к «Что такое метафизика?» / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий*. – М.: ИНИОН АН СССР. – С. 205–215.

Хайдеггер М. 1981c. Учение Платона об истине / Пер. с нем. В.В. Бибихина. – *Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий*. – М.: ИНИОН АН СССР. – С. 175–204.

Хайдеггер М. 1991. *Разговор на просёлочной дороге. Сб. работ в переводах Т.В. Васильевой, А.Л. Доброхотова, З.Н. Зайцевой, Н.С. Плотникова, А.С. Солодовниковой*. – М.: Высшая школа.

Хайдеггер М. 1992. *Работы и размышления разных лет* / Пер. А.В. Михайлова. – М.: Гнозис.

Хайдеггер М. 1993. *Время и бытие: статьи и выступления* / Пер. с нем., сост., вступит. ст. и коммент. В.В. Бибихина. – М.: Республика.

Хоннет А. 2009. Невидимость. О моральной эпистемологии признания / Пер. с нем. А.Ю. Шачиной, С.В. Шачина. – *Кантовский сборник*. – № 1(29). – С. 79–92.

Шестов Л. 1900. *Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше*. – СПб.

Шестов Л. 1903. *Достоевский и Ницше*. – СПб.

Шестов Л. 1905. Творчество из ничего (А.П. Чехов). – *Вопросы жизни*. – № 3. – С. 141–142.

Шичалин Ю. 2018. «Я никогда не чувствовал себя издателем как таковым». Юрий Шичалин о своей издательской деятельности. – *Горький*. – 15 января. – Доступно: https://gorky.media/context/ya-nikogda-ne-chuvstvoval-sebya-izdatelem-kak-takovym/. – Проверено: 05.05.2023.

Adorno T. 1973. *Philosophische Terminologie. Bd. 1*. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Farías V. 1987. *Heidegger et le nazisme*. – Paris: Verdier.

Heidegger M. 1992a. Die Grundbegriffe der antiken Philosophie (SS 1926). – *Martin Heidegger Gesamtausgabe*. – Frankfurt a. M.: Klostermann. Bd. 22, XIV.

Heidegger M. 1992b. Platon: Sophistes (WS 1924/25). – *Martin Heidegger Gesamtausgabe*. – Frankfurt a. M.: Klostermann. Bd. 19, XXXII.

Heidegger M. 1993a. Grandprobleme der Phänomenologie (WS 1919/20). – *Martin Heidegger Gesamtausgabe*. – Frankfurt a. M.: Klostermann. Bd. 58, X.

Heidegger M. 1993b. Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der philosophischen Begriffsbildung (SoSe 1920). – *Martin Heidegger Gesamtausgabe*. – Frankfurt a. M.: Klostermann. Bd. 59, VIII.

Heidegger M. 1993c. Wilhelm Diltheys Forschungsarbeit und der gegenwärtige Kampf um eine historische Weltanschauung. – *Dilthey Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften* / Hrsg. von Fr. Rodi. – Göttingen. Bd. 8.

Heidegger M. 1994. Einführung in die phänomenologische Forschung (WS 1923/24). – *Martin Heidegger Gesamtausgabe*. – Frankfurt a. M.: Klostermann. Bd. 17, XIV.

Heidegger M. 1995. Phänomenologie des religiösen Lebens. – *Martin Heidegger Gesamtausgabe*. – Frankfurt a. M.: Klostermann. XIV.

Husserl E. 1994. Briefwechsel. Bd. IV: Die Freiburger Schüler / In Verb. Mit E. Schuhmann; hrsg. V.K. Schuhmann. – *Husserliana. Dokumente. Bd. III. Briefwechsel*. – Dordrecht: Kluwer.

Lenk H. 1978. Philosophie als Fokus und Forum. Zur Rolle einer pragmatischen Philosophie. Negatives Image und pessimistische Diagnosen. – *Wozu Philosophie? Stellungnahmen eines Arbeitskreises* / Hrsg. von H. Lubbe. – B.; N. Y.; de Gruyter. – S. 35–36.

Michailow A. 1966. *Martin Heidegger und seine «Kehre». – Diss. Dr. phil. Friedrich-Schiller Universität Jena*.

Möckel Chr. 1992. Logos – Filosofso-literaturnzi shurnal. Moskwa, 1991. Wypusk 1–2. – *Deutsche Zeitschrift für Philosophie*. – Nr. 40 (11). – S. 1359–1361.

Mojsisch B. 1977. *Die Theorie des Intellekts bei Dietrich von Freiberg*. – Hamburg.

Mojsisch B. 1983. *Meister Eckhart. Analogie, Univozität und Einheit*. – Hamburg.

Ott H. 1988. *Martin Heidegger: Unterwegs zur seiner Biographie*. – Frankfurt. a. M.: Campus.

Plessner H. 1981. Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus (1924). – Plessner H. *Gesammelte Schriften. Bd. V: Macht und menschliche Natur*. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp. – S. 7–133.

Scheler M. 1916. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. – *Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung*. Bd. 2.

Vattimo G. 2010. *The Responsibility of the Philosopher*. – N. Y.: Columbia University Press.

## *Опыт сравнительно-культуральной поэтики*

**От редакции**

Давно известно, что поэтическое и философское отношение к миру взаимосвязаны, хотя взаимное противопоставление и отталкивание тоже встречается нередко. Представление о реальной сложности взаимодействия поэзии и философии содержится во множестве видов поэтической и философской практики, а также концепций, их отражающих. Не менее интересна практическая реализация указанных отношений в жизни и деятельности современных отечественных поэтов и философов. Одним из них является Владимир Натанович Порус. Начинаем новую рубрику журнала его поэтическим сборником. Приглашаем читателей высказаться.

*В.П. Макаренко*

# ВРЕМЕНА ЖИЗНИ: РУССКИЕ ХОККУ

***В.Н. Порус***
*Национальный исследовательский университет*
*«Высшая школа экономики»*

**От автора**

Почему хокку?

Русская поэзия к ним не привыкла. У неё длинное дыхание, музыка или живопись в слове. Исповедь, молитва, признание в любви или ненависти. Слияние с необозримым пространством, родство с бесконечным временем.

Наше время короткое. Мгновения свистят, как пули у виска. «Вся прелесть мира ресничного не долговечней взмаха». Русская поэзия знает это.

Её полет иногда опережает время, иногда отстаёт от него. Но она летит, несётся вскачь. Покой ей только снится.

До боли нам ясен долгий путь.

Громадность мгновения знакома поэзии Востока. Русская поэзия прикасается к ней своими границами. Японские хокку – мучительно-любовный взгляд, сжимающий время и пространство до точки. Надо остановиться, чтобы полет был вечным. Поэтому – канон, неподвижная форма, вмещающая все движение.

Русские переводы японских хокку не могут передать эту неподвижность полёта. Это трёхстишия, в которых число слогов произвольно. Форма ломается, заключенный в ней смысл растекается по пространству русского языка.

Мне захотелось сшить из русских слов одежду хокку. Пусть она напоминает об истоках. Русские хокку – рука, протянутая на Восток. Но не подражание. Сдавленный стон или шёпот, почти не слышный.

И усмешка над собой.

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.171195*

## ВЕСНА

**Мартовское**
Хоть бы треснуло
Это оловянное
Кислое небо!
**Подслушал**
– Ты летом куда?
– Пока не знаю точно,
Будет ли лето!
**Грустный шут**
Дудочкой небо
Сверну и заиграю,
А вы танцуйте!
**Такая короткая**
От слова к слезам,
От слез к улыбке – вся жизнь
Подобна хокку.

**Прикажете радоваться?**
Дела мои – швах!
Все чаще уступают
Мне место в метро.
**Солнышко в марте**
Пьяный воробей,
Хлебнувший лиха зимой,
Пляшет лезгинку.
**Genius loci**
Солнце золотит
Кольцо бульваров. Надень
Его на палец!

**Вполголоса**
Проверил: никто
Не услышит. Ну, с богом:
– Реве та стогне…
**Завидую**
Прыткий небоскрёб
Пробил головой небо.
Солнышко ищет!
**Не иначе, весна!**
Вслух читать стихи?
Так радостно и стыдно!
Что это со мной?

**Кстати**
Весна, не весна,
А вот коленок в метро
Намного больше!
**Уж вы поверьте!**
Зацветёт сирень
И никогда – слышите! –
Не будет зимы!
**И снова о любви**
– Всех расстреляю! –
Сказал шут. Ему можно.
Мы его любим!
**Говорят, говорят…**
Вроде бы весна,
А при чем тут «оттепель»?
Никак не пойму.
**Близость**
В вагоне метро
Голова кругом. Запах
Духов и пота.
**Все ясно**
– Статью написал?
– Сегодня шабат! – И что?
– Отвяжись, совесть!
**Бессмертный фильм**
Генерал: – Водка
Нас объединяет!
Ну, за Родину!
**Такая эротика**
Голая правда.
Отвернитесь, господа!
Ведь неприлично!
**И зачем это?**
Хокку – как нищий,
Просит: – Только три строки!
Прочтите меня!
**Вечер накатил**
Сижу, скучаю.
Нет бы, заняться делом –
Пивком развлечься.

**Вертятся**
Небо как купол.
Цирк шапито. Облака –
Гимнасты в трико.

**Дождь на щеках**
Ещё ни разу
Мы не прощались навек.
Неужели всё?
**Ощущение**
Абсурд – как смола,
Густой, чёрный, вонючий
И не отмоешь.
**Учусь говорить**
Я типа поэт,
Сижу типа за столом.
Вот типа хокку.
**Хозяйке на заметку**
Нарежьте воздух
Мелкими кубиками,
Сварите бульон.
**Запомни**
Кричать «На помощь!»
Нужно сдержанно, тихо
И с достоинством!
**И не говори…**
Вот где ужас-то!
Выпили, ладно. Теперь
Они стали петь.
**Поживёте, узнаете**
С каждой весною
Все меньше пустых надежд,
Больше покоя.
**Против реинкарнации**
Начать сначала
Свою жизнь? Избави Бог!
И одной хватит.
**Признайтесь**
Глаз не оторвать
От изгиба её губ.
Вам это смешно?

**Чтоб без обиды**
Давай делиться!
Я тебе стихи, ты мне
Пол-банки пива!
**Другого не будет**
Перевёрнутый
Вверх ногами, безумный,
Мой любимый мир!
**Первое апреля**
Завтра мой праздник!
Лучший, самый весёлый
И самый честный!
**Ну, это уже, знаете…**
Чёрт-те что снится:
Будто иду по воде
Лёгкой походкой!
**Принести вам в постель?**
Облака – сливки
В чёрном кофе. Теперь я
Добавлю солнца!
**Никакой логики**
Зимой все равно,
А весной надо окна
Вымыть до блеска!
**Так и тянет в постель**
Когда проснутся
Мухи, бабочки, жуки –
И мне бы не спать!
**Неосторожно**
Голова трещит –
Зацепился случайно
За косяк неба.
**Такую долгую зиму**
Те, кто погибли –
Они ведь ждали весну,
Вот этот апрель.
**Прогулка**
Пледом из листьев
Липы укрыли глину
Над лесной лужей.

**Я здесь в гостях**
Дрогнула ветка,
Ты не оглядывайся,
Белку не спугни!
**Ещё бы тепла…**
Нити воздуха
Сплетены – кем? – в рогожку.
Прилечь, отдохнуть?
**Физика**
Луч света прямой?
Ерунда! Он танцует
Гопак вприсядку!

**Не каждому дано**
Кто умер во сне,
Тот не проснётся утром
С головной болью.

**Загляденье**
Драные джинсы –
Из дыр ослепительно
Светит истина!

**Не увидишь – не поймёшь**
Эта женщина
Улыбается сразу
Всем своим телом.

**Погода опять испортилась**
Небо вспотело,
Сняло с себя облака
И отжало. Дождь.

**Наконец-то!**
Все, это весна!
Сегодня видел муху –
Влетела в окно.

**Зайчик-пессимист**
Вышел погулять.
Раз, два, три, четыре, пять…
А где охотник?

**На закате**
Все, что ты скажешь,
Я уже знаю давно.
Давай помолчим.

**Словами не скажешь**
Меня спросили:
– Достоинство – что это?
Не смог ответить.

**Дурацкий юмор**
Какой юморист
Срифмовал «апрель-метель»?
Что тут смешного?

**Доброе утро**
Голое небо,
Без ночнушки облаков,
Целует солнце.

**Только бы успеть…**
У края жизни
Вспомнить тепло ладоней
И запах сена…

**В наши-то дни!**
Слышал о чуде:
Люди читают Канта
Строку за строкой!

**Поднимите голову**
Это красиво:
Плавает свет в сметане
Тёплых облаков.

**Маленькие такие**
Вот эти хокку –
Они как бисер. Брошу
На асфальт – звенят.

**Что же делать?**
Простите меня.
Там умирают. А здесь
Я пишу стихи.

**Потерпи**
Если греть айсберг
Ладонью, лёд растает,
Только не сразу.

**Пытались?**
Как зажечь огонь?
Быстрым, твёрдым взглядом
Чиркнуть по сердцу.

**Будь она проклята!**
Вдох-выдох. Война.
Совсем не дышать? Война.
Война, поймите!

**Дошло наконец**
Всплеснул руками:
– А ведь жизнь-то проходит!
Ах ты, Боже мой!

**Ничего не помню**
Мысль пришла ночью,
До утра была моей.
И я был счастлив.

**Подумать только**
На фоне неба
Даже урод прекрасен.
Не замечали?

**Я так думаю**
Был бы я зубром,
Беловежская пуща
Жила бы во мне.

**В начале мая**
В грозовую ночь
Небо светилось как днём.
К утру стемнело.
**Апологетика**
Смерть неподкупна,
Она честнее врачей
И милосердней.
**Совет на каждый день**
Любите глупцов,
Улыбайтесь им нежно.
И берегитесь.
**И тогда наверняка**
Выпить стаканчик
Золотистого пива –
И лучше с утра!

**Май запоздалый**
Старый дряхлый дуб:
Надоело умирать –
Листики пустил.
**Час пик в метро**
Железный ящик
Всосал биомассу – хоп! –
Взвыл и поехал.
**Иду по городу**
Я ведь не знаю,
Что за тем поворотом…
Ну, будь что будет!
**В новостройках бытия**
Небо надо мной –
Как навесной потолок,
А солнце – люстра.
**А вы как хотите**
Если снова дождь,
Я нарисую солнце
И буду греться.
**Оптимистичное**
Прохладно что-то.
А яблони зацвели.
Учитесь, люди!
**Постоянство**
Вот глухой забор.
Сто лет простоял. Ещё
Сто лет простоит.
**Не хочешь – не смотри!**
Небо – женщина.
Крем облаков на лице.
Все для красоты!
**Под солнечным светом**
Молодой каштан
Или твои глазищи –
Что зеленее?
**Никуда не пойду**
Небо в дырках.
Из одной светит солнце.
Из других льёт дождь.

**Лицом к лицу**
Словно два дупла
В стволе тёмного дуба –
Глаза старика.
**Постоим, помолчим**
Вой бензопилы.
Ураган свалил сосну,
Люди хоронят.
**Прохожу мимо**
Как быстро растёт
Городское кладбище!
И молодеет!
**Сила поэзии**
Прочитал хокку –
Не успеешь заплакать,
Как уже конец!

## ЛЕТО

**Летнее**
Нервный хохоток.
Встретились руки. Жарко.
Они поладят.
**Смешной такой**
Старая фотка –
Я солдат, стрижен под ноль,
Морщин ещё нет.
**Патриотическое**
Петухи в Гоа
Поют ничуть не лучше
Родных российских.

**Как в детстве**
Тёплое море
Холеными руками
Качало меня.
**Мечты сбываются**
Одна лягушка
Все же раздулась в вола.
Очень красиво!
**Все так просто**
Две строчки рядом.
Зовут третью. Приходит.
Вот вам и хокку.
**Лейбниц**
Гармония, да?
Старая ты монада,
Милый Готфрид!
**Спиноза**
Барух, дружище!
Я, как и ты, все понял!
Теперь поплачем.
**Гераклит**
В какую реку
Вам надо войти дважды?
Вы принюхайтесь!
**Эпикур**
Счастье, господа,
Когда тебя не нашли,
И есть что выпить!
**Декарт**
Что вам не ясно?
Я, Декарт, мыслю.
А вы Существуете!
**Ленин**
Денег нет? Чушь, вздор!
Паршивый атом – и тот
Неисчерпаем.
**Фихте**
Голую «яйность»
Не объяснить на пальцах –
Сложная штука!
**Ницше**
Захватив плётку,
Схожу-ка я к женщине.
Авось не побьёт.

**Лао-цзы**
Лучший начальник –
О ком знают, что он есть.
И все! Понятно?
**Пьер Безухов**
Какой я вам Пьер?
Петр Кириллович, ясно?
Прошу повторить!

**У озера**
Гладь воды – как холст,
То небо рисует лес,
То лес – облака.
**В лесу**
Грибов пока нет,
Но запах грибной стоит
С прошлого лета.
**Только бы хватило воды**
Дождик июньский
Смоет следы праздника,
Смоет все следы.
**Эстетическое**
Комар-кровосос,
Я бы стерпел твой укус,
Только не песню.
**Хмурый июнь**
Людям холодно.
А деревья любят дождь,
Знай, зеленеют!
**Перформанс**
Между тучами
Гуляют лучи солнца,
Взявшись за руки.
**У Вологды**
Солнце севера –
Подобно шампанскому
Из морозилки.
**Не ссорьтесь**
Все, кого любил,
Однажды соберитесь
Посидеть молча.
**Перекличка**
Чашу-то… Мимо…
Хоть на этот раз… Слышишь?
Нет, не пронёс.

**И не жарко**
Так много дождя.
Куст сирени напился,
Растолстел как кот.
**Призрачно все**
Вот вы смеётесь,
А вирус «Петя» рядом,
О, мои хокку!
**Пусть себе бесятся**
Засохшему пню
Не страшны ураганы,
Его не свалишь.
**Такое лето**
А над озером
Стелется белый туман,
Его можно пить.
**Никакой поэзии**
Кто-то наверху
Тарахтит кастрюлями,
Это типа гром!
**Встретились**
Умная жаба
Глянула, все поняла
И улыбнулась.
**Задумался**
В московской пробке
Понимаешь, как тесен
Этот странный мир.
**Вот вам и хокку**
Белый гриб и я –
Тоже почти уж белый –
Нашли друг друга.
**Просьба**
Гроза разбудила.
А так хотелось поспать,
Ты приляг рядом.
**Взявшись за руки**
Знаешь, помолчим,
Времени уже мало,
Чтобы говорить.
**Так и поэт**
Слепой ладонью
Гладит поверхность камня,
Видит женщину.

**Это справедливо**
Кому не дано,
С того и не спросится.
Не ошибитесь!
**Размечтался**
Чайки плавают
В небе, как и в воде.
Я тоже хочу.
**Все просто**
Чёрного хлеба
С маслом, солёной кильки…
Запить айраном.
**Ущелье «Нижний Ларс»**
Горы до неба.
Следы войны. Не дай бог…
Слышишь, Господи?
**Грустное**
Горсть ежевики.
И в путь. До свидания,
Синее море!
**На трезвую голову**
Слова – тряпочки,
Стыдливо прячущие
Торчащую суть.
**Поговорили**
Подошёл ко мне
Бродячий кот в Белграде,
Потёрся боком.
**Родная речь**
Село под Брестом.
Здесь петухи по утрам
Поют по-русски.
**Вернулся**
Кондиционер.
Шумный. Почти как море.
Чёрное море.
**Неужели я там был?**
Ночью мне снится
Площадь Рынка в Кракове,
Боюсь проснуться.
**И ничего смешного…**
Конечно, Дунай!
Но в жару я купался
В реке Муховец!

**Глупею**
Удивительно!
В море и в луже – одна
И та же вода!

**На улице**
Проводил взглядом.
Уверенная в себе,
Упругая жизнь.

**Невнятно**
Ну, простились. Все.
Почему же так страшно?
Глупость какая…

**Графоманам**
Рифма – бюстгальтер.
Поддержит увядший стих,
Но не заменит.

**Тра-та-та, бум, бум!**
Говорят, война,
Мы все на передовой,
И все солдаты.

**Ничего не поделаешь**
Пусть кончается
Этот горячий август.
Так тому и быть.

**Пятница**
Гулять так гулять!
Кружка пива вспотела
От волнения.

**Операция**
Вздох – стон, всхлип. Как нож,
Взрезал мякоть тишины –
Кровь, тампон, зажим.

**Не мешайте!**
Разрезать небо,
Выдавить солнце в море,
Пить, не торопясь…

**Оптимистическое**
Поэты живут,
Как трава под асфальтом –
Смело и тихо.

**Утешительное**
Воруют не все.
Кому негде своровать,
Не любят воров.

**Уважительное**
Читаю книгу.
Под шелест её страниц
Кот любит дремать.

**Меланхолическое**
Хокку стареют –
Строчки стали кривыми,
И запах пота.

**Мундиальное**
Как, ты не видел?
Полет мяча в девятку
И торс Роналду?

**Радостное**
Краски на лицах,
Карнавал, оле-оле!
Страна – фанзона.

**Летнее**
Мой внутренний мир
Распахнут. Мухи жужжат
Коту на радость.

**Все просто**
Отчего хокку?
Склероз. Три строки помню,
А больше – дудки!

**Деловая**
Ворона ходит,
Как народный депутат –
Руки за спину!

**Неожиданно**
За каждой тучей,
Хочу верить, за каждой –
Есть своё солнце.

**Взлёт**
Все люди, коты,
Птицы – остались внизу.
Я улетаю.

**Онтология**
Пространство, время,
Что там ещё? Ерунда!
Вот оно – море!

**Хочется**
Чайка хохочет:
– Полетим вместе, слабо?
И я заплакал.

**Гроза**
Две иглы сшили
Небо и море. Земля
Треснула по швам.
**Закрыть глаза**
Полынь поутру –
Вы не поверите – пахнет
Точно как в детстве!
**Утро**
Солнце проснулось,
Умылось дождём. Потом
Сладко зевнуло.
**Купаюсь**
Луна вошла в тень
Земли, я вошёл в море.
Эх, жить бы сто лет!
**Женщины**
Луна смотрится
В море, как в зеркальце
Дама на пляже.
**Предчувствие**
Август подтаял,
Как айсберг в океане,
Но ещё плывёт.
**7 августа**
Пока солнце спит
Ночью, приходит сентябрь –
Прохладный такой!
**Аристотель**
Удивительно
Не то, что звёзд так много,
А что они есть!
**На пляже**
Здесь загорают,
Как будто несут службу –
Так старательно!

## ОСЕНЬ

**Родное**
В брошенных садах
Яблоки вкусней мёда.
Рву потихоньку.
**Как вам меню?**
Картошка, чеснок,
Малосольный огурчик
И шматок сала.
**Перед грозой**
Рим, Каракалла,
Преторианцы рулят…
Почему вспомнил?
**Сентябрьское**
Вдруг не наступит
Тьма с октября по февраль,
А сразу будет весна?
**Зовёт**
В крошечном окне
Твоего тела душа
Машет платочком.
**Эротика**
Губами сдавил
Ягоду ежевики –
Поцелуй и стон.
**Глядим друг на друга**
Я понимаю:
Озеро что-то знает,
Что-то такое…
**О рабочей неделе**
Хочу семь пятниц,
Семь суббот и выходных –
Не меньше семи!
**Ассоциация**
Тучи – как конвой,
Лето отправляется
В осень – под арест.
**Мотылькам**
Бывают глаза
Цвета ночи. А горят
Пламенем костра.
**На опушке**
Протянуть руку
И коснуться всех сосен,
Всех берёз, всех, всех…
**Вопросы экономики**
Ближе к старости
Каждый день все дороже.
В буквальном смысле.

**Не верите?**
В три строки можно
Вместить счастье и горе.
И ещё весь мир.
**Пугают**
А если правда?
Громадный болид – и все?
А как же выборы?
**Метафизика**
Ничто в болоте
Чавкает, будто свинья
Перед корытом.
**Memento mori**
Смерть – добрый судья.
Всякий имеет право
На последний вздох.
**Хватит хмуриться**
Улыбнись, удача!
Повернись ко мне лицом,
Дай наглядеться!
**Эксперимент**
Со дна колодца,
Говорят, видны звезды.
А я не вижу.

**Штормит**
Попрыгал в волнах,
Потом смотрел в зеркало –
Ну что тут скажешь?
**Прибой шумит**
Я не заметил,
Как все это случилось,
Как вся жизнь прошла.
**Все просто**
Старенький Нептун
Чешет спину трезубцем –
Плещется море.
**Летние радости**
Голые люди
В тёплую ванну моря
Лезут со смехом.
**А было целое лето**
Листья желтеют.
Очень красиво, только…
Комок у горла.

**Прощание**
Уж больно нежно
Меня целует море
Перед разлукой.

**Актуальное**
Что деньги? Мусор.
Вот дышать трудно. Весь мир
Пропах колбасой.
**Беседую с Гамлетом**
Быть или не быть?
Старо. Другое дело,
Как нам всем тут быть?
**Будь что будет**
Говорят, в лесу
Пошли опята. Брошу
Все свои дела.
**Посидим рядом**
Вкус у осени
Жёлтый, слегка солёный
И пахнет дымком.
**Сон разума**
Посреди мира
Лежит сморщенным старцем
Мёртвое время.
**Не вздрагивай**
Подойди ближе.
Посмотрю тебе в глаза
Заплаканные.
**Не обижайся**
Я такой. Могу
Нежно и сильно обнять
По телефону.
**Непокорная**
Никогда не мог
Понять твою усмешку
Уголками губ.
**Деревья сочувствуют мне**
Клён покраснел.
Что-то хочет сказать,
Но не решится никак.
**О демократии**
Выступил кролик,
Удавы улыбнулись:
– Браво! Молодец!

**Начитанный**
Быть знаменитым?
Нет-нет, что вы, ни за что!
Это некрасиво!
**Об обжорстве**
Белый флаг. Сдаюсь.
Сопротивляться нет сил.
Пельмени с маслом!
**Сократ**
– Привет, учитель!
– А ты кто такой, парень?
– Философ, как ты!
**Фуко**
– Мишель, как я рад!
– А я не очень. Ты кто?
– Кто, кто… Конь в пальто!
**Фейербах**
– Ты человек? – Да!
– А что ты кушал? – Горох.
– Значит, ты горох!

**Витгенштейн**
– Людвиг! – Ни слова!
Об этом нужно молчать,
Красавчик ты мой!
**Энгельс**
– Пропадёт семья,
За ней – собственность. А там –
И государство!
**Гегель**
– Егор, ты всерьёз?
Реальность разумна? – Да!
И отстань, глупый!
**Маркс**
– Сегодня ночью
Проклятый призрак снова…
– Бедный, бедный Карл!
**Кант**
– Благоговеешь?
– Да, понемножку. А ты?
– Я тоже. Слегка!
**Маркузе**
– Так ты говоришь,
Революция? – Но ведь
Сексуальная!

**Соловьев**
– Все едино, все,
Истинно говорю вам!
– Сергеич, остынь!
**Гоббс**
– Томас, ты как там?
– Сидим с Левиафаном,
Тебя давно ждём!
**Юм**
– Так ты говоришь,
Я – это такой пучок?
– Ты – да. А я – Юм!
**Локк**
Я его обнял.
– Tabula rasa, то есть
Мужик свой в доску!

**Шеллинг**
– Абсолют, зер гут!
– Вас ист дас? Виски? Водка?
– Думкопф! Это дер Готт!
**Бэкон**
Сели закусить.
После девятой: – Теперь
За ик!-дук-ци-ю!
**Пушкин**
– Убью Дантеса,
И поедем с Наташкой
Отдыхать в Сочи!
**Прощание**
Улыбнись. Ещё,
Ещё раз. Напоследок.
Дай мне запомнить.
**Ну как вас рассмешить?**
Жаль, времени нет.
А то пригласил бы
Вместе подняться на Фудзи
**А сердце дрогнуло**
На уикэнд в Париж?
Молодым я бы смеялся.
Теперь плачу.
**Прислушиваюсь к осени**
Нет у меня
Голоса, чтобы спеть.
Листья тихо шуршат.

**После ссоры**
Таким взглядом
Сшибёшь на лету ворону.
Лучше прикрой глаза.

**Незаметно приходит ночь**
Так и не знаю,
Как вместить в одно слово
Эту тишину.

**В октябре подглядываю за берёзкой**
Руки ветра.
Распахнулось навстречу им
Жёлтое кимоно.

**А разбить жалко…**
Как не надоест
Глупому зеркалу
Говорить мне правду?

**Всего-то и надо**
Ласточки пьют на лету.
Вот поймал на себе
Ласковый взгляд.

**А ведь ещё не старый…**
Я заметил:
Дуб шевелит губами –
Сочиняет хокку.

**Дни все короче**
Красавица
В гробу посреди цветов.
Холодная осень

**Не могу заснуть**
Ветер шалит.
Смотрит в глаза, а сам
Гладит девичью ногу.

**И мы такие же**
Высохший пруд.
Как важно гуляют вороны
На дне ямы!

**Ничего смешного**
Сто раз подряд
Щёлкаю кнопкой –
Властитель света и тьмы.

**Вот ещё придумал…**
Взгляд твой ловлю,
Как ловит глупый котёнок
Собственный хвостик.

**И в октябре бывает**
Как он пролез
В щёлку между тучами,
Смешной носик солнца?

**К черту поэзию!**
Чем ей помочь?
Кулёк мёрзлой калины
Купил у старушки.

**Хоть немного светлей**
Я погрозил ей,
Туче, закрывшей небо.
Вот и первый снег.

**Трудный разговор**
Что мне ответить?
Спроси о смысле жизни
Того, кто умер.

**Жить надо долго**
Осла, бывало,
Называли пташечкой.
До сих пор помнит.

**Конспект доклада на конгрессе хоккуистов**
Да ну их к черту
Эти каноны хокку –
Хочу свободы!

**Из резолюции конгресса хоккуистов**
Свободы хочешь?
Стыдно прыгать козликом,
Старый ты козёл!

**Жиды города Киева…**
Смерть. Пулемёты.
Шепчет ребёнку сказку
И не плачет мать.

**Как сейчас вижу**
Было на песке:
«Совсем не любишь меня?»
Все стёрла волна.

**Я лучше помолчу**
Если я скажу,
О чем сейчас думаю,
Фейсбук забанит.

**А я тут о смысле жизни…**
Собака ничья,
Голодная – подошла,
Смотрит так тихо.
**Такое вот небо**
Чудовищный глаз,
Заплывший после драки,
Слезится дождём.
**Не так уж плохо**
Пара таблеток –
Можно работать весь день,
Спасибо врачам!
**Не верите?**
Взмахи крылышек –
Такой ветер поднялся.
Бабочки полет.
**Поспеть бы на автобус**
Ветер в лицо
И гололёд-предатель.
Хмурое утро.
**Скорее домой**
Слева направо
Вся искривилась, ползёт
Улица сквозь ночь.
**С вами не случалось?**
Выключить телек,
Уставиться в пустоту
И сойти с ума.
**Нашёл выход**
Все равно молчать,
Так буду молчать громко,
Чтоб все слышали.
**Октябрьское**
Небо ранено.
Пятна крови на клёнах
Дождь не смывает.
**О прекрасном**
Скрипка в метро.
Альбинони и мелочь
Кучкой на полу.
**Болею**
Ночью – свет, днём – сон,
Метроном по голове
Стучит. Звон, стон, боль.
**Все, что ли?**
Ни одной строки.
Слова присохли к горлу.
Отодрать больно.
**А тепла всё-таки хочется**
Скорей бы мороз!
Бабье лето фальшиво,
Улыбка шута.
**Рецидивист**
Убито время.
Убийца пойман, схвачен.
Сидит за компом.
**Осень цветёт**
Стою, любуюсь.
Сколько золота, красок
На платьях берёз!
**А до весны ещё…**
Под этим дождём
Мокнут все крыши. Моя
Тоже промокла.
**Вот она, старость!**
От одной мысли,
Что скоро придёт зима,
Леденеет мозг!
**«И милость к падшим…»**
Пирог, повидло,
Стакан молока – и спать!
Ох, не звоните!
**Рифма в хокку**
Жизнь – веселуха!
Улыбайтесь, граждане,
Рот и два уха!
**Философия**
Человек и мир -
Два зеркала. Какое
Из них кривое?
**Ценный кадр**
Аккуратен, строен,
Походка стремительна,
Всегда при деле.
**Осеннее**
Пора бы зиме
Взяться за дело.
Даёшь Мороз и снега!

**Политика**
Балаган. Бум! Бум!
Клоун по барабану
Красиво лупит.
**Надежда**
Сколько ни гадай,
Ромашка скажет: – плюнет!
Зловредный цветок!
**Одеться потеплее**
В ноябрьском лесу
Ни пенья птиц, ни грибов,
Тихо и сонно.
**Так просто**
Бывает грустно.
А поговоришь с котом –
И улыбнёшься.
**Внезапно**
Солнце в ноябре –
Как улыбка старика
Вослед красотке.
**Дача опустела**
Яблоки в саду
Преют на павших листьях.
Скоро пойдёт снег.
**Воспоминания греют**
Сейчас в Тоскане
Так тепло и ласково!
И рюмка граппы!
**Флоренция**
Тонкие пальцы,
Профиль в бокале вина,
Терпкий вкус речи.
**И видеть сны…**
Полярная ночь
Московского розлива.
И все. Спать, спать, спать!
**Поздним вечером**
Темень прибита
К деревянному небу
Гвоздём рекламы.

**После плотного ужина**
Я смело шел в бой,
Орал, сражался как лев –
Пришлось проснуться.

**Тревожно**
Проснулся ночью.
Теперь уже не уснуть –
Луна в полнеба.
**Детский вопрос**
Полжизни взрослеть,
Ещё полжизни стареть.
А жить-то когда?
**Выглянул в окно,**
**покачал головой**
Вчера ещё
Цветы не верили,
Что утром умрут от холода.
**Не могу заснуть**
Ветер шалит.
Смотрит в глаза, а сам
Гладит девичью ногу.
**Молча**
Один за другим
Уходят великие.
Зовут за собой.
**Тупой конвойный**
Книги рядами…
Сколько непрочитанных!
Уже не успеть.
**Такая осень**
Щемящий октябрь…
В этом золоте слезы
Вместе с улыбкой.
**Растерянно**
Скажи мне, осень,
Зачем ты меня дразнишь
Прощальным теплом?
**Как и должно быть**
В конце жизни
Снится её начало -
Мама и папа.

**Святая истина**
В семьдесят пять лет, –
Сказал мне врач, – всякое
Может случиться!
**Телевизор бесится**
Скажут: «Война!»
Молча кивну головой.
Время пришло умирать.

**Помолчим вместе**
Плавно летит,
Словно любуясь собой,
Тронутый ветром лист.
**Поделиться не с кем**
Нашёл слово.
Дрожащей рукой
Спрятал куда подальше.
**Вспомнил**
Вспыхнул огонь
В старой сухой траве.
Взгляд женщины.

**Деревья сочувствуют мне**
Клён покраснел.
Что-то хочет сказать,
Но не решится никак.
**Урок оптимизма**
Тополя хотят
Зеленеть под солнышком.
Зимы не будет.
**Через полгода весна**
Ночью выпал снег.
Утром очнулось солнце
И засмеялось.

## ЗИМА

**Разве вам не жалко?**
Осень убили.
Раздели на морозе.
Снегом забит рот.
**Перебирая старые фотографии**
Майских жуков
Долго ещё не увижу.
Бабочки снега летят.
**Открыл глаза.**
Время петь петухам.
Мёртвая тишина.
Предчувствие войны.
**На ком бы злость сорвать?**
Купил часы.
Скверный у них характер –
Вечно куда-то спешат.

**После разлуки**
Хрупкий ледок.
Кажется, муха, и та
Может его проломить.
**После ссоры**
Таким взглядом
Сшибёшь на лету ворону.
Лучше прикрой глаза.
**Незаметно приходит ночь**
Так и не знаю,
Как вместить в одно слово
Эту тишину.
**Пора браться за ум**
Хокку ушли.
Одно за другим, куда не знаю.
Пустота.
**Улыбнулся**
Губы. Тюбик помады.
Раз-два – и готово.
В сумраке свет.
**Как делать стихи**
Третья строка
Подкралась к первым двум
Незаметно, как ниндзя.
**То-то, коллега…**
«Мороз и солнце» –
Пушкин хотел написать
Хокку! Не вышло!
**Хоть немного светлей**
Я погрозил ей,
Туче, закрывшей небо.
Вот и первый снег.

**Мы и во сне рядом**
Помолчим. Слышишь,
Как грохочет, падая,
Кладбищенский снег?
**Посмотрим друг на друга**
Что вы застыли?
Разве смерть – это новость?
Нет, просто больно.
**Люди уходят навсегда**
Во сне улыбнулся.
Увидел, как она спит:
Смешные губы.

**Тёплый свитер помог**
Снег и дождь. Холод.
Я, слава богу, живым
Добрел до службы.
**Все так просто**
Цветы умирали
Молча, как подобает,
Без слез, без страха.
**Всюду жизнь**
Снег бел. Желтизна.
Кто-то здесь, так же как я,
Смотрел и думал.
**Куда убежать?**
Гоббс. Левиафан.
Народ. Демократия.
Дыра в голове.
**Виски и астрономия**
Жил бы на Марсе!
И там в ночной тишине
Двоится Луна.
**Чирикают серенькие**
Воробьи знают:
Выживет – кто вытерпит
Зиму до весны.
**Ну, хоть так…**
Хлопнул рюмашку.
Тишина рассыпалась
Мелочью под стол.

**Пережить бы зиму**
Лучше бы шел снег.
Небо стирает со лба
Крупные капли.
**В темноте**
– Песенку спою?
Сказочку пострашнее?
– Просто сядь рядом.
**Видение**
Вороны кричат.
Памятник самодержцу
Сочится кровью.
**Дежавю**
Время – волшебник.
Щелк! – и ты уже в прошлом,
Щелк! – опять старик.

**Все будет хорошо**
Вздохнул и умер.
Нет, не переживайте –
Умер от счастья!
**Холодно**
Погоду свело,
Как судорогой ногу,
А снега все нет.
**Кому какое дело?**
Заварить чайку,
Выключить светильники,
Мурлыкать под нос.
**Забыли друг друга**
Переплёт в пыли.
Давненько не виделись,
Старая книга.
**В театре**
Дети умные
Глазки вытаращили,
Все понимают.
**Все замолчали**
Вопросы потом.
Сначала я вам скажу,
Что так жить нельзя.

**Помню её молодой**
Женщина просит:
– Когда помру, пусть платье
Будет в горошек.
**Дайте поворчать!**
Лёд под ногами,
Над головой чёрт-те что.
Радуйтесь, зима!
**Хватит каркать!**
Рубль укрепился,
Нефть дорожает снова.
Живём, ребята!
**Безнадёжность**
Уже сегодня.
А вчера было вчера.
И будет завтра.
**Говори, говори, родной!**
Братья и сестры!
К вам обращаюсь снова,
Смирные мои!

**Хотите совет?**
Просите у тех,
У кого нет ничего.
Вам не откажут.
**Кроме шуток**
Ножницами слов
Режу нити времени,
Падаю. Куда?
**Хокку, хокку…**
Семнадцать слогов.
О, как тесно мне в тюрьме!
Сбегу, наконец.
**А все они, нервы!**
Внезапный грохот.
То ли кастрюля на пол,
То ли мир рухнул.
**Не спеши, милый**
Ребёнок в метро,
Чтобы поезд шел быстрей,
Топает ножкой.
**Дайте другую игрушку**
Старое сердце,
Как ребёнок, колотит
По барабану.
**Друзьям-оптимистам**
Что мне вам сказать?
Вы лучше прислушайтесь,
Как хрипит время.
**В декабре**
Я свято верю:
Когда-нибудь кончится
Чертова зима!
**Что вы смеётесь?**
Когда гололёд,
Лучше идти медленно,
По-стариковски.
**Не медли**
Ещё не поздно,
Ты ещё можешь успеть
Просить прощенья.
**Такие вот дела**
Не вздумай хитрить.
Книгу твоей судьбы
Вот-вот закроют.

**Когда нет ветра**
Пёрышко птицы,
Кажется, сто лет летит
С неба на землю.
**Москва в декабре**
Робко выглянет
И сразу спрячет свой нос
Зимнее солнце.
**Люди спешат на работу**
Голуби в метро.
Здесь, конечно, теплее,
Но есть нечего.
**Оглядываясь вокруг…**
Если бы память
Не старела так быстро!
Кого попросить?

**Мне так кажется…**
Сорок лет назад
Женщинам было легче
Сводить нас с ума.
**Она говорит**
Будь осторожней!
Посмотри – вот ожоги
От твоих взглядов!
**Со вздохом**
Хочешь повторить
Ошибки молодости?
Нет, брат, опоздал!
**На юге теплее…**
Он стонет, что ли?
Старый замёрзший каштан
Вспомнил о детстве.
**Прислушиваюсь**
На помойке шум:
Бродячие собаки
Спорят о правах.
**Так и живём**
Ночь обнимает,
Потом сжимает горло
Ласковой рукой
**Не спорьте**
Сегодня понял:
Песня комара лучше
Зимней тишины.

**Их надо беречь**
Слова – как люди:
В одиночестве плачут,
В толпе глупеют.
**Махнул рукой**
Хорошо, пусть так.
Пусть эта зима, зима,
Зима, зима. Пусть!
**Я вижу**
Небо ложится,
Укрывается снегом
И спит на земле.

**Читайте, люди!**
Страницы снегов
Город-поэт залепил
Пятнами грязи.
**Много ли надо!**
Чуть-чуть воздуха,
Глоток сладкого чаю,
Уже можно жить!
**Страшно**
Ночь заглянула
Через плечо: – Что пишешь?
Брось! Иди ко мне!
**Не скажешь короче**
Философия –
Слово-то на всю строку!
Или на всю жизнь.
**Не хотел обидеть**
Глаза в сторону,
Слегка дрогнули губы.
Такой разговор.
**Скоро Новый год**
Вот что мне снилось:
Берег моря, солнышко
Гладит мне пузо.
**Разговор в автобусе**
Тётка средних лет:
– Я вся такая, стою,
А он подходит!
**Сидите дома и пойте!**
В ночь на Новый год
Обещают колотун –
Водка замёрзнет!

**Антинаучные размышления**
Если подумать –
Ну зачем этот мороз,
Кому он нужен?
**Невозможно**
Сидел с ним рядом
Три дня тому. Как понять,
Как понять смерть?

**Задумался**
Вертикаль власти,
Горизонталь культуры –
Геометрия!
**Люди как люди…**
Чем их напугать?
Вокруг одни храбрецы -
Не боятся жить!
**Забыл выключить телевизор**
До конца света
Осталось десять годков.
Хороша новость?
**И чего я жду?**
Очень медленно,
Как больной старик впотьмах,
Движется время
**А я видел…**
Опусти глаза,
Не смотри, нельзя, нельзя!
Мёртвый ребёнок.
**С утра пораньше**
Зелёный червяк
Сожрёт людей, выплюнет.
Метрополитен.
**Совет сквозь слезы**
Живи радостно,
Словно ты видишь во сне
Бальное платье.
**Учитесь жить, ребята**
Две вещи нужны:
Деловая походка
И ясная цель.
**Непокорного судьба тащит**
Новое время.
Все в него устремились,
А я не хочу.

**Сделаем красиво**
Дайте иголку,
Я залатаю небо.
Протёрлось слегка.
**С горки на лыжах**
Кто-то прошептал:
– Как здесь красиво, мама!
И весь мир умолк.
**Зима всё-таки**
Не простудитесь!
Морозный воздух не пьют,
Медленно едят.
**Мог бы стать начальником**
Умеет же Кот
Делать умное лицо!
Талант, ей-богу!
**Климат такой**
Зима хворает.
Её то в жар, то в холод,
В испарине лоб.
**Новый год**
Что делать в праздник?
Работать – скажут, дурак.
Буду есть салат.
**«Мы отдохнём!»**
Високосный год.
Вот теперь передышка –
Целых три года!
**Я не мог ответить**
– Вы мне скажите,
Только смотрите в глаза:
Умирать страшно?
**Страшно, конечно**
– Позвольте войти!
– Прошу без церемоний,
Будь как дома, смерть!
**Настала новая жизнь**
Теперь я понял:
Нет дураков, нет невежд,
Это Другие!
**Все проходит…**
Если мне скажут:
– Твоё время кончилось! –
Спорить не стану.
**Никому не надо**
Вот вам три строки,
В них я вложил всю душу.
Возьмите, люди!
**Скоро праздник**
Позвонил другу.
Тоскует старик. Плохо
Ему одному.
**Даже тысячи**
Я понимаю…
Есть сотни дел поважней,
Чем писать хокку.
**Не объясняйте, не надо**
Не могу уснуть.
Мужчина без рук в метро:
– Подайте, ради…
**Астрономия**
Фобос и Деймос –
Это наши спутники.
Наши. Не Марса.
**Декабрь**
У природы нет.
Просто ничего нет. Совсем.
И погоды нет.
**И вот всегда он так**
– А ты кто такой?
Я ответил зеркалу:
– Не дури, старик!
**С верой в будущее**
Когда год пройдёт,
Все облегчённо вздохнут:
– Теперь заживём!
**Скоро февраль**
Всего-то сто лет,
А кажется, так давно
Отрекался царь…
**Differentia specifica**
Признак дурака:
Он всегда наготове
Что-нибудь сказать!

**Предчувствие**
Главное – выпить!
А селёдка найдётся
На любом столе!

**Проснувшись**
Пришел Новый год!
Сидели, ели, пили –
Что тут нового?
**Делаю вид, что не вижу**
Тушь на ресницах,
С мужчиной целуется –
Выросла дочка.
**Нет худа без добра**
Старикам легче!
Им есть чем посыпать лёд
Морозным утром.
**Почему так грустно?**
Тополь за окном
Стоит на одной ноге,
Слушает салют.
**Так все же лучше**
Наконец мороз!
Вы думали – все слякоть?
Теперь прячьте нос!
**Такая маленькая…**
– Под снегом тепло! –
Сказала мне травинка, –
Полезай ко мне!
**Я их понимаю…**
Плачут сосульки:
Трудно найти умную
Голову, трудно!
**А ты сможешь?**
Небо подоить –
Брызнет снег. Тепло губам
Пить этот холод.
**Когда мороз**
Расколоть воздух
На мелкие кусочки.
Так легче глотать.

**Погода пляшет**
Голова болит.
Сниму её и спрячу,
А сам пойду спать.
**Минус двадцать**
Перед прогулкой
Попробуй щёлкнуть клювом –
На всякий случай.

**Хоть на недельку**
Садись в самолёт –
Скоро тебя обнимет
Тёплое море!
**Не пропадём!**
В мороз веселей.
Поджидая автобус,
Нехотя спляшешь.
**Тяжело ему**
– С днём рождения!
Бог молча кивнул. Молча.
И слава Богу!
**Праздник**
Прикрою глаза,
Пока народ веселится,
Прикорну в углу.
**Жизнерадостное**
Пенсионеры!
Будьте всегда готовы!
Дружно, все разом!
**Зима всё-таки**
Рекордная ночь!
Мороз достиг крепости
Дешёвой водки!
**Прощание**
Человек уснул.
Не кричите, не плачьте.
Он ведь ещё жив!
**Снег, остановка.**
Автобус Эм-3.
Эх, тройка, птица-тройка,
Где тебя носит?

**В переполненном метро**
Началось. Утром
Лечу на занятия
На крыльях долга!
**Картина маслом**
Ладно, посмейтесь!
Скользко. Переставляю
Ноги как палки.
**Отчего люди не летают?**
Был бы вороной,
Вспорхнул бы и полетел
Вдоль по Басманной!

**Так хочется**
Почудилось мне:
Свежескошенной травой
Пахнет снег в лесу.
**Надоело**
Снег, слякоть, тепло,
Холодно, туда-сюда
Ёрзает зима.
**Альтруизм**
Овцы счастливы:
Шерсть, мясо – все для людей,
Все для их пользы!
**С утра пораньше**
Как сорок чертей
Воет декабрьский ветер
В щёлке окна.
**И пусть декабрь**
Свернуться кольцом,
Спрятать морду под лапки –
Учусь у кота.
**Чертов зимарь**
Вечер приходит,
И кажется, что утро.
А утром – вечер.
**Сюрприз**
Декабрь. Снег выпал,
Неожиданный как смерть.
Кто б мог подумать?
**Бессонница**
Гераклит плакал,
А Демокрит смеялся.
Так и бывает.
**Вечером**
Боже, мой Боже,
Что они такое врут?
Скорее заснуть!
**Декабрь**
Вышел из ночи
Хмурый вечер, постоял –
И вернулся в ночь.
**Атараксия**
Глухому легче -
Они говорят, а ты
Спокоен, как слон!

**Антихокку**
Если ждёшь худа,
Оно придёт. А не ждёшь,
Значит, ты дурак.
**Хочу голубой!**
До дыр износил
Серый шарф неба. Пора
Его на свалку.
**К вопросу о постгуманизме**
Купил голову.
Запасную. На случай
Трещины мозга.
**Зимний солнцеворот**
Занебесный конь
Тронул копытом небо
И тихо заржал.
**Пролетая над озером**
Нагие девы
Чередой лезут в прорубь,
Им не холодно.
**Снегопад**
Дышите носом,
Если сможете, а нет –
Так глотайте снег!
**Безмятежность**
Рухнули планы.
Сплю под их обломками,
И в ус не дую.
**К «Декалогу»**
Я чту субботу.
Утром чту и днём тоже.
Изо всех сил чту!
**Понимающая социология**
– Не понимаю!
Все катастрофически
Вдруг поглупели!
**Скоро Новый год**
Накупил книжек.
Они скучают в шкафу,
Тихо стареют.
**Стабильность**
В липкой тишине
Всякий звук вязнет, тонет,
Сходит на шёпот.

**Ум не пропьёшь**
– Все очень плохо,
Но это ведь пустяки, –
Сказал философ.

**Смешно и красиво**
Китайский фокус –
Смотрите, вот она, жизнь!
А вот её нет.

**С кем поведёшься…**
Кот тихо храпит.
Любит поспать, мерзавец,
Не меньше, чем я!

**Мелкая философия**
Световой растёт,
А день жизни короче –
Вот так и живём.

**Судьба такая**
Узоры из слов
Один раз сплести – потом
Всю жизнь расплетать.

**Басё**
Ещё три строки –
И ты будешь бессмертен.
Но где же их взять?

**С ума сойти!**
Старость – не радость!
Какая мысль, сколько в ней
Крутой новизны!

**Лихо!**
Со склона годов,
Как на ледяной горке –
Сел на жопу и…

**Хлебников**
Да, Русь, ты вся тут:
Поцелуй на морозе
В железную дверь!

**Им бы до весны дожить**
Умные мысли
Как зимой воробышки –
Мёрзнут, но скачут.

**Об информации**
Новости бурлят,
Как отхожее место,
В котором дрожжи.

**Первое февраля**
Чем ближе весна,
Тем яснее, что её
Может и не быть.

**Все относительно**
Минус тринадцать –
Якутская оттепель.
А вам холодно!

**Зима с юмором**
Очень смешные
Памятники великим
В снеговых шапках!

**Снежное**
Город забрался
Под белую простынку,
Хочет согреться.

**Ужас**
Приходит ночью,
Сядет рядом и смотрит
Стеклянным глазом.

**Февраль**
С ума не сойти,
Не плакать. Пусть за тебя
Плачут сосульки.

**Чувствую**
Воздух сломался,
Обломки режут лицо,
В горле застряли.

**Голуби пригодятся**
Если стает снег,
Мы поплывём на поиск
Горы Арарат.

**Сожаление**
Я бы написал
Длинный роман о жизни,
Но жизнь коротка.

**На пороге ночи**
Вечер приходит
Как грустный некролог дня
В чёрной каёмке.

**Скоро март**
Чёрные коты
Стоят на задних лапах
И громко поют.

**Если кто не понял**
Жизнь на раёне
Стала более лучше –
Вперёд и с песней!
**Мысли посещают**
Хокку все вышли…
Не взяться ли за гимны?
Вам понравится!
**Климатическое**
Голой истине
В наших просторах не жить –
Слишком холодно.
**Стерпится – слюбится**
Привык я к зиме,
Да и она привыкла
К моей привычке.

## ПОСЛЕ ЗИМЫ

**Все повторяется**
Шаг, второй, третий…
Малыш учится ходить?
Старик плетётся.
**Сентиментальное**
Я встретил весну,
Привёл в дом, налил водки,
Вместе плакали.
**Медицинское**
С самого утра
Глотнёшь воздух свободы –
До вечера сыт.
**Траур**
Надо замолчать,
Примерить ад на себя,
Чтобы быть людьми.
**Все – как всегда**
Слезы кончились.
Только сосульки плачут,
Встречая апрель
**Снег в марте**
Сколько той весны?
Две-три недели в году.
Улыбка во сне.

**Праздник**
Эх, масленица!
Сладко дышать блинами
В лицо друг другу.
**Март**
Небо линяет -
Как шерсть у кота, висят
Клочья облаков.
**Вослед Радищеву**
Встал рано утром,
Как глянул окрест себя…
Дальше матерно.
**Жизнерадостное**
Весенний ветер
Воет в оконной щели,
Как мартовский кот.
**Скоро май**
Каблучки – цок-цок,
Через лужицу прыг-прыг.
Девушка – весна!
**Перед отлётом**
День взлетел, другой…
Стайка дней кружит в небе
С жалобным криком.
**Ещё холодно**
Молодой тополь
Робко высунул листик
Навстречу дождю.
**Сердечное**
Таблетку солнца
Запить глотком воздуха –
Три раза в сутки.
**Смешная весна**
Толстое солнце
На тонких ножках лучей
Пляшет ламбаду.
**А могла бы и покрепче…**
Да вы не плачьте,
Просто жизнь срифмовала –
Венец и конец.
**Что тут непонятного?**
Я напоследок
Попросил бы подышать
Майской сиренью.

**И не будите**
Провалиться в сон,
Чтоб весной цвели вишни,
Совсем как в детстве.
**Суббота**
Кто сам без греха,
Пусть бросит в меня камень:
Хочу безделья!
**Don't disturb**
Вот спит кот. А вот
Дрыхнет целый мир. И я
Не против вздремнуть.
**Образ и подобие**
Трясётся рыдван,
Прыгает на ухабах,
Скрипит, но едет.
**Мандельштам**
Ночное солнце
Взойдёт, конечно, только
Мы не увидим.
**Ecce Homo**
Перед рассветом
Сосёт тревога: – А вдруг
Не кончится ночь?
**Извините**
Напор событий,
Новости политики –
Запах со свистом.

**Сон о жизни**
Никто не хотел,
Все само получилось.
Виноватых нет.
**Анизотропия**
Часы по утрам
Не спешат, но вечером
Хочу их разбить.
**Глянул в окно**
Что-то случилось!
Первый раз за сотню лет –
Синее небо!
**Что это?**
Во сне увидел:
Яркое солнце светит
В ночной темноте.

**Как пишут стихи**
Полет вороны
Перечеркнул все небо
Жирным зигзагом.
**Музыка нас связала**
Летом – петухи,
Зимой – вороны. Весной
Я и сам пою.
**Солнышко пригрело**
Две полусферы,
Джинсы цвета индиго
И волны, волны…
**Техническое**
Кричи не кричи,
А кто тебя услышит
В сурдокамере?
**Самое простое**
Давай присядем, Помолчим.
Ну, вот и все.
Дорога зовёт.
**Счастливое детство**
Этот мир – шарик,
Надутый богом.
Дитя Забавляется.

**Друг ушёл**
Помирать в спешке,
Не прощаясь. Некогда.
Да и не нужно.
**Молчание – золото**
Ягнёнок блеет,
Волк рычит, птичка поёт,
Один я молчу.
**Весна в Москве**
Трудно поверить,
Но вот же оно, солнце,
И даже небо!
**Тревожная весна**
Только пригрело,
Тополя и каштаны –
Все в камуфляжах.
**После взрыва**
Кто бы мне помог?
Надо собрать и склеить
Кусочки неба.

**С раскаянием**
– Я все успею! –
Тысячу раз говорил
Я эту глупость.
**Вопреки всему**
Весна рисует –
Зелёным по серому,
Солнцем по сердцу.
**Слепой**
Подойди ближе –
Коснусь зрячей ладонью
Твоего лица.
**Шквал налетел**
Ещё живая,
Но уже убитая
Упала сосна.
**Весенний флэшмоб**
Белые свечи
Горят в дрожащих руках –
Каштаны цветут.

**Прощание**
Теперь все равно,
Но всё-таки ты присядь,
Помолчим вместе.
**Вопрос**
Время уходит.
Это ясно. Но куда
Оно приходит?
**Поэзия**
Потрогал строку.
Она фыркнула как ёж –
Одни колючки.
**Детское**
– Тучка, а тучка!
Ты будь всегда маленькой,
Рядом с солнышком.

**Достоинство**
Свечной огарок –
Горит медленно, тихо,
Почти не коптит.
**Настроение**
Невесёлый дождь –
Прогнила крыша неба,
Некому чинить.

**Пожар**
Бейте же в набат!
Может, ещё не поздно,
Может, успеем…
**Жарким летом**
Это не дождик,
Бьётся за окном время,
Ставшее пылью.
**Художнику**
У смерти глаза
Белые и круглые,
Как две таблетки.
**О погоде**
На краю бездны
Опасней всего ветер,
Попутный ветер.
**Ночью**
Приходят тени,
Тихо садятся рядом
И молчат, молчат.
**Июль**
– Лето ли, осень,
Разве это так важно? –
Усмехнулся дождь.
**У стеллажа**
Подержать в руках
Каждую книгу. Читать
Уже некогда.
**Поздний птенец**
В осеннем сердце
Дышит комочек перьев.
Зимы не будет.

***Переводы и комментарии***

# ГЛАВЫ 6–7 ИЗ КНИГИ «ВОЙНЫ, РЕВОЛЮЦИИ И ДИКТАТУРЫ: ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПАРАТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ»[1]

***Станислав Андрески***

## *Глава 6. Об истории, теории и объяснении*[2]

Видимо, не случайно автором этого впечатляющего научного труда является редкий экземпляр почти исчезнувшего племени учёных-джентльменов, от которого произошли выдающиеся представители английского ума. Потрясающего широкий спектр его знаний не может не быть связан с тем благоприятным обстоятельством, что именно он, Перри Андерсон, смог взяться за столь амбициозный труд, не тратя время на бюрократические проволочки. Его преданность собственной жизненной миссии пронизывает Этот научный труд пронизывает преданность автора собственной жизненной миссии, в которой проявилось весьма показательное отличие полученных выводов исследования от помпезных трудов, санкционированных бюрократией. Однако сложность классификации этого научного труда придаёт его автору статус любителя знания в исконном смысле слова, которого не интересуют административные границы между дисциплинами и протесты против «междисциплинарного» характера его «проекта».

Дональд Макрей оценивает научные труды Андерсона как «наиболее удачную сравнительную социологию со времён Зомбарта». В конечном счёте, обоснованность оценки, кто лучше – Зомбарт или Андерсон – зависит от того, что имеется в виду под «сравнительной социологией», в отличие от «сравнительной истории» или «исторического синтеза». К тому же характер текста весьма не однороден: некоторые его части являются преимущественно хронологическими, тогда как в других акцент сделан на сравнении, типологии и анализе, которые можно назвать «каузальными», если смысл этого слова не понимать слишком строго.

Особенно ярко приверженность Андерсона английской традиции проявляется тогда, когда речь идет о материальной основе научной деятельности. Но он совсем не англичанин, едва вопрос касается пристрастия к внедрению социологического подхода в написание истории или выхода такого сочинения за пределы истории Европы. Другие книги английских авторов с аналогичным хронологическим и пространственным охватом отличаются характер-

[1] См.: Andreski 1992: 48–62.

[2] Это отредактированная обзорная статья об эволюционной истории феодализма и абсолютизма Перри Андерсона [Anderson 1974a; Anderson 1974b]. Общим предметом интереса является анализ разновидностей истории и исторического объяснения.

*DOI: 10.18522/2949-0707.2023.2.196205*

ным способом изложения и популяризации. Правда, Арнольд Дж. Тойнби охватил ещё больший промежуток времени и охват пространства, но он сохранил приверженность ретроградной аллергии оксфордского историка к социологическим идеям, несмотря на брошенный вызов в плане целей и диапазона приводимых данных. Тем самым Тойнби попытался создать амбициозную теорию истории с нуля, вместо извлечения пользы из достижений и ошибок предшественников, основателей и современных специалистов в сфере сравнительной социологии. В итоге теория Тойнби осталась расплывчатой, незавершённой и абстрактной, несмотря на его феноменальное знание «фактов», хотя в этом отношении он был ограничен традиционной повествовательной историографией. Напротив, Андерсон изучал не только Маркса, Дюркгейма и Малиновского, но и Макса Вебера и Отто Хинтце, когда он работал научным сотрудником на факультете социологии в Университете Ридинг. Более того, у него нет таких амбиций, как у Тойнби, – и потому он меньше подвержен риску провала, поскольку вместо попытки сформулировать совершенно новую всеохватывающую теорию он стремится интерпретировать историю в свете того, что почерпнул у Маркса, Вебера, Хинтце и других теоретиков.

Подход Андерсона почти полностью совпадает с традицией немецкой науки классической поры, которая не только игнорировала, но и сознательно преодолевала границы между историей и социологией. Как уже говорилось, Макрэй сравнивал труды Андерсона с трудом Вернера Зомбарта *«Современный капитализм»* (Der Moderne Kapitalismus) (первое издание которого вышло в 1902 г., последнее – 1928 г.). Этот труд в большей степени был трудом историка, который полагается главным образом на первоисточники, тогда как Андерсон обращается к книгам и статьям более современных писателей. Возможно, ближе будет параллель с работой *«Культурная история как социология культуры»* (Kulturgeschichte als Kultursoziologie) Альфреда Вебера (1930-е гг.) С одной стороны, она более содержательна, поскольку в предмет изучения автора входит Древний Ближний Восток, который не рассматривает Андерсон, но в то же время труд Альфреда Вебера основан на гораздо более простой основе исторических знаний. В качестве иного предмета сравнения можно привести трёхтомный труд *«Определение местоположения по настоящему»* (Ortsbestimmung der Gegenwart) Александра Рюстова – прямого наследника Альфреда Вебера в Гейдельберге. Однако из всех известных мне работ наиболее похожи на книги Андерсона три тома Франца Оппенгеймера, посвящённые социально-экономической истории Запада, которые входят в последнюю часть его восьмитомной *«Системы социологии»* (System der Soziologie). Оппенгеймер тоже был социалистом и считал себя последователем Маркса, но, в отличие от Андерсона, не принуждал себя к ненужным спорам. Подобно трудам Андерсона, эта часть работы Оппенгеймера состоит из исторического синтеза, который основан исключительно на вторичных источниках и вдохновляется теоретическими идеями.

Среди британских писателей предшествующих поколений в аналогичном духе писал только Джон Маккиннон Робертсон. Но к сожалению, большинство его трудов было напечатаны в незавершенном состоянии, поскольку ему не повезло так, как Андерсону, он был вынужден бросить школу в 14 лет, зарабатывать на жизнь случайными подработками; не исключено, что некоторые из них даже стимулировали, но все же отнимали время[3].

При сравнении трудов Андерсона с работами указанных авторов можно увидеть серьёзное приращение знания об истории учреждений, условиях и структурах, которое произошло в последние десятилетия. Отличие современного положения дел от ситуации сорокалетней давности особенно заметно, если речь идёт об истории неевропейских стран, которая поисти-

[3] О Робертсоне см.: Page 1984; Wells 1987.

не была *terra incognita* во времена Макса Вебера, большая часть достижений которого вытекала из его способности извлекать важные идеи из скудных источников. С учётом публикации серьёзных книг и статей обо всех частях земного шара попытка подражать Веберу в этой сфере стала бы саморазрушительной. Но это не значит, что проблема синтеза истории и социологии упростилась, поскольку наличие множества капитальных исследований порождает необходимость их изучения – и в этом смысле работа Андерсона вызывает восхищение. Казалось, что выпускник (с отличием) русского отделения университета Ридинг обратится к восточноевропейской историографию, но Андерсон использует также итальянскую и испанскую литературе. Он прочитал все лучшие книги и статьи по всем периодам и областям, с которыми я знаком.

Несмотря на европоцентристский крен при обращении к странам Азией в основном в качестве подтверждения (им уделено менее одной десятой всего объёма печати), Андерсон абсолютно беспристрастен относительно значения отдельных регионов Европы. В отличие от традиционной британской историографии, примером которой служит *«История Европы»* Герберта Фишера, он обращается ко всем отдаленным уголкам Европы, будь то Балканы или Скандинавия. Поэтому странно, что он ничего не говорит об Ирландии и Шотландии.

Возможно, работу Андерсона лучше всего определить как «эволюционную историю», используя этот термин в том смысле, какой придал ему Фредерик Дж. Теггарт в его замечательной книге *«Пролегомены к истории»* (Prolegomena to History). В этой книге (опубликованной в Калифорнии в 1918 г.) Теггарт проводит различие между нарративной историографией и подходом, который связан с ответом на вопрос: почему определённая последовательность форм и объяснений данных форм сменяли друг друга именно таким, а не иным образом? В этом смысле «эволюция» есть развёртывание последовательных форм (или структур), которые (в отличие от точки зрения Герберта Спенсера) не должны следовать установленному образцу или стремиться к одной цели. Слово «происхождение», которое стоит в названии второго тома, показывает, что именно этот существенный пункт имел в виду Андерсон. Его работа также объясняет, почему описанные формы или структуры развивались одна из другой, соответствуя тем самым второму критерию Теггарта. Обращаясь в указанных томах только к прошлому, автор знает исходные результаты и, следовательно, не видит необходимости постулировать непроверенные конечные цели эволюции. Но объясняет ли он прошлое?

Большинство дискуссий о сути исторических объяснений искажается необоснованным предположением о том, что они должны существовать, поскольку некоторые историки утверждают наличие различных объяснений одних и тех же явлений и настаивают на том, что выяснение сути исторических объяснений есть дело философов. Однако нередко все зависит от того, что подразумевается под словом «объяснение». Если вслед за Юмом мы сводим его к утверждение, которое «приводит ум в состояние покоя», то нетрудно можно обнаружить множество примеров исторического объяснения – то-есть таких высказываний историков, которые привели свой ум или умы других людей в состояние покоя. Напротив, если мы согласны с любым из определений объяснения, существующих в философии естественных наук, то отсюда вытекает, что ни один историк ещё ничего не объяснил. Причина такой неспособности идентична неспособности извлечь из исторической литературы какие-либо уроки, имеющие практическую ценность, а именно: историки не знают законов, которые устанавливают необходимость любой последовательности описываемых ими событий. Смягчение постулата необходимости требованием вероятности и вытекающего отсюда ожидания вероятностных, а не детерминистских объяснений, не помогает делу: не вероятностные объяснения исторических событий найти сложно, потому что эмпирическая вероятность может быть оценена только на основе наблюдаемых частот событий. Мы обычно соглашаемся с ве-

роятностным объяснением дорожно-транспортного происшествия, когда нам говорят, что водитель был пьян; и одновременно согласны с обобщающим вероятностным суждением на основе миллионов случаев, которые нужно учитывать. Но сколько произошло революций по образцу Великой французской революции? Для спасения слова «объяснение» я предложил в эссе, переизданном в *«Использовании сравнительной социологии»* (1964 г.), термин «возможностное объяснение» – утверждение, которое указывает на необходимое, но не достаточное условие (или антецедент). Такого рода объяснение говорит нам об обстоятельствах, которые сделали возможным это событие, оставляя открытым вопрос: что могло превратить его в неизбежное? – на который даёт ответ детерминистское объяснение. Однако недавно я пришел к выводу: даже указанного смягчения требования с необходимости на возможность недостаточно, чтобы спасти термин «историческое объяснение» от невозможности его применения ко всему корпусу текстов, написанных историками. Это связано с тем, что даже те интерпретации, которые в наибольшей мере заслуживают одобрения в качестве «объяснений», не определяют всеохватывающие общие положения, в силу которых мы могли бы согласиться с тем, что обстоятельства, использованные для объяснения рассматриваемого события, фактически были необходимы или что указанное событие не могло быть осуществлено никаким другим способом.

Исходя из вышеизложенных аргументов можно сделать вывод: все истории – это просто хронологические записи, точки зрения традиционных историков, несмотря на логически несовместимое с этой ситуацией утверждение некоторых о том, что можно извлечь нечто полезное из истории. И все же существует различие между чистым повествованием (например, Фишера), и попыткой Андерсона показать «естественное» развитие форм и структур друг из друга. Его аргумент довольно неопределённый (но это не значит, что он более неопределённый, чем аналогичные аргументы других авторов) и его можно определить как несистематическое отражение каузальных отношений. Однако этот аргумент последовательно ослабляет возможный предрассудок: эволюционные линии, которые он устанавливает, могли быть настолько же случайными, как и последовательности событий в истории Фишера. Чтобы отличить этот вид связного толкования от повествования, я предлагаю назвать его «правдоподобным объяснением». Под этим я имею в виду ряд утверждений, которые устанавливают такие атрибуты конфигурации A и последующей конфигурации B, которые не удивляют нас (в свете наших приблизительных знаний о том, как «устроены» общества), что за A последовало B. Наоборот, мы были бы удивлены, если бы за A последовало нечто совершенно отличное от B; и было бы не менее удивительно узнать, что B предшествовало нечто совсем отличное от A. История, которая предлагает такие правдоподобные объяснения разворачивания форм (или структур), заслуживает того, чтобы её называли «эволюционной» историей в силу сходства с отчётами об эволюции видов, которые также дают скорее дескриптивные, чем детерминистские объяснения.

Остаётся добавить, что эволюционная история (как я её понимаю после Теггарта) представляет собой нечто большее, чем «история структур», которую Фернан Бродель отличает от «истории конъюнктур», имеющей дело с событиями, а не с условиями. В эволюционной истории структуры и их трансформации должны быть не только описаны, но и объяснены, хотя бы правдоподобно. Однако большая часть экономической и социальной истории является неэволюционной и даже неструктурной из-за отсутствия в ней целостного подхода. Например, *«Социальная история Англии»* (Social History of England) Тревельяна состоит из ряда статических описаний условий и не является ни эволюционной, ни структурной, хотя и не сводится к набору случайных событий. Отличительное свойство томов Андерсона заключается в том, что они предлагают наиболее эволюционную интерпретацию широкой хронологической и пространственной панорамы из всех, когда-либо созданных.

Когда мы изучаем работы Макса Вебера, его тома о Китае, Индии, или *«Аграрные отношения в античности»* (The Agrarian Relations in Antiquity), нетрудно понять, почему его считают великим теоретиком. Причина состоит в том, что Вебер – помимо анализа и обобщения фактических данных ради создания целостной картины, показывающей различные отношения взаимозависимости – высказывает множество общих положений, сформулированных случайным образом и включённых в объяснения практических условий или событий. В этом смысле Андерсон не является теоретиком, потому что общие положения, которые он принимает или изредка приводит в ходе объяснения постоянства или изменения, входят в унаследованный запас теоретических идей. В отличие от Маркса, Вебера или Джона Маккиннона Робертсона он мало что к ним добавляет. Его достижения основаны на умелом использовании значительной части этого наследства для проведения собственного обширного эволюционного исследования. Вряд ли могло быть иначе, потому что невозможно выдвинуть (и даже постичь) новые теории, если верить в то, что истинная теория была открыта основателем более 100 лет назад, что её можно изменять, но отменить нельзя.

Видимо, только чувство религиозной или квазирелигиозной миссии может побудить британского историка отказаться от рамок исторической традиции Оксбриджа и взять на себя задачу такого масштаба, которая неизбежно чревата опасностью серьёзных ошибок. Другим показательным примером британского ученого, который в последнее время изготовил опросный лист (не учебник или популярное изложение) такого же масштаба как Андерсон, является католический историк Кристофер Доусон. Его лучший том – *«Эпоха Богов»* (The Age of Gods) (1928) – охватывает эру, которой пренебрёг Андерсон; и среди прочего он предлагает такую интерпретацию дохристианских религий, которую должен приветствовать любой сторонник экономической (или материалистической) интерпретации истории. В томах о христианской эре Доусон придерживается более «идеалистического» подхода.

Маркс обладал мощным интеллектом и огромной эрудицией, и потому никогда не писал ничего совершенно необоснованного о том, что уже произошло; но в качестве обычного человек он не мог предвидеть будущее, о котором высказал пару верных догадок, наряду с множеством ошибочных предположений. Таким образом, анализируя период времени вплоть до смерти Маркса, можно писать вполне рационально и избегать грубых искажений аргументов, а также необходимости категорически противоречить основателю. Наоборот, при отражении более позднего времена, ученик должен жертвовать либо собственным умом и честностью, либо своей верой в пророческие силы основателя. Андерсон избежал этой дилеммы, отказавшись от своей докторской диссертации о Латинской Америке и приняв решение написать эти книги. Видимо, его отказ от описания Древнего Ближнего Востока можно также объяснить нежеланием столкнуться с неизбежностью прямого отказа от веры основателя в то, что на смену первобытному коммунизму пришла экономика, основанная на рабстве. В те времена, когда этнография и археология делали только первые шаги, когда папирусы ещё не были расшифрованы и раскопки проводились в малом объёме, это было не столь абсурдно. Качество сравнительного анализа абсолютизма – второй том Андерсона не только больше по объёму, но и лучше по качеству – наверняка связано с тем фактом, что основатель, как и главные апостолы, признавали существование такого типа государства, но при этом очень мало писали об нем, переходя прямо от феодализма к капитализму.

Теоретические посылки Андерсона – его представления о том, что важно, что от чего зависит, что может вызвать нечто, – исходят из накопленного общего запаса социологических идей. Но в сфере теории он считает себя обязанным только Марксу. Чтобы отдать этот долг, Андерсон иногда признает, что основатель марксизма действительно впоследствии изменил свою точку зрения и немного ошибался в частностях. Он даже ретуширует Марксову концепцию азиатского способа производства. Этой теме он посвятил яркую главу, в которой

содержится единственный случай оскорбления во всей книге: вылазку против марксиста-отступника и перекрашенного «спенсерианца» Карла Августа Виттфогеля. Однако в молодые годы Виттфогель играл среди марксистов роль, похожую на роль Андерсона, и не осталось никаких подтверждений того, что Виттфогель когда-либо читал Спенсера. Видимо, главный грех Спенсера состоял в том, что он был знаменит и влиятелен уже при жизни, в то время как его современник Маркс до смерти повлиял лишь на узкий круг читателей.

Несмотря на гениальность, работа Андерсона пренебрегает анализом идеологических факторов, ложность которых связана с употреблением категории «способ производства». Автор продолжает говорить о «феодальном способе производства», хотя при анализе превосходства японского феодализма он принимает общее мнение о том, что рассредоточение децентрализации власти является существенной чертой феодализма. Эта последняя особенность влияет на распределение богатства более непосредственно, чем на производство; и колебания между абсолютной концентрацией и феодальной или феодалоидной дисперсией власти не соответствуют столь же радикальным изменениям в способе производства. Крестьяне и ремесленники производили товары почти таким же образом в феодально раздробленной Италии под лангобардами и в централизованной бюрократической Византийской империи. Граница между русским деспотизмом и крайне феодальным республиканским королевством Польши и Литвы не порождала значительных различий в способе производства, как сельскохозяйственного, так и ремесленного. Несмотря на название, глава об «Азиатском способе производства» содержит намного меньше сведений о методах производства, чем о структурах власти. Власть – главный объект интереса (по крайней мере, теоретического) и лучше всего проанализирована Андресоном. Власти уделяется основное внимание во всей работе. Однако сосредоточенность на священном слове приводит Андерсона к самой серьёзной ошибке: недооценке роли церкви в развитии уникальных характеристик европейской цивилизации. До XVII в. и даже XVIII в. западноевропейский способ производства ничем не отличался от остальных, тогда как независимость Церкви и последующее разделение власти между церковной и светской иерархиями не имели аналогов в других частях мира. Без этой отправной точки трудно понять, как могли развиваться гражданские свободы, представительные институты, наука, техника и промышленный капитализм.

Несмотря на пределы, вызванные эмоциональной привязанностью автора к дедушке Карлу, книга все же заслуживает одобрения как наиболее социологически ориентированный обзор мировой истории. И все её трудно рекомендовать всем сердцем по причине опасения, что так называемый эффект ореола восхищение знаниями и умом автора побудит недостаточно критичных читателей подражать его склонности к сектантству, хотя с научной точки зрения превосходство историографической концепции Андерсона не является более сильной опорой для марксистской догмы, чем взгляд на историю Кристофера Доусона для истины католического вероучения.

Связь между трудом Андерсона как историка и его происхождением от марксистской догмы не является логической, а психологическая; и единственным способом доказательства, который мог бы на это пролить свет, является психоанализ. Можно предположить, что подобно тому, как среди католиков вожделение и грех способствовали раскаянию и пылкой молитве, так и среди марксистов должно возникать жгучее чувство корпоративной принадлежности, необходимое для получения привилегий и образования в Итоне и Баллиол-колледже. Кроме того, написав труд, намного превосходящий обычную научную книгу, Андерсон должен ощущать вину за столь элитарное выступление, и его марксистские молитвы вполне могут рассматриваться как попытки изгнания из корпорации. Книгу можно сравнить с внушительным храмом знаний, изуродованным самим архитектором непристойно сектантскими граффити в нечётных углах.

## *Глава 7. Фашисты и прежние правящие классы*

В последнее время стало модным объяснять рост фашистских движений процессом по имени «мобилизация». Однако этот термин неудачен, так как содержит тенденцию к смешиванию двух совершенно разных этапов: физического перемещения, когда люди покидают свои дома и становятся доступными для интеграции в новые группы; фактической вербовки в эти группы, которой занимались фашистские и коммунистические партии. Только последний этап – когда члены партии способны к коллективным действиям – можно по праву назвать мобилизацией. Первую стадию было бы вернее описывать как отрыв от корней или превращение людей в социально мобильных. Суть первого этапа состоит в том, что люди уже оторваны от корней, но ещё не мобилизованы в том смысле вербовки и распределения по группам.

При обсуждении отношений между фашизмом и классами надо проводить различие между социальными движениями и режимы, а также между типами режимов. Ибо есть существенное различие между режимом, который создан массовым движением, и режимом, который создан путём добровольного или принудительного подражания иностранной модели. Например, режим Варгаса в Бразилии скопировал определённые черты итальянского фашизма, но не достиг власти при поддержке массового движения; в результате его отношение к классовой структуре неизбежно отличалось от нацистского движения в Германии и оригинального итальянского прототипа фашизма.

Наиболее надёжный подход к классификации фашистских движений, который учитывает их отношение к прежним элитам, предложен Хью Сетон-Ватсоном в статье «Фашизм – левый и правый» (*Journal of Contemporary History, Vol. I, No. 1*) (1966 г.), см. также «Политический человек» (*Political Man*) Сеймура Липсета (1966 г.)). Единственный недостаток этого подхода состоит в том, что термины «левый» и «правый» не подходят для политического анализа, поскольку они предполагают, что все политические движения могут быть классифицированы по одному измерению, тогда как на деле таких измерений несколько. Для пояснения того, что их можно классифицировать также по другим измерениям, я бы предпочёл классифицировать фашистские движения как «популистские» или «проистеблишментские». Действительно, сущность фашизма сводится к вере в необходимость или хотя бы в достоинства и преимущества правления хорошо избранной элиты. Но фашистские движения сильно различались по степени отождествления такой идеальной элиты с установившимися правящими классами. Фактически отношение к истеблишменту можно использовать в качестве критерия для проведения различия между ветвями фашизма, начиная от режима Франко, с одной стороны, с его явно реакционной в подлинном смысле этого слова программой восстановления землевладения аристократии и церковной иерархии, до румынской «Железной гвардии», с другой стороны, которая в качестве движения была полностью направления против истеблишмента, а за несколько месяцев нахождения у власти выступили против интересов прежнего истеблишмента. Польша представляет собой интересный случай ввиду сложности ситуации. Здесь существовала только фашистская партия с внутренним расколом, которая, несмотря на согласие со многими нацистскими идеями, оставалась твердо антинацистской (по причине пограничной проблемы) и была полна решимости бороться с нацистами собственным оружием. Но наряду с этой подлинно фашистской партией, существовали две полуфашистские. С одной стороны, была националистическая партия, которая все сильнее признавала атрибуты фашизма (идеология, организация, цветные рубашки, нацистское приветствие), но, поскольку у неё не было власти, она оставалась анти-истеблишментской. С другой стороны, было правительство, которое возникло из военной диктатуры Пилсудского, но которое после его смерти также начало использовать некоторые атрибуты фашизма.

Таким образом, в Польше было два полуфашистских движения, которые кажутся похожими во многих отношениях, но которые надо классифицировать по-разному в зависимости от их отношения к истеблишменту. Тот же критерий можно использовать для сравнения нацистской Германии с фашистской Италией: нацисты были большими противниками прежних правящих классов, то есть бывшего истеблишмента, который они частично ликвидировали в 1944 г.

Возникает и другой вопрос: почему высшие классы позволили нацистам захватить власть? В какой-то степени марксистский ответ был верным. В Италии и Германии, да и вообще во всех случаях установления фашистского режима, правящий класс был слишком слаб для сохранения своего собственного положения, и потому рассматривал фашизм как меньшее зло. Сегодня без всякого труда можно впасть в недооценку трудностей положения правящих классов, потому что в настоящее время капитализм функционирует почти без всяких помех. В 1920-е и даже в 1930-е гг. люди действительно не знали, как справиться с экономическим кризисом. С учётом сложности ситуации гораздо легче понять, почему правящие классы выбрали то, что они считали меньшим злом. Немецкие консерваторы (включая крупных промышленников и юнкерство), презирали Гитлера, но думали, что он сослужит им хорошую службу. На самом деле, идеальными условиями для возникновения фашизма были перепуганный высший класс, крайне неуверенный в своей способности справиться с ситуацией, и очень сильное рабочее движение, особенно если оно было настолько радикальным, что стремилось установить диктатуру. Примечательно, что фашизм возник не на юге Италии, а на севере, где у угнетённых классов был высокий революционный потенциал, а класс капиталистов находился в худшем положении, чем аристократия на юге. Случай Испании является одним из полуфашистских, поскольку *Фаланга* – единственное истинно фашистское движение, – не имело большого веса. Главной основой режима была армия и духовенство. При желании классифицировать испанский фашизм можно назвать военно-духовным полуфашизмом, в котором священнослужители и офицеры выполняют все ещё (хотя и весьма осторожно) функции, которые в других местах выполняла военизированная партия [написано в 1967 г.]. Испания явно не управляется тоталитарной партией, а её режим не является чисто военной диктатурой старомодного типа, поскольку здесь проявляются некоторые тоталитарные тенденции, которые отличаются от военного режима Примо де Риверы или режима Пилсудского. Этот режим стремился «настраивать» массы и все более расширять свой контроль по сравнению с предшествующими военными диктатурами. Эта особенность испанского режима может рассматриваться как симптом реакции духовенства, аристократии и генералов на неспособность удержаться у власти традиционными средствами за время существования Республики.

Испанский случай хорошо фиксирует противоречие между двумя существенными элементами фашизма: вера в иерархию и агрессивный национализм. Агрессивный национализм явно нуждается в иерархии. Но ради успеха национализма люди должны действительно верить в необходимость иерархии, а не считать её элементарной защитой привилегий богатых. Можно даже выдвинуть гипотезу: чем сильнее приверженность фашистского движения к высшему классу, тем меньше оно способно мобилизовать массовые настроения в агрессивных целях. При сравнении Италии с Германией становится ясно, что итальянские фашисты не смогли мобилизовать массы в психологическом смысле. Разумеется, они могли зачислять людей в партию и другие фашистские организации, но выступление итальянской армии является доказательством неспособности фашистов внушать массам свои идеи. Итальянцы просто не хотели воевать – полное объяснение этого было бы чрезвычайно сложным, и нам, вероятно, пришлось бы принять во внимание возможные объяснения векового скептицизма в Италии по отношению к правителям и правительству, скептицизм, который усугублялся

нестабильностью, иностранной эксплуатацией и своеобразным характером конфликта между церковью и государством. Но крах итальянских фашистов контрастирует с успехами нацистов в воспитании масс. Пожалуй, о степени этого успеха можно судить по случайному замечанию Карла Ясперса о том, что назначение Кисинжера было оскорблением для миллиона немцев, которые никогда не поддерживали нацистов, что подразумевало: по мнению Ясперса, все остальные немцы поддерживали фашистов в тем или иные моменты.

Несомненно, нацисты были сторонниками реального социального прогресса для многих классов. Прежде всего они повысили статус рабочих, укрепили у них ощущение социальной значимости и принадлежности к нации, культивируя чувство «психологического равенства», организовывая экскурсии и шествия, в ходе которых управляющий банком маршировал вместе с клерками и выкрикивая с ними “Heil Hitler”. Кроме того, нацисты смогли вытеснить чувство социальной обиды у рабочих, настраивая их вначале против евреев, а затем против врагов, которых атаковали по очереди. Не менее важно то, что они способствовали продвижению людей из социальных низом. В отличие от Первой мировой войны, некоторые из лучших нацистских генералов были не юнкерами, а выходцами из низших классов. Это частично объясняет лояльность офицерского корпуса Гитлеру, хотя положение юнкеров в Верхмахте оставалось чрезвычайно сильным. Однако в высшей партийной элите НСДАП практически не было членов старого истеблишмента; показательно, что ни один из множества молодых аристократов, торопливо вступавших в нацистскую партию, не смог достичь высоких постов. Казалось бы, это опять характеризует систему, которая изначально была враждебной прежнему истеблишменту, несмотря на уступки финансистам и генералам. Нацисты весьма тщательно продумывали свои планы на послевоенное будущее, были направлены на создание совершенно иного общества.

Упор нацистов на необходимость жизненного пространства не был простым пропагандистским приёмом. Он действительно всколыхнул массы немецкого населения, убедив их в жизненной необходимости. Если не забывать общую атмосферу представлений в начале 1930-х гг. и очевидный крах капиталистической системы, нетрудно понять, почему немцам не нравились страны с колониями, которые, на первый взгляд, гораздо лучше переносили экономический кризис. Колонии, или жизненное пространство на Востоке, показались многим немцам лучшим способом решения их экономических проблем. Не следует забывать, что фашизм успешно развивался в высокоразвитых промышленных странах, у которых было мало или вообще не было колоний – Италии, Германии и Японии (если есть основания называть последний случай фашистским). Программа завоевания земель на Востоке позволила фашистским лидерам вытеснить классовые антагонизмы – в дополнение к предложению простого способа решения экономических проблем. Если кто-то желает следовать моде, указанную связь между внутренним согласием и внешней агрессией можно выразить на квазиматематическом языке теории игр. В этом отношении борьба за собственное положение есть игра с нулевой суммой, то есть игрок может выиграть только при условии проигрыша других. Однако если сфера деятельности участников борьбы выходит за пределы первичного круга путём нападения на посторонних, все члены исходного круга могут получить какую-то выгоду. Тем самым «игра с нулевой суммой» преобразуется в «игру с ненулевой суммой» для людей в исходном составе, которые могут коллективно улучшить свой статус, ослабляя статус аутсайдеров. Возможно, это помогает объяснить относительную неприкосновенность к фашизму тех стран, в которых были колонии. С другой стороны, такие страны, как Англия и Франция, обладали фашистскими движениями, но у них уже был свои козлы отпущения, и они меньше нуждались в этой насильственной и агрессивной форме единоборства. Действительно, случай Португалии может усилить такую точку зрения: относительную стабиль-

ность режима, который очень мало дал португальскому народу, можно объяснить колониальной системой, позволившей всем португальцам чувствовать себя привилегированными.

Социологи всегда были обеспокоены вербовкой партий, утверждая, что фашизм – это преимущественно вытесненное движение среднего или низшего среднего класса. Но я не уверен, что это определяет отношение фашизма к существующему классовому порядку. Сравнение социального происхождения итальянских и немецких партийных лидеров показывает, что различия в социальном происхождении менее важны, чем различия в отношении к истеблишменту и стремлении по-разному изменить общество. Казалось бы, это указывает на то, что традиционные социологические объяснения не удовлетворительны. В Германии было одно из самых мощных рабочих движений в Европе, и в то же время был правящий класс, ослабленный во времена Веймарской республики из-за отсутствия большой армии. Не исключено, что с учётом силы организованного труда только партия, проповедующая крайне радикальные реформы, имела хотя бы минимальный шанс завоевать массовую поддержку.

Конечно, психологическая компенсация и ему подобные факторы важны. Ясно, что во времена быстрого обнищания во всех классах генерируются различные взрывные силы, в том числе в классах с фиксированным доходом. Неслучайно почти все фашистские и даже такие полуфашистские движения, как радикальная националистическая партия Польши или бразильские *интегралисты*, приобретали больше последователей во времена мирового экономического кризиса. Несомненно, потребность в поддержке и жажда твёрдой идеологической ориентации всегда играли свою роль, но при этом не следует недооценивать мотивирующую силу крайнего отчаяния как следствия потери работы или банкротства, которое побудило многих людей последовать за самозванцем, утверждающим, что он знает, где найти спасение.

*Перевод с английского А.Г. Акопян*
*Научная редакция В.П. Макаренко*

---

Anderson P. 1974a. *Passages from Antiquity to Feudalism*. – London: NLB (рус. перевод: Андерсон П. *Переходы от античности к феодализму*. – М.: Территория будущего, 2007).

Anderson P. 1974b. *Lineages of the Absolutist State*. – London: NLB (рус. перевод: Андерсон П. *Родословная абсолютистского государства*. – М.: Территория будущего, 2010).

Andreski St. 1992. *Wars, Revolutions, Dictatorships: Studies of Historical and Contemporary Problems from a Comparative Viewpoint*. – London: Frank Cass.

Page M. 1984. *Britain's Unknown Genius*. – London: South Place Ethical Society.

Wells G.A. (eds.) 1987. *J.M. Robertson*. – London: Pemberton Publishing Co.

# НАШИ АВТОРЫ

**Булдаков Владимир Прохорович** — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН (г. Москва, Россия) (kuroneko@list.ru)

**Ванчугов Василий Викторович** – доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия) (vanchugov@gmail.com)

**Лекторский Владислав Александрович** – академик Российской академии наук, доктор философских наук, главный научный сотрудник сектора теории познания Института философии РАН, главный редактор журнала «Философия науки и техники» (г. Москва, Россия) (v.a.lektorski@gmail.com)

**Макаренко Виктор Павлович** – доктор политических и философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Национальной академии наук Украины, профессор кафедры теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, Россия) (vpmakar1985@gmail.com)

**Межуев Борис Вадимович** – кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской философии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия) (borismezhuev@yandex.ru)

**Михайлов Игорь Анатольевич** – кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора истории западной философии Института философии РАН (г. Москва, Россия) (ia.mikhaylov@yandex.ru)

**Никольский Сергей Анатольевич** – доктор философских наук, доцент, главный научный сотрудник сектора философии культуры Института философии РАН (г. Москва, Россия) (s-nickolsky@yandex.ru)

**Порус Владимир Натанович** – доктор философских наук, профессор факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» (г. Москва, Россия) (vporus@rambler.ru)

**Савенков Роман Васильевич** — доктор политических наук, доцент кафедры социологии и политологии Воронежского государственного университета (г. Воронеж, Россия) (savenkovr@yandex.ru)

**Синеокая Юлия Вадимовна** – член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор РАН, заместитель директора Института философии РАН по научной работе, руководитель сектора истории западной философии Института философии РАН (г. Москва, Россия) (jvsineokaya@gmail.com)

**Скиперских Александр Владимирович** — доктор политических наук, профессор кафедры философии и социальных наук Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина (г. Елец, Россия) (pisatels@mail.ru)

**Стрединина Валерия Витальевна** – магистрант 2-го курса обучения специальности «Политологии», исторический факультет Воронежского государственного университета (г. Воронеж, Россия) (suharev@narod.ru)

**Тульчинский Григорий Львович** – доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, профессор Департамента государственного администрирования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург, Россия) (gtul@mail.ru)

# *Summaries and keywords*

**Makarenko V.P. State Interest and the Vicious Circle of the Police: Michel Foucault's Model**

*Summary:* M. Foucault developed a model of the police as a political technology that sought to manage in accordance with the state interest (hereinafter GI). This model is based on the analysis of many phenomena of being and thinking. These include: temporal-spatial differences in the understanding of the term police during the XV–XVIII centuries; the connections of the police of Italy, Germany and France with the general balance of Europe; the genesis of the police in these countries to establish the national specifics of police science; the genesis of the concept of state benefit as a bureaucratic innovation and the basis of the utopia of the police state.

Foucault established that for two hundred years (XV–XVI centuries), the term police was understood in three ways: as communities under the control of the authorities, specific acts of management, positive overall results of management. However, in the next two hundred years (XVII–XVIII centuries) the police began to be called a set of tools that allow controlling the relationship between social order and the growth of state forces in order to ensure a link between the state's well-being and the happiness of all citizens. With this approach, the police qualified as a space-time synthesis of beauty, order and strength, which is guaranteed by the police as a set of "laws and regulations concerning the internal life of the State and seeking to strengthen and increase the power of this state, seeking to achieve the correct use of its forces".

The purpose of the article is to abstract the material of two Foucault lectures to systematize the real variety of aspects of the main problem indicated in the title. On this basis, the problem-heuristic potential of this fragment of M. Foucault's political theory is reconstructed.

*Keywords:* Michel Foucault, state interest, police state, population, economy.

**Lektorskiy V.A. Philosophy, Science, Ideology, Propaganda**

*Summary:* The article analyzes the complex relationship between philosophy, science, ideology and propaganda. The author does not agree with the widespread point of view that represents ideology in the form of "false consciousness", showing that ideology is a program of socio-political activity built on the basis of a system of certain values. Therefore, a serious ideology should be, on the one hand, philosophically grounded, and on the other hand, take into account the results of the social sciences. In this interpretation, ideology becomes a reference point of socio-political life, suggesting a critical reflection on the foundations of this life.

*Keywords:* philosophy, science, ideology, propaganda.

**Tulchinskii G.L. Logical Culture and Freedom: Logic in Soviet and Post-Soviet Society**

*Summary:* The article contains an attempt to comprehend the phenomenon of Soviet logic. This phenomenon is paradoxical in its own way. On the one hand, the logic and methodology of

science was in the 1960s and early 1980s a numerous and very active movement in Soviet scientific life. These were frequent large-scale conferences, many publications. In fact, it was a kind of scientific subculture, which united part of the intellectual elite. On the other hand, there were not large-scale disciplinary results, disciplinary scientific journals. The main thesis of this work is "Soviet logic was more than logic". The ideological pressure on the humanities, especially philosophy, contributed to the formation of the attractiveness of the image of logic as a rational intellectual activity, acquiring in an atmosphere of general half-knowledge the philosophical professionalism oasis. Moreover, logic has acquired the status of almost the only "ecological niche" in philosophy, relatively independent of the ideology of the sphere of professional thought. The last 15 years of the 20th century were years of reforms and transformations that removed extra-disciplinary centripetal factors. This gave rise to a powerful centrifugal impulse. The logicians jumped in different directions, finally doing what they could not do before. Since the beginning of the 21st century, this situation has turned into a degradation of the scientific logical culture, negative consequences for the development of Russian logic as a scientific discipline, and the displacement of logic to the periphery of artificial intelligence research.

*Keywords:* culture, logic, methodology of science, responsibility, freedom, USSR, philosophy.

**Nickolsky S.A. Soviet. The Problem of Holistic Consideration**

*Summary:* The phenomenon of "Soviet" is multifaceted and unique in history. Having a huge content and correlated with the categories "society", "state", "power", "man", "culture", it requires not only consideration in its constituent parts, but also in its entirety. Therefore, it is viewed as a concept created on the basis of the Bolsheviks (Leninist) interpretation of Marxism opposed to the Mensheviks (Plekhanovs) interpretation, which was adapted to the conditions of Russia at the beginning of the 20th century. Its main point was an attempt to create a path of the country development excluding its capitalist stage and accelerating the transition from feudalism and early capitalism to communism. In the revolutionary practice of the Bolsheviks this was expressed as the development and the implementation of the policy of "war communism". However, the phenomenon of the Soviet would not have been possible without a specific state and quality of Russian society and person shaped by history, in particular without the habit of obedience formed as a natural defensive reaction against the autocratic power that dominated the country for five centuries, possessing the tools for this domination.

At the same time the Soviet also had a positive content originating in Marxism and finding the possibility of its realization in the "new" person, formed by the Bolsheviks on the ruins of the destroyed old society in one way or another involved in private property. Deprived of historical memory, indued with the constructed Soviet consciousness, the "new" man was the main force who received the benefits of the new system, who overcame fascism and retained faith in the Soviet way of being until it was completely lost, and who was disappointed in hopes that never came true.

*Keywords*: Soviet, society, state, man, culture, history, philosophy, politics, history, literature.

**Skiperskikh A.A. Hierarchies of Power: Political Style in Modern Russia**

*Summary:* In this article, the author shows how the hierarchies of power are arranged in modern Russia, and what motives are associated with political subordination. From the author's point of view, hierarchies of power are not only hierarchies of specific positions and positions representing power. It is also a hierarchy of goods and material culture, access to which opens up as you move

up. The author illustrates this relationship by referring to the experience accumulated by Russian and Soviet culture, as well as his own observations of regional and municipal political processes.

According to the author, the increase in the number of institutions in modern Russia responding to the complexity of public life leads to an increase in the number of bureaucracy and hierarchies of power.

*Keywords:* power, hierarchies of power, political space, Russia, elites.

**Savenkov R.V., Stredinina V.V. Possibilities of a Network Approach in the Study of Regional Branches of Political Parties**

*Summary:* The article attempts to analyze the number and content of interactions of the Voronezh political parties in 2022 with other political and public actors. Empirical data were collected using the content analysis method, and the network approach was chosen as the conceptual framework of the study. The main source was the official websites of the regional branches. According to the results of the study, the regional branch of the "United Russia" party became the most active in 2022. A relatively high frequency of contacts between the Liberal Democratic Party of Russia and the executive authorities of the Voronezh region has been recorded.

*Keywords:* network approach, political party, Voronezh region.

**Buldakov V.P. State and Terror**

*Summary:* Post-revolutionary terror in Russia is usually associated with the personality of Stalin. In fact, the intensity of terror was dictated by the logic of the survival of power, constrained on the one hand by Marxist doctrine, on the other by authoritarian tradition. So, the return to mass terror at the end of the 1920s was facilitated by the transition from the psychology of the world revolution to the psychosis of a besieged fortress. Hence the horrors of collectivization caused mainly by actions of the local authorities. The latter were helped in their own way by the townsfolk, who explained the food troubles by the actions of the rural "bourgeoisie". The government, striving to become absolute according to the "only true" theory, needed enemies of an infernal scale – especially when it itself was in an economic impasse. In this sense, the terror of 1937 became inevitable. Subsequent waves of terror were also associated with the political maneuvering of the authorities.

*Keywords:* Russia, revolution, violence, political police, Stalin, new economic policy, collectivization, mass mood, rumors.

**Vanchugov V.V. Inventing Freedom**

*Summary:* This work is a brief historical and philosophical essay that allows the author to convey some elements of the mindset formed in the conditions of the transformation of the system – the collapse of one socio-political, civilizational, structure and the formation of a new, intellectual formation in a situation of potentially productive uncertainty.

*Keywords:* identity, self-knowledge, community, contemporaries, like-minded people, absurdity, grotesque, university, education, power, control, ideology, freedom, projection, intellectual construction.

**Sineokaja J.V. The philosophical Generation of the Era of Change**

*Summary:* The author considers the concept of "philosophical generation" as a powerful intellectual pattern with its own optics, problems and research methods. The article tells about the formation of the first post-Soviet philosophical generation that came to the profession at the turn of the 1980s and 1990s, analyzes the change of scientific guidelines and the restructuring of the philosophical community of that time. The continuity between the philosophical generations of the nineties and sixties is traced. The main directions of the work of Russian philosophers of the late twentieth century are presented in the socio-cultural context of the perestroika era.

*Keywords:* philosophical generations, the nineties, the history of Russian philosophy, self-identification, intellectual history of the 1990s, Institute of Philosophy, Faculty of Philosophy of Moscow State University.

**Mezhuev B.V. New Atlantis, Castalia, Thelema Abbey**

*Summary:* The text gives a brief description of the history of the generation of intellectuals, which is commonly called the generation of the nineties. The author reflects on the path of this generation, choosing for analysis the fate of a small company of his classmates, those who at the moment have passed the fifty-year mark and have probably reached the acme of social maturity. It is emphasized that this generation has achieved great results in philosophical activity. The author notes the reason for his own alienation from the path of his generation and finds it in an internal protest against the tendency characteristic of his classmates to intellectually withdraw themselves from their time in order to be placed in a different context – temporal or spatial. It is noted that this very aspiration was borrowed by representatives of the generation of the nineties from the philosophical leaders of the sixties. The problem of the philosophical generation is considered in the context of the centuries-old search of the intellectual class for its place in society in obvious conflict with the social hierarchies existing in the traditional agrarian-class world.

*Keywords:* philosophical generation, intellectual class, New Atlantis, phenomenology, post-modernism, social utopia.

**Mikhailov I.A. Myths of Our Generations**

*Summary:* The article analyzes the situation in philosophy in the years after the collapse of the USSR, as well as the expectations, attitudes and views of those who completed their professional education in philosophy in the early 90s. The author touches upon some features of the philosophical fashion of those years: interest in Russian religious philosophy, phenomenology (and, in particular, Heidegger), fascination with French philosophy and even the phenomenon of a post-ideological return to marxism. The role of new forms of publication activity, which were discovered by young philosophers during this period, is considered; specific problems of restoring connection with the interrupted philosophical tradition are revealed. Some features that distinguish the worldview of the generation of the 90s from the position of the "sixties" are shown.

*Keywords:* philosophical generation, generational myth, the nineties, Russian philosophy, phenomenology, post-ideological marxism, philosophical journals.

**Porus V.N. Times of life: Russian Haiku**

*Summary:* It has long been known that poetic and philosophical attitudes to the world are interrelated, although mutual opposition and repulsion are also common. The idea of the real complexity of the interaction of poetry and philosophy is contained in a variety of types of poetic and philosophical practice, as well as concepts reflecting them. No less interesting is the practical implementation of these relations in the life and work of modern Russian poets and philosophers. One of them is Vladimir Natanovich Porus. We are starting a new section of the journal with his poetry collection. We invite readers to speak out.

*Keywords:* comparative and cultural poetics, poetry, haiku.

**Andresky S. Chapters 6–7 from the Book "Wars, Revolutions, Dictatorships: Studies of Historical and Contemporary Problems from a Comparative Viewpoint"**

*Summary:* The journal "The Political Conceptology" publishes a translation of the sixth and seventh chapters of Stanislav Andreski's book "Wars, Revolutions and Dictatorships: Analysis of Historical and Modern Problems from a Comparative point of View" (Wars, Revolutions, Dictatorships: Studies of Historical and Contemporary Problems from a Comparative Viewpoint) published in 1992 in the publishing house Frank Cass.

*Keywords:* Stanislav Andreski, theoretical inheritance, comparative studies of wars, revolutions and dictatorships.

# CONTENTS

**EDITOR'S WORD**

*Makarenko V.P.*
State Interest and the Vicious Circle of the Police: Michel Foucault's Model..... 6

**GENERAL PROBLEMS OF POLITICAL CONCEPTOLOGY**

*Lektorskiy V.A.*
Philosophy, Science, Ideology, Propaganda..... 15

*Tulchinskii G.L.*
Logical Culture and Freedom: Logic in Soviet and Post-Soviet Society..... 18

*Nickolsky S.A.*
Soviet. The Problem of Holistic Consideration..... 29

*Skiperskikh A.A.*
Hierarchies of Power: Political Style in Modern Russia..... 53

*Savenkov R.V., Stredinina V.V.*
Possibilities of a Network Approach
in the Study of Regional Branches of Political Parties..... 61

**BASIC RESEARCH**

*From the Editor*..... 69

*Buldakov V.P.*
State and Terror..... 69

**INTELLECTUAL EVENT**

*From the Editor*..... 101

*Vanchugov V.V.*
Inventing Freedom..... 101

*Sineokaja J.V.*
The philosophical Generation of the Era of Change..... 107

*Mezhuev B.V.*
New Atlantis, Castalia, Thelema Abbey..... 118

*Mikhailov I.A.*
Myths of Our Generations..... 131

**THE EXPERIENCE OF COMPARATIVE AND CUTLTURE POETICS**

*From the Editor*..... 171

*Porus V.N.*
Times of life: Russian Haiku..... 171

**TRANSLATIONS & COMMENTS**

*Andresky St.*
Chapters 6–7 from the book “Wars, Revolutions, Dictatorships: Studies of Historical and Contemporary Problems from a Comparative Viewpoint”..... 196

**Authors**..... 206

**Summaries and keywords**..... 208

**Contents**..... 213

**Notes for contributors**..... 215

# ***К сведению авторов***

Предварительно автор должен подготовить рукопись статьи в соответствии с требованиями к оформлению статей. Далее рукопись необходимо отправить на электронную почту редакции konstantinov@sfedu.ru, konstms@gmail.com (просьба дублировать на оба адреса) с пометкой «Статья для электронного журнала „Политическая концептология“». Статьи, оформленные не надлежащим образом, не принимаются к рассмотрению. После поступления в редакцию рукопись проходит обязательное рецензирование, по результатам которого принимается решение о публикации статьи или отказе. Редакция не знакомит авторов с текстом внутренних рецензий, а только уведомляет по электронной почте о решении относительно публикации и её условий (срока и формы публикации, необходимости доработки). В случае, если статья нуждается в авторской доработке, автору высылается отзыв рецензента. Редакция оставляет за собой право правки текстов, не наносящей вред искомым идеям автора статьи. Рукописи не возвращаются. Все статьи публикуются бесплатно вне зависимости от статуса автора.

**Требования к оформлению статей**

1. Статья должна быть объёмом не более 1,5 а. л. — 60 тыс. знаков, набрана в формате *.doc* (*Microsoft Word* или *OpenOffice.org*).

2. В начале статьи приводится аннотация (не более 1000 символов) на русском и английском языках, а также сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, учёные степени и звания, должность, место работы, телефоны (рабочий и домашний с кодом города), электронный адрес (обязательно).

3. Параметры текста: шрифт *Times New Roman*, 12 кегль, интервал 1, поля: сверху и снизу — 2 см, справа и слева — 2 см. Выравнивание текста: по ширине. Абзацный отступ (красная строка): 1 см. Нумерация страниц: не ведётся. Рисунки – чёрно-белые и внедрены в текст.

4. Допускается использование шрифтов *Arial* и *Courier New* для обособленных фрагментов текста. Допускается использование шрифта меньшего размера для участков текста, имеющих вспомогательное (второстепенное) значение. Размер шрифта табличного текста обычно на 2 пункта меньше размера шрифта основного текста. Рисунки можно присылать цветные, но следует иметь в виду, что журнал публикуется чёрно-белым.

5. Сноски даются в тексте, в квадратных скобках: [Фамилия год: страница].

6. Библиографический список оформляется следующим образом:
Фамилия И.О. Год. *Название работы*. – Город: Издательство. – Количество страниц.
Фамилия И.О. Год. Название статьи. – *Название журнала*. – Номер. – С. ... .
Фамилия И.О. Год. *Название источника*. – Доступно: http://URListochnika/ . – Проверено: Дата.